ВЛ. КРЫМОВ

ДЬЯВОЛЕНОК ПОД СТОЛОМ

ПЕТРОПОЛИС


PETROPOLIS

ВЛ. КРЫМОВ

ЗА МИЛЛИОНАМИ

ТРИЛОГИЯ

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ
ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ!
ДЬЯВОЛЕНОК ПОД СТОЛОМ

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

ВЛ. КРЫМОВ

ДЬЯВОЛЕНОК ПОД СТОЛОМ

ТОМ ТРЕТИЙ ТРИЛОГИИ

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

«Energiadruck», Berlin SW 61

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

Хотя три тома названы «трилогией», но это один роман — цельны только все части вместе...

Арсений Аристархов, главный тип романа, с большим трудом, почти страданием, в течение десятков лет доходит до примирения с самим собою, до приемлющего жизнь оптимизма... Даже в начале третьего тома еще ночь — еще не брезжит рассвет. Радостные лучи проникают, наконец, в его душу только во второй половине последней книги...

Но рассвет третьего тома был бы непонятен, неценен, не говорил бы ничего, если бы перед этим не было семисот страниц ночи... В описании этого завоевания права жизни, радости жизни, процесса долгого и трудного, главная цель романа...

Совсем ложное представление может получиться об основной мысли, если прочесть только отдельный том.

Вл. Крымов.

Целендорф (Берлин).
Апрель 1933.

I.

ПТИЦА ПЕЧАЛИ.

«Ты опять пьяненький, Арсений?»

«Что значит опять?.. Я два дня ничего не пил. Алкоголь великая вещь... Человеку некуда себя девать — вот как нам теперь — цели жизни и поступков не находится, прежние мерки больше негодны, все страховки обанкротились — что делать? Зачем делать? Все равно не стоит... Душит тоска, места себе не находишь, головой об стенку биться хочется... Человек берет бутылку вина, хотя он твердо знает, что алкоголь в больших количествах вреден, сам видел в микроскопе, как в нем свертывается и погибает нервная ткань, — берет бутылку вина, пьет и с каждым стаканом становится легче... То же самое начинает казаться иным. В камере без дверей и окон, оказывается, можно разобрать в одном месте стенку и уйти... и сама камера совсем уже не такая страшная... Бутылка кончена. Может быть, берет вторую...»

«Ты взял и вторую»,—ласково усмехнулась Глаша.

«Это неважно, взял ли я вторую... Человек все дальше и дальше отгоняет птицу печали. Он все время помнит, что это не нормальное состояние, а опьянение, настроение искусственно измененное, что это вредно, и тем не менее ему хорошо!.. Стало легче, светлее. У него нет никакого раскаяния в этом без-

вольном поступке. Безвольном-ли? «Жизнь — мираж» говорят философы и учители религий. Он мало верит философам, еще меньше учителям религий, но жизнь, действительно, мираж, если он может хоть временно, по собственному желанию менять свое восприятие мира...»

«Так не трудно дойти и до кокаина».

«Дойти можно, но есть разница. Алкоголь оптимист, весельчак, добрый малый, а кокаин предатель... Хорошее настроение — лучшая философия, доступная людям, и эту философию исповедует мой друг алкоголь. Мудрец он... Помнишь: «счастлив опьяненный вином, ибо ему поют белые птицы забвенья». Откуда это?.. Забыл...»

«Ты всегда говорил о силе воли, которая творит чудеса и себя ты считал сильным?»

* * *

Арсений ответил не сразу. В опьянении он сохранял способность логически мыслить. Мог нетвердо ходить, могло двоиться в глазах, но мысль работала. Вопрос был самый больной для него — и Глаша это знала. Арсений мысленно еще встряхнулся, хотя сознавал, что говорит правильно построенными фразами и без того. Он нарочно говорил так, точно перед ним аудитория, и его слова записывает стенографистка и они будут напечатаны. Не то шутя, не то всерьез опять продолжал:

«Обвинение очень серьезное и я не могу не признать себя до известной степени виновным. Но только до известной степени и с оговоркой, что самый кодекс законов, по которому я обвиняюсь тобою, подлежит немедленному и радикальному пересмотру. Моя воля была направлена по твердой, ясной, прямой линии. Полным ходом шел вперед, все накопляя массу и скорость движения. И вдруг моя прямая круто завернула, с треском сломалась и вся энергия ушла в пространство. Масса разлетелась в мелкие дребезги и

собрать ее вновь немыслимо... Можно только начать накоплять ее вновь, но неизвестно как... Я каторжно обращаюсь с математически точными понятиями — масса, энергия, скорость, но вам, достоуважаемые слушатели, понятно, что я хочу этим сказать...»

Он остановился, подозвал боя и приказал подать бутылку вина.

«Итак! Это первое. Второе важное обстоятельство заключается в том, что возникло сомнение, правильно ли было выбрано направление для этого движения — вперед с наибольшей скоростью? Туда ли шла прямая линия, куда нужно?.. И третье, самое важное — что подверглась вдруг сомнению самая необходимость и желательность тех чудес, которые могут твориться силой воли. Явился вопрос — зачем чудо? Не лучше ли вообще без чудес? Становится ли от них жизнь приятнее?.. Последнее я позволю себе трижды подчеркнуть жирными линиями, достоуважаемые слушатели...»

Он выпил бокал, подвинулся к Глаше, взял ее руку, нежно поцеловал и стал смотреть с улыбкой в ее глубокие голубые глаза.

«Милая Глаша, истина людьми еще не найдена... и никогда найдена не будет».

* * *

Совсем рядом с большой террасой отеля, всего через улицу, начинались владения Тихого океана. Сюда поместился один из его бесчисленных заливов. Луна безбоязненно сейчас играла его водой, точно это озёрко или пруд. Вдали цементные глыбы молов охраняли гавань. Когда океан приходил в плохое настроение, и они не помогали: чтобы тайфуном не размыло набережную, ярость волн ловили еще в громадные корзины, наполненные камнями. Они лежали теперь обсохшие на берегу, как гигантские тыквы из огорода сказочного японского великана.

Но сейчас океан был в духе, действительно тихий.

Все морские чудовища и привидения, сытно поевши, нежились в лунном свете, чуть-чуть похрапывая...

Рикши бесшумно катились около терассы, мягко шурша резиной: японские кули возили иностранцев. Две японочки простучали на деревянных дощечках. Кто-то прошел с бумажным фонариком...

Вдали загудела сирена морского гиганта — он входил в порт. Он не боялся чудищ и привидений.

«Глаша, я лучше, когда выпью. Становлюсь хорошим человеком... Надо тоже установить, что хорошо, чтобы знать, что лучше, но в данном случае нет сомнения — я веселей и приятней окружающим, когда выпью... и добрее. Может быть, подлежит сомнению, надо ли быть добрым, но быть веселым безусловно хорошо...»

«Пойдем спать, Арсений, ты слишком много говоришь... завтра будет болеть опять нога. Видишь, и спички рассыпал, совсем пьяненький».

«Что, миленькая, спички!.. Спать? Это ли действительно нужно? Это глупо устроено — тратить время на сон, жизнь и так коротка... Не вижу в этом мудрости творца... А не поехать ли кататься в автомобиле? Смотри, какая луна, ночь очаровательная. Позовем маркиза, он всегда готов на всякую выдумку. Милый человек! Милые люди гораздо чаще авантюристы, чем пасторы... Вот он идет!.. Где вы пропадали, маркиз, мы вас не видели целый день?..»

Щелкнул пальцами.

«Бой! бутылку Болинджер экстра драй и льду. У вас всегда шампанское теплое».

* * *

Бой опять неслышно побежал исполнять приказание. Такой заказ бывает не часто — самое дорогое шампанское. После него дадут на чай. Все очень много и вкусно едят, потому что это включено в пансионную плату, но пьют больше воду или пиво. На чай

дают только уезжая. А то стараются уехать незаметно, чтобы совсем не дать...

Бои ненавидят живущих в гостинице, но пока покорно исполняют их приказания.

Маркиз подсел к столу. Завязался оживленный разговор. Со смехом. Арсений хотел уже позвать боя, чтобы заказать автомобиль, но в этот момент маркиз вдруг вспомнил о каком-то переводе, который он должен получить из Америки; перевод запоздал и это поставило маркиза в очень неприятное положение...

Арсений сразу насторожился.

Так бывало всякий раз, когда люди под тем или иным предлогом просили у него денег. Вдруг просыпался древний предок, рука невольно сжималась в кармане в кулак и все отвлеченные, академические, высокие, нежные и сантиментальные мысли уступали место этому предку. Чтобы кто-нибудь мог отнять у него с таким колоссальным трудом приобретенные деньги!..

«Нет это никому не удастся. И особенно теперь, когда их стало так мало... Мне давали когда-нибудь?! Помогал мне кто-либо?.. Нет, нет, только мешали, толкали обратно, осаживали. Никто за всю жизнь ни разу не помог. Никому ничего я не дам... В каждом рубле кусочек моей души. Деньги, как Ваал, требуют человеческих жертвоприношений...»

«Пиявки сосущие» — вспомнил вдруг Сидора и совсем несмешными показались эти слова. Насторожился, решил не ехать. Ехать уже и не хотелось. Зачем? Куда? Это было только предлогом растянуть вечер, просидеть еще полчаса за новой бутылкой, не идти спать.

Маркиз понял, что ничего не выйдет, и встал — «пора спать». Арсений уже не спросил, что он делает завтра.

«Старую собаку на тю-тю не поймаешь!» — сказал тихонько вдогонку ему. Глаша так расхохоталась, что маркиз обернулся...

Еще остались сидеть с Глашей.

На столе стояли ярко-красные цветы. Арсений сорвал несколько лепестков и бросил в бокал. Лепестки просвечивали сквозь лед — лед окрасился в красный оттенок.

«Помнишь, Глаша, Додо? Мне его эти лепестки напомнили... Ты встречала его. Его давно уже нет... Нет, нет совсем. И он никогда не узнает, что мы его вспоминаем. Помер, перестал существовать... Сколько еще нам осталось?.. Тебе, вероятно, больше, чем мне — ты моложе. Но тоже так мало...»

«Оставь эту тему, Арсений, ни к чему она», — остановила Глаша таким тоном, точно она давно со всем примирилась и у нее давно решены эти вопросы. Решены просто и ясно: неразрешимое неразрешимо.

«Нельзя объять необъятное, хочешь сказать ты? Правда, ты права... Выпей этот бокал — in vino veritas».

«Хорошо, выпью, но потом идем спать».

«Опять спать!.. Дорожи такими моментами, Глаша. Если беречь мозг, как бабушкин салоп, без алкоголя, без никотина, без увлечений, всегда ложиться во время спать, мысль теряет яркость, мозг засыпает. Нужны взлёты и провалы... Жить всегда ровно, гладко, размеренно, это все равно, что ехать всю жизнь по тундре... Глаша, ты меня очень любишь... или не очень?»

* * *

Арсений сразу после вина крепко заснул, но опять проснулся часа в три. Каждую ночь так! Слышал, как старый привычный будильник с двухнедельным заводом пробил четверть. Будильник он привез с собой из Петербурга — одну из немногих вещей. Будильник, точно живой, разговаривал своим переливистым боем. Это был старый приятель и, уезжая, Арсений о нем подумал в первую голову.

«Которого это четверть?»

Нажал в полусне кнопку — пробило три с четвертью.

Было тяжелое, жуткое чувство. Что-то большое и мягкое, но очень тяжелое упало где-то в отеле. Все колыхнулось, затряслось. Зеркальный шкаф со скрипом покачнулся. Задребезжало стекло... Его подбросило на матрасе. Электрическая люстра качалась, как маятник. Враждебная луна освещала комнату...

«Что это упало?.. Ах, да! Это опять землетрясение. Оно бывает тут каждые пять дней. Но такого сильного, кажется, еще не было... И почему-то всегда ночью?.. Качнет как-нибудь побольше и отель повалится... Когда повалится, тогда ничего уже не сделаешь, надо при первом толчке выскакивать на улицу. Когда-нибудь кончится плохо... Глаша!.. Глаша — ты спишь?»

* * *

Глаша проснулась.

«Ты не слышала землетрясения?»

«Нет... это тебе показалось, Арсений... Спи. Опять у тебя ночные страхи? Ты очень нервничаешь последнее время — не надо так много пить и курить».

«Дело не в этом, Глаша... Мне не потому жутко, что я пью, а я пью потому, что мне жутко».

«Брось, родненький... Чего тебе нервничать? Ничего страшного не случилось. Другим много хуже».

Она перелезла на его кровать и положила руку ему на лоб. Она знала, что он так любит. Что это его успокоит.

В этот момент опять что-то тяжелое упало. Точно снизу вверх, ударило под ними в потолок. Опять заскрипело и закачалось. Арсений прижался к Глаше и уткнулся головой в ее грудь.

«Не выскочить ли на улицу?.. Нет, все равно: не надо ее пугать. Если сейчас будет сильный удар, все равно не успеем выбежать, надо же надеть что-нибудь — неудобно в одном белье...»

Остался лежать.

Припомнился рассказ англичанки, живущей тут много лет. Она никогда не затворяет двери в спальне. Во время землетрясения дверь перекашивается, заклинивается, и тогда не выскочишь... Еще кто-то говорил, что надо сейчас же становиться в дверях. Косяк двери спасет, даже если потолок обрушится...

Слышно было, как в соседней комнате ходил и разговаривал сам с собою мексиканец. Он тоже проснулся от толчка. Он часто просыпался и без того, говорил сам с собою, иногда стонал. Ему нравилась Глаша, он учил ее испанскому языку и на днях подарил ей старую статуэтку из слоновой кости. Та долго отказывалась, но он настоял. Арсений спросил его, отчего он стонет по ночам. Мексиканец улыбнулся:

«У нас в Мексике уже восьмая революция... Когда у вас будет восьмая, вы тоже будете стонать по ночам».

Мексиканец открыл у себя окно. На улице кто-то крикнул по японски.

«Вероятно, один из рикшей, что всю ночь стоят у отеля. Теперь весна, а стояли так и зимой, в мороз... Они когда-нибудь устроят тут революцию. Живут как скоты. Как люди могут мириться с такой жизнью?.. Какой ненавистью полны они к нам...»

* * *

Вспомнил Петербург. Первые дни революции.

...Телефон не работал. Оба автомобиля взяли какие-то солдаты. Сообщения с городом не было. Прислуга как будто не изменилась: — никто из них не ушел, никто не говорил ничего враждебного, попрежнему чистили одежду и ботинки, убирали комнаты, готовили и подавали к столу. В кладовой было еще много провизии. Но что-то новое, жуткое было в их молчании. Так ему казалось...

Только Фроська ругалась на всех по прежнему и у

нее не было никаких скрытых мыслей. Он только ее не боялся теперь и в то же время думал о ней:

«Какая она дура»...

Ему было бы легче, если бы кто-нибудь из прислуги наговорил дерзостей, предъявил какие-нибудь требования. Ему казалось, что они что-то замышляют сообща. Они знают, что теперь нет полиции, что не работает телефон — теперь что угодно пройдет безнаказанно...

...Придет дворник Захар, которого он так нехорошо выгнал месяца три тому назад. У Захара была жена и четверо детей и они жили в двух подвальных комнатах. А у него, Арсения, было двадцать две комнаты... За что он его выгнал? За то, что Захар не открыл ночью во время ворота и спал, вместо того чтобы дежурить у ворот. Правда, Захар невежливо, почти грубо ответил на его замечание. Но замечание было тоже в резкой форме...

...Вспомнил, как плакали дети Захара, когда уходили. Было стыдно за этот окрик, но он не счел возможным оставить Захара — да, может быть, Захар и сам не остался бы. Уходя, он грозил чем-то... Вот теперь момент расчета настал. Он придет ночью, убьет и скроется — ловить некому. А горничная Дуня, которую уволила Фроська с его разрешения, за то что она назвала на кухне Войтинскую «содержанкой». Фроська услышала и сказала Дуне, чтоб та немедленно убиралась вон, а он согласился с этим... Дуня была самолюбивая, всегда исполнительная. Уходя, она тоже сказала Фроське: «Погоди ты, подлипала, придет время, расчитаемся»... Время наступило, они придут вместе, Захар и Дуня, и убьют его.

...Он переселился из спальни в кабинет и спал на диване у самого телефона. Телефон не работал, но всетаки было легче... Положил на стуле у дивана кирку и топор, а к двери прислонил тяжелую железную штангу от трапеции. Почти не спал — ночи проходили в тревожной дремоте. Казалось, кто-то ходит в саду. Вскакивал, подбегал к окну. Было плохо видно.

пробовал смотреть в призматический бинокль — никого не было, только качались ветки кустов и деревьев, бросая на снег живые тревожные тени...

* * *

...Оказался неожиданный друг в трудную минуту — его секретарь. Он оставил в городе семью, пришел пешком — верст десять — и, зная его настроение, предложил ночевать рядом в комнате. Он тоже вставал ночью, но без всякой боязни. Выходил в сад, обходил кругом дом, гараж. Выходил на улицу. Никто не приходил, никто не ломился, не нападал... Арсений удивлялся этому. Ему казалось, что люди, жившие в подвалах и всю жизнь не совсем сытые, теперь, когда нет городового, должны непременно придти грабить и мстить.

Никто не пришел...

«Это еще не настоящая революция — настоящая придет позже...»

Единственным желанием было, как можно скорее, уехать. Все равно куда, лишь бы прочь отсюда...

* * *

Задремал с этими воспоминаниями. Но через полчаса опять проснулся.

Глаша крепко спала.

Он осторожно отодвинулся от нее, чтобы не разбудить. Опять налетел мрачный рой. И с приездом Глаши это не ушло — ночные страхи. Не только вставали острые сожаления о потерянном, но нападал еще неопределенный бесконечный страх. Как в детстве. Все будущее казалось бесцельным. Ненужным и безотрадным...

Опять на каждом шагу назойливо лезли вопросы о цели жизни, о смерти. Они стояли в темном конце коридора, около портьеры, за шкафом, за углом улицы, в витрине магазина... на странице книги, ничего

общего не имеющей с ними... А в Петербурге в последние годы казалось, что они давно уже похоронены как ненужные, портящие жизнь...

Тупая, несильная, но неприятная боль в желудке, может быть, начало смертельной болезни?

«Возможно что рак?..»

...«Почему мы здесь, в Японии? Сколько это продолжится — неужели нет возврата к прошлому?.. Да, возврата нет... Сколько лет, полжизни, погоня за карьерой, за деньгами, и вдруг все распалось... Ушли не только миллионы, ушли связи, положение, за которые столько боролся. Лез, лез, лез вверх — шпыняли, осаживали, толкали обидно вниз, а он все лез, лез. Как много обид и унижений пережито! Сколько приходилось актерствовать, любезно улыбаться, когда хотелось плакать от обиды! Другие легко шли вперед, перегоняли, почти не затрачивая усилий. Им помогали готовые деньги, связи, а ему сколько стоил каждый шаг!.. Два шага вперед, один назад. А бывало и один вперед, два назад. Сколько лжи, притворства, унизительного, обидного, все из-за того, чтобы подняться на одну ступеньку выше. Не культурно выше, а выше по петербургской лестнице...»

«Когда все наладилось, сулило успех, успех уже был обеспечен, тогда вдруг все рухнуло... Куда теперь? Деньги погибли, связи ни к чему, не стоят ломаного гроша. Все те, с кем подружился, кому кланялся, сами стали ничто, от них ничего больше не зависит. Еще хуже, что был близок с ними. Теперь это минус, почти преступление...»

Мысль вернулась на настоящее, на Японию.

* * *

Раньше тоже бывали эти ночные страхи: часы раскаяний, бесцельных сожалений, исканий ошибок — настоящих и выдуманных. Несдержанных клятв самому себе. Позорного самонедоверия. Но они не приходили тогда так часто, каждую ночь.

Вспомнил собственную же фразу:

«Днем кажется, что горами можешь двигать, а ночью, паршивец, трясешься перед призраками...»

Улыбнулся в темноте. Стало как будто легче — не так жутко.

Светало.

Заснул...

* * *

Сразу же после февральской революции Арсений бежал из Петербурга. Не уехал, а бежал.

Из вещей взял только то, что уместилось в два чемодана. Оставил даже драгоценности и деловые бумаги. В эти два чемодана положил не самое ценное, а случайное или любимое. Будильник, палку, книги, несколько цветных гравюр...

Кругом все удивлялись. Был подъем, жили надеждами, что революция даст гигантский расцвет, победу. Зарабатывать будут еще больше, посыплются с неба миллионы. Приятель банкир говорил:

«Куда вы бежите, чудной вы человек?!.. Сейчас как раз все смешалось и замутилось, а в мутной воде и рыбу ловить... Нам то ведь ясно...»

Но Арсению казалось, что не доедет он еще до Манчжурии, как они его задержут, обыщут и за что-то остановят. Вернут назад. Пока пойдет переписка и справки, случится еще что-то. Тогда совсем никогда не уедешь...

Было неясно, в чем его будут обвинять и кто эти «они», которые его арестуют, но что «они» должны это сделать, было несомненно..

Потом пойдут резня, убийства, конфискации. Черный передел. То, что совершилось, только начало. На этом не может остановиться — слишком много накипело горечи на душе у миллионов...

Приехавши в Японию и спокойно обдумав, он стал жалеть, что так неразумно поступил. Были моменты, когда готов был вернуться обратно, устроить дела, «реализовать» и тогда уже уехать...

Из России газеты приносили самые разноречивые известия. Из приезжавших оттуда каждый судил по своему.

Так прошло время до октября. Однообразно, бесцельно, наполненное сомнениями. В сплошной тревоге.

* * *

Прочел уже все японские сказки. Побывал во всех музеях. Изучал японский эпос по английским переводам. Знал уже сотню имен японских чудовищ и богов. Старался отвлечься от главного мыслями о карашишах, хирио, киринах. Проникнуться их красотой...

Но мысль все возвращалась к тому же — оставленному и потерянному.

С детства ничего не рисовал, а тут опять начал, чтобы убить время. Стал рисовать японские орнаменты. Выбирал типичные изгибы и особые комбинации линий, совсем не такие, как у европейцев. Заказал себе тетрадку из бумаги «ториноко» и в нее зарисовывал эти штрихи восточной эстетики: по любому из них можно сразу узнать японский рисунок.

Один раз целый день был в хорошем настроении, прочитавши, как японский художник Хокусаи старался свести всё художество к этим простым линиям. Хокусаи говорил, что когда ему удастся изобразить всю картину в одной линии, тогда он достигнет вершин художественного творчества. И вот, оказывается, их идеи совпали!..

Но этого хватило только на один день. Ночью опять обступили те же мысли.

* * *

Взял учителя японца. Японец приходил каждый день и развлекал всетаки — час, а то и два просиживал с ним.

Японец приносил бутылочку с тушью, две кисточки и тонкие листики бумаги. Чтобы писать хорошо

по японски, надо забыть, как умел писать по европейски...

Японец обмакивал кисточку в тушь и уверенно, с удовольствием, ставил на папиросной бумаге столбики затейливых, нелепых знаков. Арсений не мог поставить и простой палочки. У него выходило начало палочки толстым, и конец тоненьким, как сосулька, а надо наоборот — надо, чтобы конец был толстым, обрывался сразу, кругло, без хвостика. Долго не выходило. Японец улыбался — ведь так просто! Его японскому глазу смешны были эти европейские сосульки с тоненькими хвостиками...

* * *

Когда уроки надоели, японец всетаки не перестал приходить. Теперь он являлся по утрам, ждал, пока в комнату внесут брэкфест, и тогда тихонько стучал в дверь. Приносил продавать разные безделушки. Оказалось, что он был не учителем, а торговцем. Эти уроки у него были только побочным занятием.

«Как же можно жить без торговли?» — удивился он. Арсению особенно понравилась эта фраза:

«Это квинт-эссенция современной культуры: — как же можно жить без торговли?!»

На своем якобы английском языке японец рассказывал о своей семейной жизни, о том, как трудно вообще жить... О японских собачках — чинях.

Как-то принес с собой фарфоровую статуэтку Хотея. Бога довольства, объядения и благополучия. Статуэтка была грязная, краски покрытые столетним налетом утратили яркость. Мыть ее японец боялся, так как думал, что чем грязнее, тем больше ценность. Хотей, ожиревший от объядения, со свисающими до плеч ушами, с голым шарообразным животиком, сидел на корточках. Весь он был безобразный, но ласково улыбался и улыбка была такая привлекательная, что нельзя было самому не улыбнуться.

Арсению статуэтка сразу ноправилась.

Захотелось купить этого Хотея. Но давно решил ничего не покупать. Не только из экономии, а потому, что так больно было терять. В Петербурге было столько вещей, столько лет любовно собирал, берег и все пришлось бросить. Глупо опять покупать.

«Нет, это урок на всю жизнь, ни одной лишней вещи, никаких запасов. Только то, что нужно сегодня, сейчас, и то, что действительно нужно... К вещи привыкаешь и потом страдаешь от потери; кроме того, что пропали деньги».

Не купил и Хотея.

* * *

Сколько вещей ни приносил японец, Арсений ни одной не купил. Но раньше японец не обижался, а тут даже как будто обиделся — принес такую редкость и буквально даром.

Однако Хотей запомнился. Было что-то исключительно привлекательное в этом фарфоровом истуканчике. Улыбка такая милая! Хотей был красив своим безобразием, как красивы породистые бульдоги. Даже эта новая подставочка к нему, доделанная много позже, так гармонировала с красками старого фарфора!..

Но самое главное было не в этом. У Арсения нарастала потребность к чему-нибудь привязаться, что-нибудь полюбить, чтобы не так жутко было одиночество. Долго колебался и, наконец, опять ночью, решил:

«Покупать можно только необходимое. Но может быть как раз этот божок и необходим мне?..»

Утром сказал японцу:

«Принесите еще раз Хотея. Может быть, я куплю».

Явилась даже боязнь — а что, если Хотей уже продан? Ждал с нетерпением следующего утра, когда опять придет «учитель» во время брэкфеста. Брэкфест был абсурдно обильный, из десяти блюд, все равно за все заплачено. Арсений угощал им японца. Тот с удовольствием ел: он жил на одном рисе, а тут

была и ветчина, и яйца с бэконом, и жирные тосты, и печеные яблоки, даже бифштекс...

Он сказал как то:

«Как это европейцы могут столько съедать?»

* * *

На утро японец пришел с черным узелком.

Арсений обрадовался — значит принес... Коробка с божком была завязана в черную «фурушку»; по форме узелка было ясно, что это именно коробка с божком. Решил купить непременно, но всетаки стал торговаться. Предложил двадцать иен вместо двадцати пяти. Японец обиженно уверял, что если он продаст и за двадцать пять, то заработает всего две и что дешевле торговец ни в каком случае не уступит. Однако отдал за двадцать две...

Когда японец ушел, Арсений долго мыл Хотея. Краски выступали ярче. Когда совсем отмыл, божок стал еще красивее — лучше чем ожидал. Поставил его на письменный стол, и в комнате стало как будто уютнее. Комната улыбалась вместе с Хотеем.

Уходя куда-нибудь, он иногда несколько раз возвращался, чтобы еще раз посмотреть на улыбку Хотея! И сам улыбался...

II.

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ.

Арсений в делах был всегда осторожен и предусмотрителен. Одно дело страховал другим: — одно провалится, другое выйдет. Акции покупал только самые верные. Имущество было застраховано в самых на-

дежных обществах — от пожара, от краж, от потери, и от всяких других возможных убытков. Вырабатывал особые условия со страховыми обществами и полис дополняли такими страховками, каких обыкновенно не принимают.

Все было застраховано и перестраховано.

Когда ему пришлось однажды дать своему приятелю несколько тысяч, он и его застраховал. Было расчитано, что тот будет платить или из своего жалованья, или из будущего наследства, или, если случится с ним что-нибудь, помрёт, заплатит страховое общество по полису!..

Все было предусмотрено, обеспечено, застраховано, перестраховано — и все погибло.

Судьба зло посмеялась.

Он не верил в судьбу, верил только в себя, но теперь, под влиянием случившегося, стал сомневаться и в себе. Та самая мистика, которую он гнал от себя долгой мозговой работой и, казалось, изгнал раз навсегда, теперь опять пробивала дорогу в сознание. Он гнал ее, а она настойчиво являлась вновь. Часто ловил теперь себя на этих нежеланных мыслях. Казалось, какие-то зловещие силы собрались кругом и расставляют ему западни. Или, может быть, предупреждают о чем-то еще более страшном.

«О чем? Что может быть еще хуже?... Кажется, уже довольно!.. Что могут значить теперь какие-нибудь пустяки, когда главное невозвратно погибло? Жизни назад не вернешь, лучшей половины жизни нет...»

Собирал волю, сжимал кулаки, точно угрожая невидимому врагу, стряхивал это настроение. Но оно опять подкрадывалось.

* * *

«Хотя бы эти крысы. Откуда они, как они сюда приходят по ночам?.. Уже несколько раз приходила экономка и управляющий гостиницы. Не верили боям,

сами тщательно осматривали каждый уголок, пол, стены. Выстукивали половицы, ковыряли за обоями — нигде ни малейшего отверстия, в какое мышь могла бы пролезть, а не только такая крысища»...

Между тем по ночам приходили две крысы — регулярно, каждую ночь. Они разгуливали по комнате, лазили по столам и шкафам. Один раз прыгнули даже на постель... Ночью они казались громадными, страшными. У Арсения не хватало голоса крикнуть на них. Они уходили сами к рассвету. Уходили тогда, когда хотели.

Пробовал заставить себя не спать и выследить, куда они уходят, но ничего не мог заметить — крысы вдруг точно проваливались сквозь землю.

Принесли большую кошку и оставили на ночь. Но кошка сама испугалась и забилась за сундук, а крысы гуляли по комнате, не обращая на ее присутствие ни малейшаго внимания.

«Громадные черные крысы!»...

Управляющий привел большого тэрьера.

«Эта собака чувствует крысу на три метра под землей».

Тэрьер обнюхал каждый угол, полаял на тот сундук, за которым пряталась прошлую ночь кошка, и ничего не нашел.

* * *

Выходило, как будто у него галюцинации, а в действительности никаких крыс нет. Не могут же крысы приходить, как духи, через плотные каменные стены! Было неловко. Даже у самого являлось сомнение.

Ставили отраву, ставили большую мышеловку — крысы приходили, но отравы не трогали и в мышеловку не лезли.

Арсений потребовал, чтобы ему дали другую комнату. Второй такой хорошей в гостинице не было. В этой была веранда прямо на океан. Всетаки решил уйти отсюда.

Когда стали переносить вещи и он укладывал книги, его удивило, что книги засыпаны каким-то белым порошком. Откуда мог взяться этот порошок? Не пыль, а порошок. И тут только, посмотревши на потолок, увидел за портьерой дыру. Из этой дыры сыпался алебастр, когда крысы прыгали оттуда на книги!.. Обратно они лазили по портьере. Потому их нельзя было и выследить, что они снизу заходили за портьеру и тихонько по ней поднимались до потолка.

Дыру заделали, вещи перенесли обратно. Крысы больше не приходили: оказалось все просто и ясно, и всетаки осталось какое-то тревожное чувство. Кто-то издевался над ним. Этот неведомый «кто-то» не выходил из сознания, хотя оно всячески гнало его прочь...

* * *

Был еще такой случай, совсем ничтожный и совсем обыкновенный, но и он оставил жуткое настроение.

Каждый день с утра он садился в большое кресло и так сидел до обеда с книгами. Не хотелось двигаться, не хотелось никуда идти. Ничто не было интересно. Самая мысль о ходьбе была неприятна. Однако вечером, прежде чем лечь спать, он заставлял себя пройти до мола и обратно. Туда и назад было версты две, по набережной. Почти всегда очень не хотелось идти, но заставлял себя. Доходил до конца мола, сидел там на железной тумбе, за которую цепляют петлю пароходного каната. Слушал плеск воды внизу и становилось еще грустнее. Зато потом была приятность исполненного долга, когда ложился спать...

В одну из таких одиноких прогулок, в особенно темный и ветреный вечер, он сидел, как обычно, на этой тумбе. Липкие брызги волн долетали даже сюда. Вдали тревожно мигал маяк. Подмигивал кому-то одним глазом... Ветер свистел в сигнальной мачте. На ней висели сигналы о приближающемся тайфуне. Кругом было пусто, ни живой души...

Вдали загудела сирена. Так же тревожно, как мигал и маяк. И маяк, и сирена предсказывали какое-то несчастье... Острый крик прорезал душную темноту. «Кто-то потревожил сонную чайку» — объяснил себе Арсений. Но чувствовал, как у него натягиваются нервы... Вдруг что-то мокрое ткнулось ему в руку: он нервно отдернул ее. Рядом была кудлатая черная собака, ластилась и виляла хвостом. Опять тыкала мокрой мордой.

«Натан!» — совершенно невольно вскрикнул он. Совсем такая собака, черный пудель Натан, была у него много лет тому назад, когда он жил еще на Урале. Натан был необычайно умная собака. Казалось, все понимал, что люди ему говорили. Натана знал весь город — он всегда сидел на козлах рядом с кучером. Кучеру было тесно, но он никогда не сгонял Натана. Стоило тихо и спокойно сказать лакею: «Скажите Сафе, чтобы закладывал лошадей», как Натан срывался откуда-то, бежал в каретный сарай и садился на козлы.

Натан вдруг пропал.

Сколько ни искали, не нашли. Арсений предлагал сто рублей награды тому, кто найдет — ничего не помогло. Не только сам Арсений, даже прислуга и знакомые жалели Натана и помогали в розысках. Весь город уже знал, что пропал аристарховский Натан. Но Натан не нашелся...

* * *

...И вот теперь ночью, на океане, Натан вдруг явился! На кличку «Натан» собака стала еще больше ластиться, прыгать, визжать. Арсений отдавал себе отчет в этот момент, насколько глупо такое предположение, и всетаки продолжал звать его Натаном, был уверен, что это Натан...

Собака просидела с ним не долго. Вдруг насторожилась, подняла уши, точно прислушиваясь к шуму волн, и, кинувшись в сторону, стремительно убежала.

На зов больше не вернулась. Он прошел весь мол, спросил сторожей, но они никакой собаки не видали. И он больше никогда не видал — ни на моле, ни в других местах...

«О чем ты пришел предупредить меня, Натан?» — думал он, возвращаясь в гостиницу.

«О чем предупредить?.. Что еще должно случиться? Уже довольно! Почему меня мучит эта постоянная боязнь? Кто это мучит меня?.. Это я сам. Древний запуганный предок во мне. Это я сам себя мучу...»

На завтра все это ничтожное происшествие показалось простой случайностью, смешны были вчерашние мысли, абсурдно было предположение, что это Натан, и тем не менее опять осталось в душе чувство тревоги...

* * *

Получил несколько писем от Войтинской. Она жила теперь в Крыму и уверяла, что все скоро устроится. Удивлялась, что он так глупо уехал.

«Единственное твое качество среди массы недостатков, моя дрянь полосатая, был твой ум, но на этот раз ты совершил величайшую глупость»...

Кащеев был с нею. У них было еще, видимо, достаточно денег. На последнее ее письмо Арсений не ответил. Их разделил какой-то психологический провал.

Совсем другое писала Глаша из Швейцарии. Она знала многих из тех людей, которые теперь уехали в Россию, и собиралась тоже ехать туда. Как и сам Арсений, она считала, что революция только начинается. Письма Глаши были удивительны.

«Откуда у нее вдруг весь этот интерес к социальным вопросам? Откуда такая серьезность, совсем, казалось, ей несвойственная?»

* * *

Вдруг он почувствовал, что именно Глаши ему недостает сейчас. Он стал ей писать письмо за письмом, потом телеграммы. Потом перешел на срочные телеграммы с оплаченными ответами. И эти, казалось ему, шли очень медленно. Он экономил на другом, но не задумывался тратить на эти телеграммы.

Он уговаривал ее приехать в Японию и даже обещал потом вместе вернуться в Россию. Сначала Глаша слышать не хотела о такой поездке. Теперь во время войны она казалась невозможной. Но постепенно он ее убедил...

В начале декабря получил от нее, наконец, так долго жданную телеграмму:

«Завтра выезжаю Марсель визы устроила».

Это был самый для него счастливый день после выезда из Петербурга.

Хотей стал еще радостней улыбаться...

III.

ИЕНЫ — РУБЛИ — ИЕНЫ...

Богатый купец Шик из Москвы, живший в этом же отеле, сундуков и не распаковывал. Со дня на день собирался ехать обратно в Москву. При каждой встрече он сообщал сенсационные новости все о том же:

«Большевикам осталось жить считаные дни. Вот я же вам говорю, через две недели пойдут прямые поезда в Москву. Это уж я вам говорю. Мы поедем... Они на днях друг друга перережут. Ленин и Троцкий переводят себе деньги в Швецию и в Кремле стоят у них готовые аэропланы. Около аэропланов день и ночь дежурят чекисты-пилоты, чтобы все в каждую

минуту было готово. Это уж я вам говорю — у меня сведения точные. Большевикам же конец...»

Откуда у него эти сведения, он сообщать отказывался, но всякий раз добавлял:

«Можете быть уж уверены. У меня первоисточники».

* * *

Он все время покупал рубли на иены — теперь рубль стоил десять сенов, в десять раз меньше нормальной цены. Жена закупала необходимые для Москвы вещи.

«Роза! Ты же не забудь кофейный сервиз. Наши же оба разбили эти бандиты... Роза! Ты же еще забыла вставить зеркало в туалетный прибор, в Москве это будет стоить в пять раз дороже...»

«Как дороже, когда мы рубль покупаем за десять сенов? Лучше рубли повезем с собой и там купим...»

«Там купим! Что ты говоришь! там все побили эти бандиты... Там стеклянного товару не достанешь теперь. Слушай же, что я говорю. Что ты понимаешь в политике!.. Я же вам говорю, господин Аристархов, покупайте рубли...»

Когда Шик сидел у себя в комнате, там все время играл грамофон: чаще всего военный оркестр исполнял «Боже царя храни».

«Разве вы такой горячий монархист?» — подтрунивал Арсений.

«Почему же монархист? Это мотив прежней хорошей жизни, которая, даст Бог, вернется... Я десять иен дал за эту пластинку».

«Но ведь слова о царе?»

«Почему о царе? Я могу петь «Боже, меня храни». Почему же непременно царь?.. Это гимн хорошей жизни и мне он очень нравится...»

«Шик снова заводил «Боже царя храни».

* * *

Арсений трунил над Шиком, но тот не обижался. Он был твердо уверен в своем и искренно удивлялся, как это другие не понимают. Продолжал покупать рубли. Ими была наводнена Япония.

Где-то в Чан-Чжуне работала центральная биржа и иокагамские торговцы несколько раз в день получали оттуда телеграммы о курсах. Пятисотки были дешевле, сотенные дороже!.. Арсению это казалось дико, нелогично. Ему было ясно, что рубль будет падать и падать. а все кругом покупали. И всетаки приходило сомнение.

«Неужели я ошибаюсь и пропускаю момент, когда можно так легко удесятерить свои деньги?..»

Шик говорил:

«Я же вам вот что скажу! Рубль есть рубль, за рубль можно будет купить много хороших вещей... Когда у человека есть рубли, он большая персона... В девятьсот пятом году я жил в Порт-Артуре, тогда тоже рубль падал и вот такие паникёры, как вы, перепугались и говорили, что он будет дальше падать. А я покупал и покупал и сделал слава Богу хорошие деньги».

«Тогда была только война, а теперь революция», — пробовал серьезно возражать Арсений.

«Что же такое революция?.. Революция начинается и революция кончается, а рубли остаются. Министров посадили в тюрьму, а тех, кто был в тюрьме, сделали министрами, но рубль остался рублем. Мне не нужно быть министром, я комерсант... Я же вам говорю, что они кончены. Если вы мне не верите, так вы читайте в газетах. Англичане и французы, вы думаете, спят, они ждут только момента. Сегодня рубль стоит девять сенов, а через две недели он, может быть, будет пятьдесят девять сенов. Этого только слепой не видит...»

* * *

Как ни наивны были эти разговоры, но они действовали и на Арсения. Кругом все говорили то же самое. Не в таких определенных формах, но у всех была уверенность, что дни большевиков сочтены. Придет какая-то новая власть, все устроится. Может быть Россия на долгое время останется под протекторатом иностранных держав, но рубль-то будет рублем...

Мнения Глаши были парадоксальны. Она не обосновывала своей уверенности логически, верила в торжество революции и в то же время верила в рубль! Так же, как и Шик.

Ночью Арсений думал:

«Если купить рубли, у меня будет почти полтора миллиона... Снова миллионы, возврат к прошлому. Так просто и легко! Что, если они правы?..»

«...Нет, не может быть... То, что было, никогда не вернется. Это черный передел — возврата к старому нет!.. Новый строй страшен, но за ним есть какая-то правда. Правда абсурдная, для меня неприемлемая, но исторически понятная...»

Начинал дремать, но вдруг приходила новая мысль:

«Где у меня логика?! Если в России устроится, то мне не важны эти полтора миллиона, там осталось достаточно. Надо сохранить здесь иены... А если там будут большевики или анархия, то рубль еще упадет... менять на рубли тоже не надо...»

* * *

Как будто решил. Задремал. Но опять в тревоге открыл глаза:

«Революционное правительство может укрепиться, собственность богатых останется конфискованной, но рубль то может повыситься и станет на прежнюю высоту?!..»

До утра ворочался. А утром вдруг поехал в банк и дал приказ купить миллион рублей! Когда сказал

об этом Глаше, та обрадовалась и одобрила. Весь день ходил с неотступной мыслью об этой сделке — ошибся или не ошибся? Если ошибся, тогда это катастрофа.

Нарочно искал по гостинице Шика. Знал, что он будет говорить то же самое, что это абсурд, и еще раз хотел это услышать от него. Ни одному слову Шика не верил и всетаки пошел к нему.

Шик в шелковом халате сидел в кресле и подпевал грамофону «Боже царя храни»...

* * *

После завтрака полагалось кофе на террасе. Глаша кофе пила только по утрам, но ей нравилось съедать сахар из кофе. Арсений нарочно накладывал больше, чтобы не весь растаял. Пил кофе слаще, чем ему нравилось. Без сливок, хотя иногда хотелось со сливками...

Когда допивал чашку, Глаша ложечкой вынимала нерастаявшие кусочки и съедала их.

Так делалось каждый день, в этом была уже традиция, милая интимность. Иногда ему кофе не хотелось, но он всетаки пил, чтобы Глаша потом съела сахар.

Неслышно подошел бой и подал на серебряном подносике карточку.

> «Только что приехали и очень рады Вас здесь встретить. Мы тут целой семьей.
>
> Шадурский.»

«Шадурский!»...

Арсений обрадовался. С этими людьми у него не было особенной близости, но всетаки хорошие знакомые, бывал у них. Богатый польский помещик-делец.

«Откуда они приехали — неужели из России? Как они умудрились?.. Ведь больше никого не выпускают, а тем более таких людей, как Шадурский.»

Сейчас же пошел к их столу. Сидело человек двенадцать: вся семья, два секретаря, какой-то англичанин, и тут же оказался уже маркиз Ричи...

Условились вместе обедать.

За обедом Шадурский обещал рассказать подробно, как они уехали из России. А пока жена, смеясь, заметила:

«Привезли с собой восемьдесят три сундука багажа! ха-ха-ха»...

Встреча с Шадурскими только на несколько минут отвлекла от рублей. Опять неотступно лезла мысль — ошибся или не ошибся?

* * *

Жена Шадурского была лет на тридцать моложе его. Он ревновал ее ко всем, хотя оснований для этого не было. В обществе он ее всячески выдвигал. За столом заводил разговор, давал тему и передавал ее жене — та рассказывала уже дальше заученный с округленными фразами рассказ. Центром внимания была она.

Глаша оказалась на заднем плане и Арсению это было неприятно. Он решил впредь делать так же, как Шадурский, — выдвигать Глашу, давать ей говорить, делать ее центром внимания...

Выехали Шадурские из России с помощью трюка. И остроумного, и наивного.

«Самое наивное и есть иногда самое умное»...

Только в теперешних русских условиях могли случаться такие истории. Совсем детская игра, а между тем она спасла им жизнь и, вероятно, на миллион имущества. Шадурская, оказывается, вывезла все свои бриллианты...

До замужества она была актрисой. Теперь в Москве записалась в актерский союз и собрали труппу для поездки по Сибири. Один из секретарей Шадурского был хороший музыкант: ему дали роль режиссера и капельмейстера! Остальные роли распределили между

членами семьи, а для полного «камуфляжа» прихватили еще двух настоящих актеров. Революция гнала буржуазию, но покровительствовала искусству. Актеры пользовались всякими привилегиями. «Труппе» Шадурского дали специальный вагон и еще товарный для театрального реквизита. Напаковали восемьдесят три сундука и выехали во Владивосток.

Сам Шадурской считался барабанщиком...

* * *

На одной из сибирских станций красные солдаты потребовали доказательств, что это действительно актеры. Тут же на станции, вечером, устроили спектакль. Он был заранее разучен еще перед выездом. Солдаты смеялись, одобряли и благополучно отпустили труппу Шадурского дальше...

Сундуки были набиты мехами и платьями.

«Все это театральные костюмы», — заявляла солдатам Шадурская. Те верили. Бриллианты были завернуты в старую газету вместе с объедками колбасы и селедки и брошены под диван. На одной станции солдат вытянул сверток штыком.

«У меня сердце остановилось», — рассказывала Шадурская.

Солдат развернул. Там лежало два бриллиантовых колье и много других вещей.

«Ах как я вам благодарна, товарищ, что вы это нашли!... А мы искали, искали, я думала потеряли — это мой театральный реквизит для роли королевы... Хотя и стеклышки, но без них нельзя обойтись... Ах как я вам благодарна!.. Кто же это выкинул? Какие наши актеры идиоты!...»

У солдата не явилось сомнения, что это действительно стеклышки.

«Только когда мы погрузили сундуки на японский пароход и уже вышли в нейтральную зону, только тогда перекрестились и свободно вздохнули»...

* * *

После обеда поехали кататься. Потом опять сидели с Шадурскими. Теперь уже рассказывал Шадурский.

Шик сам подошел и стал поздравлять, узнавши, что Шадурские приехали из России.

«Я же вам говорил, что можно ехать через Сибирь. И туда, и обратно... Только зачем же вы приехали? На днях мы все отсюда поедем обратно».

Сейчас же поставил Шадурского в курс дела с рублями и тоже советовал покупать.

«У вас какая валюта?... Все равно какая — покупайте рубль, потому что рубль стоит сейчас девять процентов. Заработок будет девяносто один на девять».

Шадурский не возражал и не соглашался. Рассказал, как незадолго до девятьсот пятого года он разговаривал с Плеве:

«Я часто бывал у него... Вячеслав Константинович подолгу со мной разговаривал о государственных вопросах, зная, что ко мне хорошо относится государь. Один раз, когда я сидел у него в кабинете, приехал со срочным докладом директор департамента полиции Лопухин. Я хотел выйти, но Плеве остановил меня.

«Для вас это не секрет».

Лопухин докладывал ему, что арестована большая революционная организация.

«Настоящая организация или провокационная?» — улыбаясь, спросил Плеве.

«Открыта по доносу, ваше высокопревосходительство, но организация настоящая».

«Хорошо, доложите мне еще раз, когда будут все подробности».

Лопухин уехал, а я остался продолжать разговор.

«Вы считаете возможной революцию»? — спросил меня Плеве.

«Да, считаю возможной и очень боюсь, Вячеслав Константинович», — ответил я.

«Революция возможна, но страхи напрасны», — сказал Плеве.

«Пока войска верны... Но если пропаганда заразит войска и они перейдут на сторону революции?»

«Этого не может случиться. Мы в курсе дела».

«А если?»

«Если?.. Тогда есть еще один решительный способ, хотя несколько грязный и неприятный».

Я вопросительно посмотрел на него. Он встал, прошелся по кабинету, остановился у окна и стал барабанить пальцами по стеклу, как это любил делать государь. Не глядя на меня, отчеканивая каждое слово, сказал:

«Тогда остается соглашение с крайними левыми партиями. С самыми крайними... Тогда нужно их пустить на время, чтобы они показали массам, где раки зимуют. Они в короткое время так разрушат жизнь страны, внесут такой хаос и анархию, что нам будет нетрудно вернуться к старому...»

«А что же я вам говорил?» — не выдержал Шик. — «Их песенка спета. У меня сведения из самого первоисточника».

Он попрощался и пошел еще раз перед сном прослушать «Боже царя храни». Соседи уже жаловались управляющему отеля.

* * *

Разговор Шика, мнения окружающих, рассказ Шадурского, как будто подкрепляли правильность покупки рублей.

Но Арсений не только не успокоился, а волновался все больше. Он подсчитывал: — всех денег у него сто двенадцать тысячь иен, девяносто тысяч с лишним он истратил на покупку этого миллиона:

«Что же остается? Если рубли станут опускаться и дойдут до нуля, то через год это полная нищета...»

Советовался опять с Глашей — та старалась его успокоить.

Однако на следующее утро, опять, казалось, вопреки всякой логике, он вскочил с постели раньше обык-

новенного, приехал в банк, когда еще двери были закрыты, вошел туда первый и дал ордер на продажу этого миллиона рублей!...

Служащий банка только пожал плечами. Вчера купил — сегодня продает...

Оказалось, что курс со вчерашнего дня даже немного повысился. Уплативши комиссию по покупке и продаже, он еще заработал двенадцать иен и опять остался с тем же, что было!..

Вышел из банка с чувством облегчения. Отпустил рикшу и пошел домой пешком, успокоенный.

«Глаша, я продал рубли!»

«Какие рубли? Тот миллион, что ты вчера купил?» — Она удивленно раскрыла глаза. — «Ты слишком нервничаешь, Арсений: но я не хочу тебе ничего советовать. Делай, как хочешь, но твои поступки нелогичны.»

«Какая теперь логика!.. Нет, Глаша, я не ошибаюсь».

Весь этот день он был в хорошем настроении, точно сделал какое-то большое дело. Точно исчезли сомнения — он прав, а не Шик, не Шадурский, не все те, кто покупают рубли...

* * *

Но вечером опять пришла тревога — уже другая теперь.

В английской газете была напечатана заметка о том, что Антанта готовится принять меры против большевистской пропаганды на Востоке. Среди эмигрантов имеются большевистские агенты, тратящие по поручению большевиков большие суммы, чтобы сеять смуту. Будто бы они работают по соглашению с немцами...

Вдруг откуда-то поползли слухи, что японские банки наложат арест на все вклады русских, будут выдавать деньги только на жизнь. Будто бы японское правительство идет на эту меру под давлением Антанты.

Неизвестно вообще, на какое время будет наложен арест — может случиться, что потом и совсем не получишь денег.

Кто-то сказал, что он уже взял свои деньги из банка и что нужно брать как можно скорее, а то будет поздно.

Опять тревожная ночь.

* * *

Опять Арсений приехал в банк еще до открытия и выписал чек на полную сумму и с тревогой ждал, выдадут или не выдадут? Когда наконец, дали талон и он получил в кассе толстые пачки иен, рассовал их по карманам, так что они до неприличия оттопырились и вышел из банка, — он только тут почувствовал, как у него дрожат руки и что он в холодном поту.

Приехал в отель, почти бегом дошел до комнаты, замкнул дверь и стал выкладывать пачки на стол. Глаши не было дома. Сложивши пачки в кучу, туго перевязал их шнурком и завернул в газету.

«Куда девать эту связку?.. Где я буду ее прятать»?

Просидел несколько минут, развязал связку и попробовал рассовать деньги опять по карманам. Они не вмещались. Он просил в банке, чтобы ему дали тысячные бумажки, но их не оказалось.

«А может быть, нарочно дали мелочью?... Может быть, уже меня в чем-нибудь подозревают?.. Может быть, за мной уже следят?.. То я покупал рубли, то продавал, то вдруг все взял со счета — я обратил уже на себя внимание»...

* * *

В дверь кто-то постучал. Арсений нервно вскочил и стал прятать пачки денег под одеяло. Руки дрожали. Он не знал, побледнел или покраснел, но понимал что по лицу его видно, как он взволнован.

Открыл дверь — это бой принес газету...

Пришла Глаша. Он рассказал ей все, как было, высказал все опасения. На этот раз и Глаша как будто обеспокоилась. Это еще больше увеличило его тревогу.

После некоторого раздумья, он наконец решил.

«Глаша, сшей мне из полотенца пояс, я туда запрячу все эти деньги и буду носить на себе».

Так и сделали. Целый день он ходил в этом корсете! Было жарко, неловко, деньги буквально душили, все время жила тревога.

«Если в чем-нибудь заподозрят, то ведь все равно обыщут и тогда будет еще хуже, что я так прячу деньги. Уже в этом факте есть что-то подозрительное».

Два дня прошло в этих колебаниях и возне с пачками. Ночью клал пояс около себя под одеяло...

За брэкфестом решили, что так прятать бесцельно, что если выйдет приказ об аресте эмигрантских денег, то все равно найдут и на нем. Будет еще хуже, еще подозрительней.

* * *

Тревожные слухи не подтверждались, никаких распоряжений правительства в банках не было. Посоветовался с директором русского банка, теперь существовавшего уже только номинально — никаких дел у него больше не было.

Решил, было, положить деньги в нейтральный банк, в голландскій. Но из разговора с управляющим оказалось, что и голландский банк подчиняется, разумеется, японским законам и в случае какого-либо правительственного распоряжения и тут деньги будут арестованы. Единственная возможность — положить на имя какого-нибудь голландца. Но где найти такого, кому можно доверить?

«Разве соседу мексиканцу?.. Разумеется, нет. Он как раз наиболее подозрителен. Его тут считают немецким агентом. Мексика ведь все время держится германской стороны. В мексиканских портах будто бы укрываются немецкие подводные лодки... Да и разве

можно доверить все свое теперешнее состояние какому-то случайному мексиканцу, хотя бы и консулу?..»

Через три дня опять поехал в тот же японский банк и опять внес деньги на текущий счет. Чтобы не было так странно, внес сначала одну половину, а на завтра другую...

IV.

БРИЛЛИАНТЫ.

Если бы в былое время в Петербурге спросить, кто такой Шадурский или чем он занимается, всякий знающий петербуржец ответил бы:

«Очень богатый человек... Проводит миллионные дела».

У Шадурского не было официального дела. Он нигде не служил директором. Но все знали, что у Шадурского постоянно в доме бывает много народу, что у него превосходная кухня и вина. Знали, что у Шадурского бывают крупные дельцы и сановники, даже министры. Шадурский в разговоре мимоходом называл имена великих князей — всегда корректно и почтительно — но давая понять, что он с ними близок.

* * *

Если бы велась хроника того, что наиболее интересно, что творится в высших кругах, но что нельзя печатать, то там было бы прежде всего рассказано о знаменитой концессии, проведенной иностранцами через Шадурского. Против этой концессии было два министерства и в Совете Министров она встретила неблагоприятный прием. И тем не менее Шадурский про-

вел ее. Горячим сторонником концессии оказался один из министров и в дело вдруг вмешался сам государь, высказав пожелание, чтобы концессия была утверждена...

Среди «авгуров», вершивших судьбы, было известно, что в последний момент на царя оказал влияние спирит Филипп! На спиритическом сеансе во дворце дух Александра Македонского сказал, что предприятие, о котором сегодня докладывали царю, должно принести России благополучие! Именно в этот день сочувствовавший министр докладывал царю об этой концессии...

Знали, что во время русско-японской войны Шадурский заработал от иностранных фирм крупные деньги на военных поставках, хотя его имя официальнс нигде не упоминалось. Знали, что теперь во время европейской войны он заработал еще больше.

«Сколько ему удалось вывезти денег, как ты думаешь, Глаша?»

«Говорят, у них одних бриллиантов почти на миллион».

Было стыдно, что вот Шадурский сумел спасти свое состояние, а он, Арсений, не мог. Глаша угадала эту его мысль и добавила:

«Едва ли он вывез деньги... Всегда преувеличивают. Вероятно, и бриллиантов не так много».

«Какая она хорошая», — подумал Арсений. — «Завидно же ей, что у Шадурской такие бриллианты, а у нее ничего».

* * *

Судя по тому, каким темпом стали сразу жить Шадурские, надо было полагать, что у них денег много. Заняли в отеле чуть не десять комнат. Каждый день за их столом было несколько приглашенных. Ели не те блюда, что были в меню, а заказывали непременно что-нибудь особенное за дополнительную плату. Это особенное было нисколько не лучше обычного, но так шикарнее...

За неименьем настоящих сановников и крупных капиталистов, приглашали кого придется, лишь бы был большой стол. Появился даже какой-то японец, крупный промышленник по словам Шадурского, говоривший только по японски. Шадурская умудрилась и с ним вести любезный разговор, хотя тот ни на каком языке, кроме своего, ни слова не понимал.

Жена его, маленькая изящная японочка в голубом кимоно, тоже тихонько пришла за стол сзади за мужем... За обедом она все время ласково улыбалась на комплименты Шадурского, также ни слова не понимая, что он говорит.

* * *

Один из секретарей Шадурского, Витус, сидел во фраке с белым жилетом и белым галстуком. Когда под конец обеда случилась маленькая пауза, Шадурский сказал:

«Витька! скажи речь».

Витус встал и улыбаясь, спросил:

«На каком языке?»

«Говори по английски».

Витус, не запинаясь, начал говорить. Свое обычное. Речь шла о том, что все люди, как известно, окружены всегда добрыми и злыми духами. Присутствие добрых духов создает счастливую и веселую обстановку, зато злые духи, элементалы, весьма опасны. Они строют людям всякие каверзы, вводят их в несчастье. Надо всячески избегать их близости. Одно из верных средств для этого — доброжелательное отношение к людям...

Всякая добрая мысль человека отгоняет элементалов и приближает добрых духов. Между прочим, как проявление доброжелательства к людям, очень важно и то хлебосольство, каким хозяин встречает гостей. Насколько ему, Витусу, известно уже, это не только русская черта, но и японская и это служит залогом удачи в жизни. Он уверен, что здесь вокруг стола

витают только добрые духи, а элементалы удалились на большое расстояние...

И кто не понимал по английски — все были довольны речью Витуса. Особенно японец и его жена. Они все время улыбались и одобрительно кивали головами. Японочка наблюдала за своим супругом и как только он улыбался и кивал головой, так и она улыбалась и кивала...

Оказалось, что маркиз Ричи говорит и по японски и к общему удовольствию он по японски вкратце резюмировал речь Витуса. Японец совсем обрадовался, встал и тоже, присюсюкивая, втягивая воздух и кланяясь, говорил что-то радостное, хотя его уже никто не понял, даже и сам Ричи.

* * *

Сама Шадурская была увешана бриллиантами. Арсений подсчитывал, на какую здесь сумму. Всетаки до миллиона было очень далеко.

«Может быть, это не все?»

Бриллианты Шадурской навели его на мысль:

«Не купить ли на наши деньги бриллианты?.. Бриллианты гораздо легче спрятать, чем пачки денег. Кто знает, может упасть и японская валюта, а бриллианты останутся всетаки ценностью. Бриллианты легче хранить около себя, можно не класть в банк...»

После революции, после того как сейфы в России были национализованы, русские в них больше не верили. Вчера Шадурская рассказывала, смеясь, что она понятно свои бриллианты в первые же дни после февральской революции взяла из сейфа. У ее подруги в банке лежало ценное жемчужное колье. Когда большевики стали вскрывать сейфы, она отправилась в банк и сама предъявила ключи. В присутствии банковского комиссара ее сейф был открыт. Там оказались процентные бумаги, несколько золотых малоценных вещей и это ценное колье. Она наивно сказала комиссару:

«Понятно, процентные бумаги и золотые вещи вы мне не выдадите?.. Но позвольте, пожалуйста, взять эти бусы, они мне ценны как память, это моей покойной матери».

Комиссар повертел в руках нитку и отдал ей...

«Теперь уже это больше не пройдет, они уже научились», — засмеялась Шадурская.

«Другому вкладчику они вернули все английские фунты, думая, что это какие-то беленькие квитанции», — добавил Шадурский. — «Ободранцы!..»

* * *

Обед затянулся до полуночи. Маркиз выпил много шампанского, каламбурил, острил. Глядя на хозяйку, он вдруг в полголоса запел:

«Когда мужчинка
Влюблен в бабёнку,
Он как телёнок
В любви своей...»

Все расхохотались. Даже японец с японочкой за компанию.

«Это не мое, это из оперетки», — смеясь сказал маркиз.

«Вот таким надо быть... К чорту все беспокойство. Ведь у него в кармане наверное ста иен нет», — подумал Арсений. — «Чего я вечно роюсь в собственной душе?»

Пора было расходиться.

Бои ходили со злыми лицами, ожидая когда же, наконец, их отпустят: в пять часов утра им опять являться на работу.

* * *

Снова начались колебания.

«Купить бриллианты или нет?»

Советовался с Глашей, но та не высказывала определенного мнения.

«Какой она странный и какой хороший человек», — опять думал Арсений. — «Хочется же ей, чтоб я купил бриллианты. Почему же она не советует?..»

Шадурские ездили в Токио и купили на большую сумму жемчуга.

«Здесь он безумно дешев», — восхищалась Шадурская.

«В такое время они продолжают покупать драгоценности!» — удивлялся Арсений. — «А, может быть, я напрасно удивляюсь, именно это и есть самое лучшее помещение капитала?»

Через несколько дней он сказал знакомому маклеру, что не прочь купить несколько больших бриллиантов. Тот торговал, чем угодно.

Были с Глашей в нескольких ювелирных магазинах и в ломбарде, где продаются просроченные вещи. После долгих колебаний, после окончательного решения всетаки бриллианты не покупать, Арсений на завтра купил шесть больших камней за сорок тысяч иен. Камни зашили в мешочки и один из них носила Глаша, другой он. На ночь отвинчивал у кровати шарик на одной из ножек и на дно пустой медной трубки на ниточке опускал эти два мешочка. Один раз вечером, когда собирался опустить, показалось, что шарик не так плотно привинчен, как он завинтил его утром. Сразу явилось сомнение, — не догадался ли бой, что в ножке хранится что то ценное.

Решил больше туда не класть. Выбрал другое: в одном углу, вверху, за портьерой, как раз около того места, где когда-то лазили крысы, обои отстали; туда стал засовывать мешочки. Если бы ночью пришли воры или обыск, то никому не придет в голову смотреть под потолком за отставшими обоями...

* * *

Когда ездили купаться, было постоянное беспокойство из-за этих мешочков. Их оставляли в кабинках, но все время не спускали с кабинок глаз, чтобы кто-

нибудь не отомкнул другим ключом. Ключи он засовывал под купальный костюм, на голое тело — было очень неудобно. Как то его свалило волной, ключи выскользнули и кабинки пришлось взламывать...

С удивлением он смотрел на англичан и японцев. Те оставляли ценности в незапертых кабинках и нисколько о них не беспокоились.

«Они еще не видали революции... Да, но нормальны то они, а не я. Мы уже полусумасшедшие. Нельзя так жить...»

Придя к этой мысли, на следующий день просто запер бриллианты в шкаф и взял с собой ключ. Заставил себя это сделать, но как себя не уговаривал, волновался целый день и опять вернулись к старому методу...

V.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ.

Ночь опять была страшная. Была сильная гроза.

Часто среди тишины, и днем, на Арсения находил страх. Не то чтобы определенный страх, а нервное ожидание чего-то, напряженное, неприятное. Вот-вот что-то взорвется, выстрелит, лопнет, обрушится. Как в детстве...

Он понимал, что никаких причин для страха нет, что это только болезненная нервозность. Он понимал, откуда это. Издалека, из детства, от домашних дрязг их семьи, от былой религии. И от революции..

И еще определенно от страха грома, которого тогда в детстве он так боялся. И теперь еще он боялся грозы. По напряженным нервам знал, что приближается гроза. Уходил от окна, когда сверкала молния, и искал места, где более безопасно.

«Глупо», — думал каждый раз. — «Вероятность быть убитым молнией ничтожна. Есть сотни других гораздо более вероятных опасностей... Наконец, одно место не лучше другого — молния бьет иногда вопреки научным правилам...»

Уверял себя в этом и всетаки прятался. На лбу выступал холодный пот.

Было стыдно этой боязни. Скрывал свое беспокойство даже от Глаши. Та, казалось, ничего не боялась и поэтому не могла бы его понять.

* * *

...Анализируя этот страх после прочтенных книг по психоанализу, Арсений вдруг вспомнил забытую страшную грозу в детстве. Он спал с матерью в саду, в фольварке, где жили летом. Спали в деревянной «альтанке». Ночью надвинулась гроза, перешедшая в бурю, с такими громовыми ударами, каких никогда раньше не слыхал. От удара грома он проснулся и увидел, что мать стоит на коленях и молится. Она тоже очень боялась грозы. Ему стало еще страшнее от страха матери — он тоже стал молиться и плакать, уткнувшись в подушку... А удары и раскаты становились еще сильнее и молния беспрерывным голубым и желтым пламенем заливала сад. Мать сказала со слезами:

«Не светопреставление ли уже?.. Молись, Арсеньюшка».

Такого ужаса, как в эту ночь, он никогда раньше не переживал. Этот страх остался на всю жизнь.

«Надо найти причину страха, проанализировать, откуда он идет, и тогда от него излечишься», — думал он. И всетаки боялся грозы. — «Я знаю причину: отчего же не проходит эта боязнь?..»

«Ничтожный я человек, не могу совладать со своей животной трусостью. Страх пещерного человека... Всю жизнь боялся, что кто-то или что-то помешает. Удавалось одно из ста, и для этой сотой удачи надо было болезненно переживать девя-

ността девять неудач. Другие видели одну удачу, а моих тревожных ночей не знали. У меня удачи были выстраданы, случайно они не приходили. В рулетку я не выиграл ни разу».

* * *

Днем жила надежда.

«В России как-то устроится: не вернется старое, но опять будут миллионы... Если даже все окончательно и бесповоротно пропало, то где-нибудь в другом месте — в Европе, в Америке, может быть, в Южной Африке — опять будет возможность создавать миллионы...»

Было неясно, как это случится, но всетаки может быть?..

Жила надежда. Надежда живуча и нелогична. Она живет и тогда, когда ей по всей логике давно бы надо умереть.

«Даже если будут такие условия, в которых создаются миллионы, сумею ли я это сделать? Ведь я буду там чужой, без корней? Хватит ли энергии начинать сначала?»

Но всетаки надежда жила.

* * *

Ночью все было иначе.

Надежды не было. Даже вероятное казалось невероятным.

«Все потеряно! Деньги проживаются... Каждый день меньше и меньше. Поместить тут их в какие-либо дела нельзя. Что будет через два-три года? Может быть, нищета? Работать конторщиком или приказчиком, или на плантациях я не могу — да никто и не возьмет. Здесь в Японии и думать нечего... Впереди все жутко. Глаша жалуется на боль в боку. Она молчаливая, скрытная, терпеливая, но иногда всетаки говорит, что ноет бок. Это что-то серьезное. Врачи не

понимают, в чем дело. А что если ей будет все хуже и хуже?.. Как я могу остаться теперь один? Все кругом чужое, холодное... И что такое я сам? Какие у меня особые данные и в новой обстановке идти вверх, даже если бы другие могли это делать?.. Нет, понятно только вниз, все вниз... Дорога потеряна, энергия тоже. Беспросветно, бесцельно... Милая Глаша, хоть ты бы была здорова. С тобой как-то смелее. Твоя логика никуда не годится, но всетаки с тобой смелее... Ты мне нужна, именно ты... Я привык к тебе. Я люблю тебя...»

* * *

Шадурские внесли некоторое разнообразие и оживление. Каждый день встречались.

Шадурская уверяла, что она влюблена в Глашу и всячески старалась оставлять ее вдвоем со своим братом, мальчиком лет двадцати. Потом выяснилось, что она хотела отвлечь его от увлечения другою. Вместе с Шадурскими приехал обрусевший английский полковник, имевший касательство к делам Шадурского. Его жена, уже немолодая, но молодящаяся женщина, влюбилась в брата Шадурской и всячески его соблазняла. Шадурская боялась, как бы из этого не вышло чего либо серьезного...

Редкие вечера, когда у Шадурских не было званого обеда, сидели у них и слушали рассказы Витуса.

О Витусе уже знали, что он друг детства Шадурского. Что он потомок литовских королей. Видели даже гравюру с его предком, очень на него похожим. Ее привезли Шадурские с собой, как доказательство знатного происхождения Витуса. Знали уже, что Витус пишет трактат по высшей математике. Что у него готовы какие-то изобретения, которые внесут полный переворот в жизнь человечества. Что он лично знаком с самыми выдающимися теософами. Но что ему нельзя поручать никаких дел, так как он все забывает и путает!..

* * *

Он уже успел и тут забыть в автомобиле портфель Шадурского и пришлось разыскивать через полицию. Потерялся не только портфель, но и сам Витус. Портфель вернула полиция, а Витуса разыскали в чайном домике у гейш. Все это обошлось в пятьдесят иен...

Шадурский нещадно ругал Витьку, но вместе с тем как будто гордился им.

«Этот мерзавец как раз в это время решал какую-то математическую формулу и забыл о портфеле», — делая вид, что очень сердится, рассказывал Шадурский. — «Он не выдумал ничего умнее, как подойти к какому-то японцу и распрашивать у него по английски, как надо искать портфель, забытый в автомобиле. Японец сразу понял по виду этого мерзавца, что ему нужно, и повел его в чайный домик... ха-ха-ха! Там его и нашли... Мы с ним как-то были вместе в Лондоне, так он умудрился вернуться в гостиницу и лечь спать в чужом номере... Необычайный мерзавец».

Слово мерзавец у Шадурского было до известной степени ласкательным и он с ним не стеснялся. За обедом он как-то сказал:

«Все люди делятся у меня на два разряда: мерзавцы и дураки... Те, которые не ухаживают за моей женой — дураки, а те, которые ухаживают — мерзавцы...»

* * *

Пошли вечером к Шадурским.

Шадурский сидел в кресле, качал ногой. Ел чернослив и рассматривал только что купленное шелковое белье. На ковре лежали горки шелковых вышитых рубашек, панталон, юбок, пеньюаров, матинэ, платочков. Шадурская накупала для себя и своих сестер не дюжинами, а гроссами. Уже все знали их и в холле отеля с утра толокся десяток торговцев шелковым бельем, кимоно, изделиями «клуазонэ» и японским фарфором Сацума. Уже оказалось несколько приказчиков, говорящих по русски, и к восьмидесяти трем сундукам у Шадурских прибавилось еще три.

Арсению было обидно за Глашу.

«Вероятно, и ей тоже хочется иметь шелковое белье и, может быть, эти ящички клуазонэ и кимоно с драконами».

Она кое-что купила, но это была капля в море в сравнении с тем, что покупали Шадурские.

* * *

«Витька, занимай гостей!» — приказал Шадурский.

Витус сел на ковер у ног Глаши, сложил крестом на груди руки, поднял вверх глаза и, выдержавши паузу, стал говорить.

«Во времена Атлантиды и еще раньше в Лемурии и Гиперборее у людей было три глаза. Рассказ в Одиссее о глазе циклопа, который был у него во лбу, совсем не сказка. Немножко только перепутали — циклоп был не одноглазый, у него были и нормальные глаза, а это был третий и был он не на лбу, а выше, на макушке. То, что Одиссей головней выжег ему глаз, надо понимать аллегорически. Это значит, что он лишил его мудрости, обманул его. И у современного человека есть в мозгу маленькие кристалики, совсем уже маленькие, оставшиеся от этого глаза мудрости. Кристалики эти растворяются в алкоголе и потому так вредны для духовной жизни человека спиртные напитки...»

Шадурский очень не любил, чтобы его жена пила что-нибудь спиртное, но сам Витус, когда ему давали, выпить любил. Шадурский не столько верил в растворение кристаликов, сколько боялся, чтобы жена под влиянием алкоголя не совершила какого-нибудь легкомысленного поступка. Витус пел в тон.

«...Люди с бо̀льшими кристаликами видят то, что не видно другим. Для них вся природа живая. Иногда они могут общаться с существами высшего порядка. Они сразу чувствуют присутствие элементалов и напряжением мысли, направляя ее на путь добра, отгоняют их. Не надо приближать к себе животных. Живот-

ные окружены элементалами, как существа низшего порядка...»

Шадурский терпеть не мог ни собак, ни кошек. Даже кошек он обвинял в том, что они рассадники блох и клопов.

«...Надо создавать такое настроение, чтобы приближались добрые духи. Высшие духи. Даже к так называемым неодушевленным предметам надо относиться с большим выбором. Одни предметы приятны существам высшего порядка, другие их отгоняют. Если смотреть на вещи третьим глазом, то каждый предмет окружен аурой. У одних предметов аура светло-голубая, радостная — это хорошие предметы, счастливые. А у других она красноватая — злая. Почему люди так ценят, например, бриллианты? Потому что самая голубая, самая светлая аура у этих благородных камней...»

Когда мадам Шадурская требовала у мужа дальнейших покупок бриллиантов, она неоднократно ссылалась на эти слова Витуса...

* * *

Шадурскому надоело или он заметил, что надоело слушателям. Он вынул золотой портсигар, бросил Витусу через комнату на ковер папиросу и приказал:

«Довольно!.. Иди принеси свой ковер».

Витус спокойно, с добродушной улыбкой, с так же вдохновенно поднятыми глазами поднял папиросу и пошел за своим ковром.

«Расскажи, какой это ковер, мерзавец!»

Витус разостлал свою вышивку среди комнаты, сел рядом на пол и спокойно продолжал, как будто это все тот же его непрерванный рассказ.

«...Эта моя вышивка не случайное сочетание разноцветных крестиков. Рисунок представляет собою математическую формулу. Его можно продолжать во все стороны до бесконечности на основании математических выкладок. Этот рисунок довольно красив, но дальше могут получиться еще более фантастические и более

красивые рисунки... Люди до сих пор почему-то не применяют математики в художественных произведениях, но несомненно они к этому скоро придут... Китайские логаны и тибетские учители давно уже знают, что математика и искусство нераздельны. У них уже достояние тысячелетий те знания, которые человечество только медленно и с большим трудом завоевывает. Тибетские учители, могли бы, понятно, сообщить современному человечеству некоторые свои тайны, но они не делают этого из боязни, что современный озлобленный человек использует во зло эти страшные силы. Человек может направить их во вред, а не на пользу себе...»

Он делал маленькую паузу, поднимал глаза еще выше, как будто что-то шепча, и продолжал:

«Теперь вот, во время войны, достаточно было бы одного совета тибетских учителей, скажем одного машмака, чтобы дать немедленную победу той или другой стороне. Но учители решили, что современное человечество должно очиститься страданием, пережить ужасы войны, для того чтобы подняться несколько выше духовно в дальнейшем...»

«Довольно! Расскажи лучше, как ты мыл посуду в Чикаго», — оборвал Шадурский и опять бросил Витусу на ковер папиросу. Шадурский сам курил сигары своей специальной марки с его монограммой. Их делали ему в Гаванне по заказу и теперь высылали в Японию. Но папиросы он всегда носил в кармане для Витьки...

* * *

Раскуривая папиросу, не меняя позы, Витус перешел к Чикаго:

«Я тогда голодал в Чикаго. Искал, искал работы — никуда не берут. Я прихожу, говорю — дайте пожалуйста работу... Они спрашивают, что вы знаете? Я говорю знаю высшую математику. Это, говорят, нам не подходит, нам нужно мыть посуду. Посуду говорю я тоже могу мыть... Один день я мыл благопо-

лучно, разбил только три тарелки, которые вычли из моего заработка, так что мне почти ничего за этот день не осталось. Я насыпал слишком много соды, так что разъело руки, но на второй день моя работа кончилась... Я мыл, мыл и все составлял в горку. Наставил слишком высоко и забыл. Стал думать о какой-то формуле и вся эта куча свалилась на пол с таким звоном и лязгом, что со всех сторон сбежались и меня немедленно выгнали!.. Тогда я уехал во Флориду. Собственно не уехал, а ушел пешком... Шел я долго...»

«Витька, скажи, чтобы принесли мой чернослив», — опять прервал его Шадурский, видимо находя, что флоридский рассказ будет не интересен.

* * *

Мадам Шадурская перевела разговор на драгоценные камни. Сам засмеялся и рассказал, как ее чуть не надули какие-то мерзавцы: хотели продать ей цирконы вместо бриллиантов.

«Разве нельзя отличить сразу циркона от бриллиантов?»—со скрытым беспокойством спросил Арсений.

«Цирконы всегда гранились иначе, чем бриллианты, но теперь мошенники стали их гранить под бриллианты и неопытный может ошибиться», — со знанием дела пояснил Шадурский.

Он вообще говорил всегда тоном категорическим, не допускавшим возражений. Он окружал себя людьми, которые внимательно слушали и не возражали. За это их хорошо кормили и поили.

* * *

Вернувшись к себе, Арсений развязал мешечки и стал беспокойно осматривать камешки. Что это не стекла, он был уверен — они режут стекло. Но ему не пришло в голову, что могут быть цирконы!

«Неужели меня тоже обманули?!.. А как написано в квитанции, которую выдал маклер?»

Прочел: там значилось, что получено столько-то тысяч иен за столько-то каратов «камней»... Пробежала горячая волна.

«Он не написал бриллианты, а камни!.. Как я могу доказать, что я покупал бриллианты, а не цирконы?.. А может быть, это так принято у ювелиров?..»

Понеслись мысленно доводы «за» и «против». Ни о чем другом не мог думать...

Знал, что по утрам маклеры и комиссионеры собираются в холле другого отеля.

Почти не спал всю ночь. Дремал полчаса и опять просыпался с теми же мыслями. На утро побежал в отель и нашел там своего продавца.

«Послушайте, вы не написали в вашей квитанции вес каждого камня, а только общую сумму каратов... Мне необходимо иметь подробно вес каждого».

Маклер удивился, зачем это, но согласился вписать и вес каждого камня отдельно.

«Почему в квитанции написано «камни», а не «бриллианты?» Напишите пожалуйста «бриллианты»... — наконец, выговорил и это.

«Это же безразлично», — и маклер исправил слово «камни» на слово «бриллианты».

* * *

Арсений успокоился, но дома опять заполз червь сомнений.

«Квитанция писана другим почерком. Очевидно ее писал какой-то ювелир, которому принадлежали камни, а маклер был только посредником. Вписанное рукою маклера недействительно... И что я могу взять с этого маклера, если это оказались бы не бриллианты?!..»

Хотел опять идти к маклеру и заставить его заменить квитанцию. Но потом передумал. Сказал Глаше, что едет в Токио купить какую-то книгу. Было стыдно признаться ей в своих сомнениях. Как это его могли провести как мальчишку!..

Ювелир в Токио сначала отказался оценивать чужие камни. Сказал, что они никогда этого не делают, но, когда Арсений предложил за это двадцать иен, согласился. Он долго рассматривал в лупу, взвешивал, клал на белую бумагу, потом на красную, смотрел при дневном свете, потом при лампе...

Арсений тревожно ждал приговора.

«Бриллианты довольно плохие», — сказал, наконец, ювелир, — «с нацветом и две маленьких трещинки...»

Эти трещинки и нацвет Арсений видел и сам — потому они и были сравнительно дешевы.

«Но, значит, это настоящие бриллианты!..»

Только приехавши домой, рассказал обо всем Глаше.

* * *

Арсений первое время смотрел на Витуса презрительно:

«Как этот человек может играть такую позорную роль!»

Но дальше стал замечать в нем более глубокое.

Витус видимо притворялся, играя шутовскую роль, но в нем было что-то и искренно-необыкновенное, и оригинальное. Занимая в семье Шадурских место шута, он духовно доминировал над ними. Витус никогда не говорил ни о ком плохого, но если он кого либо не взлюбливал, то постепенно это отношение передавалось и всем членам семьи. Такого человека в конце концов переставали принимать...

Цитируя какие-то неведомые тибетские записи теософов или даже книги по черной магии, он намекал, что этот человек окружен элементалами, приводит с собою злых духов. С ними может придти несчастье... Шадурский как будто смеялся над этими глупостями Витьки, но в конце концов подчинялся им.

* * *

Витус мог сидеть часами уткнувшись в книгу, и тогда он не замечал окружающего. После одного такого случая Арсений и проникся к нему симпатией.

Витус пришел как-то вечером к ним в номер, сел на веранде и стал читать одну из книг, лежавших на столе. Он так углубился в чтение, что Арсений не стал его беспокоить. Закрыл дверь на веранду и они с Глашей легли спать. Утром, когда Арсений в семь часов встал, Витус сидел на веранде в том же кресле, в той же позе, с книгой в руках!..

«Вы не ложились спать?!»

«А... да, извините... вот тут только две страницы осталось», — и Витус продолжал дочитывать книгу.

* * *

Глаше Витус очень нравился. Он занимал ее часами. Она не всегда понимала, что он говорит, и не всегда слушала внимательно, но просто был приятен его ровный мягкий голос, точно убаюкивающая речь. Он приходил, как всегда садился на ковер у ее ног и начинал:

«В Новой Зеландии есть особая ящерица «хаттерия», у которой до сих пор сохранился третий глаз. Неизвестно почему природа только ей оставила его. Может быть, для того, чтобы люди не забыли совсем о третьем глазе. Католические ксендзы не говорят мирянам, что значит это пробритое у них на макушке место, потому что мирянам все равно недоступны тот высокий экстаз и великое блаженство, какие открывает третий глаз...»

Если в это время Витуса чем-нибудь угощали, он охотно брал, не благодаря, как будто не замечая, что он делает. Особенно охотно пил все крепкое, спиртное: дома ему давали только вино и то только при гостях.

Съевши и выпивши, он опять поднимал глаза и продолжал, как будто перерыва и не было.

«Личное «я» перестает существовать. Оно сливается со всей вселенной и в этом слиянии достигается

высшее блаженство. Третий глаз у людей всегда атрофирован, но можно постепенно развитием духа, его торжеством над животной природой, вернуть себе до известной степени функции третьего глаза. Учители уже достигли этого. У них третий глаз видит. Третий духовный глаз... Тогда нет физических преград человеческому знанию и могуществу».

* * *

Другой раз он приходил с большим блокнотом и мягким у́гольным карандашом, чертил логосы, свастику, анк, кресты.

«...Свастика была символом эволюции, движением мира вперед. Христиане обломали у свастики концы и сделали эту фигуру символом христианства, хотя в действительности это символ полового чувства...»

«...Если к кресту наверху приделать кружок, то получается египетский анк, который можно видеть на египетских фресках всегда в руке фараона. Это символ вечной жизни. Наоборот, если к кресту приделать кружок снизу — вот так! — получается изображение вроде державы, которую держит в руках царь... или вроде круглого церковного купола. Но это как раз символ земного, преходящего, в противоположность анку — символу вечного. Такие симоволы для державы и купола люди взяли по незнанию настоящего глубокого значения этих знаков...»

* * *

Как-то он пришел расстроенный.

«У меня сегодня неприятность».

«Что случилось?»

«Сигары попортил! Сигизмунд Игнатьевич (так звали Шадурского) дал мне надевать колечки на сигары, колечки были тугие и у меня несколько сигар треснуло».

«Зачем надевать колечки?.. Какие колечки?»

«Колечки с дорогих сигар на дешевые. Сигизмунд Игнатьевич говорит, что он не может угощать всех семишиллинговыми сигарами. Он поручил мне собирать эти колечки с дорогих сигар и потом надевать их на дешевые. Все равно никто ничего не понимает... Мадеру мы тоже переливаем в другие бутылки. Мадера шестишиллинговая, а наливаем в четырнадцатишиллинговую».

Арсений и Глаша смеялись. То, что делал Шадурский, не казалось таким уж странным Арсению — сам когда то это делал — но странно было то, что Витус так откровенно об этом рассказывает. Шадурский не похвалил бы его за это. Чувствовалось, что у Витуса накипело недоброжелательство к его патрону.

«Иначе и быть не может! Достаточно этих папирос, что он швыряет ему, как кость собаке!»

* * *

Дружба с Витусом уже казалась прочной и взаимной. Но она вдруг сразу оборвалась.

Шадурский не давал Витусу почти ни копейки. Он жил на всем готовом, вплоть до папирос, но деньгами ничего не получал. Ему давались мелкие суммы на расходы только тогда, когда его посылали с каким-нибудь поручением. Но и это делали очень редко, потому что, по словам Шадурского, Витька вечно все перепутывал и у него крали деньги...

Придя как-то, Витус многозначительно задумался. Потом сказал:

«Учители знают все. Они ищут по свету людей, которым можно передать хотя маленькую крупицу своей мудрости. Они находят такого человека и долго проверяют его. Если он выдерживает искус, то становится учеником, сам даже часто не зная об этом... Его умственный горизонт вдруг расширяется. Ему становится понятно и ясно то, чего он до сих пор не видал и не понимал. Мир представляется ему те-

перь иным, единым живым существом, доброжелательным и близким. Ему все начинает удаваться...»

Витус опять многозначительно посмотрел вверх, сделал паузу и добавил:

«Я с радостью могу сообщить вам, что вы отмечены учителями. Мне дали об этом знать... Вам нужно выдержать только искус. Вы должны принести жертву в том, что для вас более всего дорого...»

«Это мне уже не нравится», — подумал Арсений, — «вероятно, попросит денег».

Он не ошибся.

Идя дальше по извилистой мистической дорожке, Витус договорился до того, что учителям известно, как ревниво Арсений относится к своим деньгам, и именно поэтому он должен отдать какую-нибудь сумму — они не назначают — не зная даже, кому и для чего эта сумма пойдет...

Арсений ничего не дал и с этого дня дружба с Витусом кончилась!

VI.

ЕЩЕ ОДНА ВЕСНА.

С Глашей было лучше, чем до нее. Но оставалось все то же напряженное ожидание «чего-то». Ждал перемены в России.

Сегодня не шло в счет — жил только ожиданием завтра.

Была уже весна. Весной Япония прекрасна.

«Прекрасна», — говорил себе мысленно Арсений и на секунду улыбался. «Какой детский, жалкий язык!» — сказал бы современный писатель. «Какое

избитое, шаблонное слово «прекрасно»!.. Не переношу этого ломанья, выдумыванья необыкновенных, заковыристых слов. В жизни никогда так не говорят, как пишут... Скажи прямо и ясно, что хочешь сказать. Но для этого, вероятно, и нужен настоящий талант...»

Тут же еще подумал о своей улыбке:

«Я стал еще реже улыбаться... Сейчас вот, кажется, улыбнулся по поводу этого слова... Для большинства людей разницы в словах не существует и они лишены такого удовольствия. Эти мелочи как раз и красят жизнь».

И опять улыбнулся:

«Красят в цвета бледные...»

* * *

Собирались ехать в Уэно-парк смотреть цветущие вишни.

«Совсем неинтересно. Уже видел прошлой весной... Вишневые цветы тут серые, точно грязные, без запаха... Но трогательна нежная любовь японцев к цветам. Они часами смотрят на цветущие вишни... У них душа должна быть нежнее нашей... Удивительно уживается у них жестокость с нежностью».

Зимой Япония была особенно неприятна. Везде холодно, нетоплено. Некуда пойти. Люди жмутся от холода и греют руки над «хибачо».

«А может быть, им и хорошо жить, им так и нравится? Дело не в зиме, а в самом себе... Стало же мне лучше после приезда Глаши, хотя Япония не изменилась...»

Только собрались ехать, пошел дождь. Всетаки поехали. Деревья выглядели скучными, розово-грязными. Мокрые цветы не успели еще расцвести, как уже стали опадать от дождя.

Но люди с зонтиками бродили по аллеям парка и радовались, глядя на эти цветы...

* * *

Вечером вдруг пришла новая щемящая мысль. Раньше она не приходила. Ложась спать, Арсений спросил Глашу:

«Глаша, ты прожила без меня в Швейцарии больше года, ты изменяла мне?»

Глаша удивленно, пристально на него посмотрела.

«Почему ты задаешь мне вдруг такой вопрос именно сейчас?.. А ты мне не изменял? Ты даже, положим, этого и не скрывал».

«Ты не отвечаешь на мой вопрос».

Глаша засмеялась.

«А как ты хотел бы?.. Ты сам учил меня никогда не говорить правды в таких вопросах... Если бы я и изменяла тебе, все равно не сказала бы».

«Нет, ты должна сказать, Глаша!»

«Должна?.. Ты не имеешь и права спрашивать у меня. Ты меня бросил, отпустил одну...»

«Верно, Глаша. Права у меня нет, но ведь чувства не считаются с правом... Скажи мне правду».

«Брось, родненький... Ложись спать».

* * *

Глаша обняла его и нежно поцеловала. Больше об этом не говорили, но неведомо почему вдруг явившаяся мысль не оставляла его. Он ясно понимал, что у него действительно нет никакого права задавать такой вопрос.

«Но всетаки, как нужно понять ее слова — да или нет? Если бы было нет, то она прямо бы так и ответила «нет!»... А может быть нет, но она не хочет сказать прямо... Она помнит мои разговоры, что женщина не должна быть слишком простой и ясной, это не нравится мужчинам. Я сам ей доказывал когда-то, что любовь нужно будоражить... Если мужчина слишком уверен, он перестает ценить женщину. Когда ухаживают другие, когда она нравится другим, это делает чувство более острым... Глаша это помнит и нарочно не говорит

«нет». Она умная. Мои слова она всегда запоминала... Нет, это только притянутое за хвост объяснение — она просто боится прямо сознаться...»

И снова шли доводы за и против.

* * *

Окружающие знали Глашу, как жену Арсения, но формально она не была его женой. Она приехала из Швейцарии по заграничному паспорту, выданному во время войны еще в Петербурге. Там не значилось, девица она или замужняя. У него в паспорте тоже не было никакой пометки. Ее фамилия тоже «Аристархова», и ни у кого не возникало сомнений, что они муж и жена.

«А может быть и возникали — хотя бы у тех же Шадурских? Они же хорошо знают, что в Петербурге я не был женат. Ни разу ни мне, ни Глаше не задавали вопроса — когда вы поженились? Может быть, именно потому, что догадываются...»

Там, в Петербурге, он жениться на Глаше не хотел. Теперь другое. Другое не только в том, что изменились все обстоятельства, а самое главное — он отдал себе отчет, что любит Глашу. Другие женщины проходили мимо и забывались, а Глаша осталась, стала дороже, чем раньше. Да, он ее любит... Она должна быть его законной женой.

«Но как это сделать здесь, в Японии — жениться на собственной жене?! Пойдут такие разговоры, что придется уезжать. Никакой священник не согласится венчать без документов и никакое учреждение не запишет такого брака. Получится скандальная история... Удивительно, что Глаша ни разу не подняла этого вопроса... Когда приходилось разрывать с другими женщинами, как это было иногда трудно...»

«Она ушла тогда непонятно легко. До обидности легко... Она несомненно меня любила, но переживала всю драму внутри себя, ни чем не проявляя. Как будто ровно ничего не делала, чтобы предотвратить этот

разрыв. Может быть, поэтому именно она теперь оказалась дороже всех других?.. Но всетаки какая она загадочная натура при всей кажущейся простоте и даже наивности...»

* * *

Вспомнились первые встречи с Глашей.

Не та, когда она приехала в Петербург на курсы и пришла к нему в кабинет, а самая первая, когда Глаша была еще ребенком... Он тогда приехал к ним в гости, как к родственникам. Они жили за рекой, около города, на своей маленькой дачке. Пробыл у них до вечера, и потом Глаша с отцом провожали его в лодке, перевозили через реку...

«Какие у тебя красивые чулки и галстук», — сказала тогда Глаша. Чулки были самые обыкновеннные, синие, но под цвет галстука. Неведомо почему маленькая Глаша обратила на них внимание и так же неведомо почему ему запомнилась эта фраза. Глаша была тогда хорошеньким ребенком с большими голубыми глазами...»

Он не видел ее после этого лет пять-шесть. И когда снова как-то приехал к ним, Глаше уже шел пятнадцатый год. Он сначала не отдавал себе отчета, почему ему хочется поехать в гости к этим дальним родственникам, но когда он уезжал от них, понял: хотелось видеть маленькую Глашу...

Он привез ей большой флакон духов. Глаша взяла его и быстро куда-то убежала. Потом вернулась довольная и раскрасневшаяся... Локоны светлых волос спадали на лицо и она закидывала их назад небрежными, точно сердитыми жестами. Жесты были небрежны и резки, но в них была милая грация и на это он тогда обратил внимание и даже удивился. «Откуда это у нее? Вот говорят об аристократизме, а чего же более мещанского, чем эта семья?»

«Хорошие духи», — сказала Глаша. Открыла флакон и дала понюхать ему.

«Я знаю этот запах, это мои любимые духи... Однако ты вылила уже чуть не пол-флакона?»

«Да, мне так нравится... Душиться, так душиться», — и Глаша задорно смеясь, опять убежала. И когда она бежала, он смотрел на ее ножки и ее походка казалась ему особенно изящной и милой, и запомнилась.

И потом глядя на других он думал не раз:

«Совсем как у Глаши...»

Почему-то запомнилась и вся эта незначущая сценка. Эти духи с тех пор стали особенно близки ему. Всякий раз, когда он слышал где-нибудь этот запах, вспоминалась Глаша — ее голубые глаза и светлые, теперь несколько потемневшие локоны. Ее капризные фразы, ее походка...

VII.

НА ОКЕАНЕ.

Как-то подкралась мысль о смерти. Раньше этого никогда не было — об этом не хотел думать. Казалось, что жить еще так долго, так много. Жизнь только начинается. Только строится еще карьера...

Теперь вдруг впервые начал думать о смерти. Что станется с его имуществом, когда он помрет? Кому оно достанется?..

Раньше было просто:

«Не все ли равно кому, не все ли мне равно что будет после моей смерти?..»

Теперь явилось беспокойство.

«Как же останется Глаша? Она не жена и не ближайшая родственница — разберут другие. Откуда-то из под земли вылезут наследники. Надо что-нибудь

сделать. Надо, чтобы Глаша была женой. Но здесь, в Японии, это невозможно...»

Это было одним из доводов уехать из Японии.

Другим, может быть, еще более важным были скука и однообразность здешней жизни. Тоска. Уклад жизни японца, его мышление, его привычки, его враждебные взгляды на европейца — через это нельзя было перейти...

После долгих колебаний решил ехать в Америку. Уехать отсюда совсем, ждать в Америке конца революции и оттуда уже вернуться в Россию. На то, что рано или поздно, через год-два, можно будет вернуться, была еще надежда. Хотя она все хирела...

* * *

Еще когда садились на пароход, было жутко. В порту висели сигналы надвигающегося тайфуна. Но пароход все равно уходил во время. Остаться было нельзя. Пропали бы билеты и трудно было бы достать на следующий. Все пароходы были переполнены.

Вышли из порта в полдень.

Тайфун надвигался. Качка все усиливалась. Пришлось лечь. Кто-то уверял в смокинг-руме, что пароход успеет уйти из полосы тайфуна, но это не оправдалось.

Пароход бросало, переборки трещали, скрипели. Начались приступы морской болезни. После сильного приступа наступало временное успокоение, дремал, но опять просыпался от нового сильного удара волны. От упавшей щетки.

* * *

Была уже ночь.

«Глаша, милая... ты спишь?»

«Ты опять не можешь заснуть? Ты боишься? Не надо бояться — все равно не поможешь. Будет, что будет. Ничего нет опасного...»

Было жутко. Казалось, что и она боится, но скрывает.

Арсений попробовал встать и, надевши теплую пижаму, вышел из каюты. Ударился о стенку коридора. Держась за поручни, добрался кое-как до палубы. Все двери были наглухо закрыты. Палубы окачивали волны. Выйти было невозможно — чуть высунулся, всего обдало колючими солеными брызгами...

На площадке лестницы сидел какой-то голландец с англичанином и курили трубки. Один что-то рассказывал другому и оба смеялись. Это подействовало успокаивающе.

Подсел к ним.

Разговор шел о каком-то крейсере. Горячая волна обдала Арсения. Оказывается, капитан получил сообщение, что за пароходом гонится немецкий крейсер!..

«Мы идем с потушенными огнями и взяли другой курс. Уклоняемся на север».

* * *

Присутствие немецкого крейсера в Тихом океане было почти невероятно, но под влиянием страха об этом не подумал. Голландец предложил сигару.

«Курите скорей, хорошая сигара. Все равно пропадут, если немцы нас нагонят».

Он весело засмеялся, но Арсений принял это всерьез. Логическое мышление не работало. Его съели страх и морская болезнь.

Качаясь, он отошел от говоривших и опять, держась за поручни, пошел обратно в каюту.

«Легче тебе?» — спросила Глаша.

«За нами гонится крейсер».

«Какой крейсер?» — удивилась она.

«Немецкий крейсер... Мы идем без огней, изменили курс».

Он бросился на кровать.

«Как же он нас найдет, если мы идем без огней? Смотри, как темно! Даже звезд нет. Как можно найти

в океане?» — успокаивала Глаша. Она мыслила спокойнее.

«Спи, Арсений. Ты осунулся за последнее время... А теперь совсем больной... Спи, сынишка. Спи, маленький...»

Глаша тихонько, тепло засмеялась и положила руку ему на лоб. Стало как будто легче.

«Какая она хорошая... Откуда у нее эта сила воли и спокойствие? Как будто совсем безвольная и мысли у нее часто такие ребяческие. Радуется пустякам, а крупное ее как будто не интересует. Мышление ребенка... Сейчас она тоже спокойнее меня потому, что неясно понимает опасность... Наружно она всегда как будто спокойна, ее ничто не трогает. Но внутри должна же она переживать, как и другие?.. Наружно она такая несложная, как будто слабовольная, а может решиться на самый отчаянный поступок... Разве поездка в Швейцарию не была одним из таких? А ее дружба с Анфисой?..»

* * *

Пароход особенно сильно подкинуло. Задрожал, точно ударился обо что-то. Все заскрипело, закачалось. Из стойки выпал графин и разбился. Осколки стали ездить по полу... Как будто кто-то застонал рядом в каюте или в коридоре. Внизу, в трюме что-то запело или завыло — пустили какую-то машину...

«Может быть насосы, может быть пробоина, может быть откачивают воду?»

Вдруг решил. Снял тихонько со лба Глашину руку, поцеловал ее и сказал:

«Глаша! Если мы только доедем до Гаваев, мы там сейчас же пойдем в консульство и, если нужно, к священнику... Ты хочешь? Я утром напишу завещание. Если даже нас нагонят немцы, я передам им и буду просить, чтобы они его сохранили. Если доедем до Гаваев, я пошлю его в Нью-Иорк к нотариусу. Ты подумай только — кому бы все досталось, если бы мы сейчас погибли?!»

Глаша порывисто обняла его и он вдруг почувствовал на своей руке ее слезы.

«Моя милая девочка, чего же ты плачешь?»

«А как ты думаешь, чего я плачу?..»

* * *

У него явилось вдруг спокойствие. Свалилась какая-то тяжесть. Так долго колебался. Почему так долго колебался? Вспомнил, как он думал о ней когда то — «мещаночка». Стало стыдно этой мысли, но она не уходила...

«Могу ли я примириться с тем, что это последняя женщина в моей жизни? Люблю ли я ее так сильно, чтобы отказаться от всех других? Сейчас она мне дорога и близка потому, что опасность, потому что я перепуган... Потому что нет рядом другой более интересной... Нет, нет, я решил, я сказал. Сказал и сдержу слово. Может быть, от этого моего решения зависит сейчас мое спасение», — мелькнула мысль и тут же в темноте кто-то высунул огненный язык и насмешливо захихикал.

«Именно вот этого твоего решения и ждал всемогущий Бог, чтобы дать распоряжение немцам не топить парохода!.. И приказать тайфуну успокоиться!.. Ты брат, таё, сильно поглупел. Помнишь, как Джорджано Бруно пишет о приказе на сегоднешний день — скольким волоскам упасть, скольким новым клопам родиться — ха-ха-ха...»

Заснул.

VIII.

НА САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВАХ.

Еще несколько дней качало. Еще снесло волной две шлюпки и разбило несколько вентиляторов.

Казалось, вот-вот в корпусе судна лопнут заклепки и вода хлынет внутрь. Ночью рисовалась картина, как будут опускаться на дно океана...

«Тут глубина пять верст...»

Наконец стало стихать.

Но тревога погони еще оставалась. Пробовал убеждать себя, что все это детские выдумки.

«Откуда здесь германский крейсер?.. Никаких крейсеров давно уже нет — они заперты или потоплены... И как могут знать, что он гонится именно за нами? Что он сигнализировал нам, что-ли?!.. Глупо это все... Однако, идем с потушенными огнями... Что-то есть...»

Глаша попрежнему была спокойна. Казалось, и ее радость прошла. Она загнала ее куда-то вглубь, как все свои переживания. Точно у нее было две души: одна видная людям, а другая — своя, внутренняя, которую никому нельзя раскрывать и которой она и сама не совсем управляет.

* * *

Океан стал голубеть.

Повеяло каким-то ароматом. Может быть, воображаемым ароматом гавайских цветов. До Гаваев было уже только тридцать часов ходу. Кто-то сказал...

«Обычно на всех пароходах маленькими значками на карте отмечают положение парохода в океане, но здесь этого не делали. Значит не хотели указывать курс, по которому идут... Всетаки что-то есть... Теперь уже к счастью не есть, а было... Как хорошо!..»

Арсений быстрым шагом ходил по палубе.

«Как странно!» — думал он. — «Еще два дня тому

назад, еще вчера был такой страх. Жил в кошмаре. А сегодня уже ушло, почти забыто... Тогда ночью казалось величайшим счастьем ступить на землю. С каким ужасом думал, что вот нагонит крейсер и даже, если не потопит всех, то нас снимут и посадят в трюм, а потом месяцы будем носиться по океану, сидя там, внизу, в подводных казематах, потому что некуда будет нас высадить!.. А сейчас все кажется уже таким далеким... Все ведь осталось по старому, но точно смотришь с другой стороны. На сцене была буря, полыхали молнии, погибал среди океана корабль... На палубе разыгрывалась потрясающая драма, люди кричали страшными криками отчаяния... А потом зашел с другой стороны и видишь задний двор, куда сваливают декорации после представления... Все это только грубая мазня, никаких драм в действительности не было и вот сидят разгримированные актеры, курят и весело смеются... Те самые голоса, от которых шевелились на голове волосы... Какой-то шутник пустил этот крейсер и я в общем стаде поверил. Какой я паршивец!..»

* * *

«...А мое обещание?! Понятно, я должен сдержать его. Хотя сегодня у меня уже нет всех тех доводов, которых были вчера... Если нужно и дальше делать карьеру, то ведь Глаша для этого не подходит. Совсем не подходит... Я понятно сделаю то, что сказал. Не может быть никаких оговорок или сомнений... После того, как человек отверг все принципы, мораль, религиозные запреты и законы, у него создается уже какое-то ничем ненарушимое обязательство перед самим собой. Когда обещание делается по приказу религии или жупелов морали, можно допустить талмудические кривотолкования, можно внести оговорки, понимать иначе недоговоренное. Но когда человек считает себя ни перед чем не обязанным, ничему абсолютно неподчиненным и ничем не связанным — тогда никакие оговорки недопустимы!.. И что я сам такое?! Может быть,

в Глаше больше индивидуальности, чем во мне самом?.. А был ли у нее там роман с кем нибудь? Почему она сразу не хотела ехать ко мне из Швейцарии?..»

* * *

На рассвете пароход вошел в гавань Гонолулу.

По расписанию должны были стоять тут только двенадцать часов, но было вывешено объявление, что простоят два дня, — надо исправить причиненные тайфуном повреждения.

Арсений был доволен, что будут стоять два дня.

«Сколько связано детских, юношеских воспоминаний с этими островами!»

Сколько раз — десятки, сотни раз — он мечтал уехать сюда, на Сандвичевы острова, в новый мир... Мечтал уйти от окружающего и уехать как можно дальше, и Сандвичевы острова представлялись земным раем.

«Мне казалось, что меня все обижают, несправедливы ко мне... Смеются надо мной... Дразнят меня... Я помню, как я подолгу рассматривал атлас и всегда останавливался на Сандвичевых островах. Самое далекое! Маленькая точечка среди громадного океана...»

* * *

Торопился сойти на землю. Не потерять ни минуты.

«Тут, Глаша, действительно хорошо! Как хорошо...»

Вдыхал глубже аромат влажного весеннего, круглый год весеннего, воздуха.

Но совсем все не так, как представлял себе тогда, в детстве. Столько раз думал о Сандвичевых островах, что сфантазированная картина уже твердо нарисовалась в сознании.

...Гавань, покрытая лодочками. В лодочках поют туземцы... Налево горы с пальмами и водопадами,

направо плантации ананасов и сахарного тростника... Попугаи летают над пароходом. В бинокль видно, как по пальмам лазят мартышки... У самого берега хижины, покрытые пальмовыми и банановыми листьями... У одной из них танцуют...

Ничего подобного.

Совсем американский порт, многоэтажные дома. Автомобили плотными рядами стоят на пристани. Никаких обезьян и попугаев, и туземцев не отличить от американцев...

Но действительно много цветов. Все в цвету. Целые улицы красных и желтых цветущих деревьев, сплошь усыпанных цветами, так что не видно листьев.

«Знаешь что, Глаша! Не теряя времени, возьмем автомобиль и поедем кругом острова. Это самая красивая дорога в мире — я сколько раз читал...»

* * *

Так и сделали.

На каждом повороте дороги новая панорама. Ярко белый гавайский прибой, море кружев. Цветущие кусты вдоль дороги насадила сама природа. Ибискусы сами выдумывают себе все новые оттенки — один куст не хочет подражать другому. Целыми ворохами висит с деревьев радостно-голубое «торжество утра». Оно цветет только по утрам, но зато свежее и радостное, новорожденное, как само голубое небо...

Океан темно-голубой. У берега снежно-белая оторочка. Весенний душистый ветерок — круглый год весенний...

«Не мягкие тона Ботичелли, а густые, контрастные Мемлинга — но от этого только еще красивее...»

У сахарного завода ветерок несет с собой липкий теплый сахарный запах — но ничего не липнет, а только ласкает. С ананасных плантаций доносится запах ананасов...

У города виллы с аллеями точеных королевских пальм. Сады — все в цвету. Всё в цвету круглый год.

После поездки, немного усталые и сильно возбужденные быстрой ездой и впечатлениями, обедали на террасе гостиницы. Терраса вошла в самый океан. Под ней отлогие тихоокеанские волны мягко перебирали песок. Оркестр играл гавайские песенки.

«Здесь божественно хорошо!» — не выдержала вдруг и Глаша. — «Мы сюда непременно опять приедем когда-нибудь... Правда, Арсений?»

«Разумеется, Глаша, приедем... Как только кончится война и у нас в России успокоится».

И тут же подумал:

«Война-то кончится, но прежней России мы никогда не увидим...»

* * *

Вечером, вернувшись на пароход, Арсений забрался в самый укромный уголок, чтобы Глаша его не нашла, и стал писать. Завещание.

Два раза рвал начало, но потом написал прямо начисто без помарок:

> «Все мое состояние, в чем бы и где бы оно ни заключалось, разделить на две части. Одна из них переходит Глафире Аристарховой. На вторую — меня похоронить. Хоронить без всяких религиозных обрядов, но чтобы было очень много цветов, чтобы при этом долго играла музыка и потом всем присутствующим предложить вкусную еду и много шампанского — сколько хотят. На оставшиеся деньги ежегодно в день моей смерти устраивать такие же празднества с цветами, музыкой и шампанским (для желающих гаваннские сигары).
>
> Арсений Аристархов.»

Отступя, внизу добавил:

> «Нормальным людям покажется, что я «не в здравом уме и не в твердой памяти». Прошу иметь в виду, что я всю жизнь больше всего боялся быть нормальным, таким, как другие.

Завещаю не удивляться, что в таком важном деле пишу о гаваннских сигарах Я считаю, что они много важнее того, что нормальные люди считают самым важным. Я совершенно здоров, мыслю ясно, память у меня твердая и никто никакого влияния на меня не оказывает.

А. Аристархов.»

* * *

«Завещание» он не показал Глаше. Когда назавтра поехали опять кататься, заехал в русское консульство. Нарочно сделал так, чтобы Глаша осталась сидеть в автомобиле. Передал консулу запечатанный пакет, оставил деньги на расходы и поручил хранить пакет до тех пор, пока установятся нормальные сношения с Петербургом. Тогда переслать его петербургскому нотариусу...

Уже хотел уходить, но вернулся, оставил консулу еще пять долларов и поручил перед отправкой распечатать пакет и снять с завещания фотографию на случай, если бы пакет пропал.

Когда сел в автомобиль, так задумался о только что сделанном, что не видел почти окружающего. Глаша что-то сказала, но он ничего не ответил, только кивнул головой.

«Как странно! Ведь еще недавно мне казалось совершенно безразличным, что будет после моей смерти. Ни о каком завещании и мысли не было... Мои интересы кончаются в тот момент, когда я умираю. Какое мне дело до того, кому что достанется и будет ли где-то играть оркестр... и будут ли пить шампанское и курить сигары на моей могиле?»...

«Мы все документы устроим в Сан-Франциско, Глаша», — сказал он. Она утвердительно кивнула головой, точно сама так думала.

IX — X.

НЬЮ-ИОРК — ЛОНДОН — ПАРИЖ.

. . . .

...Нью-Иорк.

«Город миллионов. Миллиардов... Скрежещущий железобетон. Холодный, несмотря на жару... Когда он раскален, от него тоже холодно душе...»

На окнах девятизначные цифры.

Маленьким-маленьким, ничтожным чувствовал теперь себя здесь Арсений.

«Здесь как будто легко создают миллионы на бирже. Из ста миллионеров девяносто девять сделали миллионы на бирже... Но как я могу сунуться со своими грошиками?!.. Если завтра Рокфеллер или Морган, или еще кто-то встанет с левой ноги и вздумает понижать — от моих грошей останется пыль... Что тогда?.. В Петербурге я был с теми, кто управлял биржей. Кто делал погоду... Я сидел в кабинетах биржевых королей и знал то, что знали они. Потерять могли другие, маленькие, но не мы. Там была игра наверняка. Это была не игра, а верное дело... А здесь меня раздавят, как букашку, тлю...»

И всетаки один раз знакомый русский банкир, оказавшийся тут, уговорил. Попробовал играть и еле ушел. Банкир продолжал и потерял свои деньги.

«Тут он был не банкир... Тут он тоже букашка».

* * *

Пробовал искать какой-нибудь работы.

«Что он умеет? Он умел в России наживать миллионы...»

Такой работы здесь нет.

Пошел в редакции больших газет. В двух ничего не вышло. В третьей предложили написать—«Как слу-

чилась русская революция?» И в четвертой — «Об интимной жизни царя».

Написал то и другое. Написал хорошо. Они сказали что хорошо... Заплатил десять долларов американскому журналисту за исправление ошибок в языке. Три доллара за переписку. Обе статьи напечатали. Но гонорара не уплатили!.. Даже удивились:

«Как?.. Гонорар!?.. Мы вам сделали такую рекламу — статья за вашей полной фамилией и с портретом... Такая реклама стоит тысячу долларов...»

В другой сказали, что стоит десять тысяч долларов...

Прожили несколько месяцев в Нью-Иорке.

Война кончилась.

Но революция в России не кончалась...

Уехали в Европу.

«В милую, старую Европу», — думал Арсений, когда статуя Свободы скрывалась в тумане...

. . . .

* *
*

. . . .

. . . .

...Лондон.

Почти два года.

Холодный, туманный. Неприветливый сразу. Но добротный, настоящий.. И люди холодные, но тоже добротные. Молчат, иронически смотрят на чужих.

«Англичане и не-англичане» — так делится человечество. Русские еще совсем особняком — полумонголы. «Люди ненадежные — лучше с ними не связываться...»

Деньги уходили.

Бросался на разные дела. Искал службы. Любой работы. Свои деньги затрачивать боялся...

Ничего не нашел...

. . . .

. . . .

. . . .

...Париж.

«Милый город! Лучший в мире... Здесь люди умеют жить. Здесь умеют улыбаться... Здесь еще остается греческий идеал жизни...»

«Но здесь крепко держутся за скопленное. Готовы довольствоваться малым, но верным. Здесь боятся новой инициативы и не идут на риск. Всякий новый человек — тоже риск... Здесь хорошо проживать, но не зарабатывать».

Деньги уходили.

«Где же моя теория, что настоящий деловой человек должен уметь приспособиться к любым условиям?.. Должен ориентироваться где угодно... Почему же я здесь не умею?! А может быть ориентировка и заключается в том, чтобы не оставаться там, где не надо? Надо выбрать не только, что делать, но и где делать. С кем делать...»

Деньги уходили.

«Если выбирать, то надо скорей. Когда ничего не останется, тогда поздно... Принимать крайние меры и решения нужно не в последний момент, а раньше... В Германии начинается инфляция. Там дешево... Если проживать, то там...»

. . . .

* *
*

. . . .

. . . .

...Берлин.

«Казармы и около них цветы. Казарменный окрик и нежная любовь к животным... Берлин побежденный. Здесь не считают себя больше единственной нацией в мире... Здесь лучше понимают чужих. Здесь ближе к России. Здесь приемы работы больше похожи на наши... Здесь легче делать деньги... И главное — здесь деньги не будут уходить так быстро...»

. . . .

———

XI.

ФИШКИН.

Позвонили по телефону. Женский голос.

«Здравствуйте, Арсений Павлович!.. Говорит Кащеева».

«Здравствуйте!.. очень приятно, но мне не совсем ясно, кто говорит».

«Не узнаете?.. Кащеева, Жозефина Николаевна».

«Жозефина Николаевна! Извините, я не помню...»

«Ах, какой вы!.. Ну помните Жижиль?».

«Жижиль!.. Ах да, понятно. Здравствуйте!.. Очень рад», — догадался Арсений и чуть не сказал громко — «Мопсик!» — «Значит, она вышла замуж за Кащеева?.. От него всего можно ожидать».

«Я здесь проездом, из Праги в Париж, и муж поручил мне позвонить вам... Мы живем теперь в Праге — вы вероятно слышали. Он будет очень рад как-нибудь с вами повидаться».

«Мы сегодня встретимся?»

Арсению было интересно ее видеть. «Как выглядит Мопсик в роли жены Кащеева?»

«Я через два часа уезжаю и мне еще нужно кое-что купить... Мы здесь скоро будем опять с мужем и тогда непременно встретимся... Я просто хотела узнать, как вы живете?...»

* * *

Арсений подумал:

«Это не спроста... Что-то ему от меня нужно? Иначе бы он не поручил ей звонить. Сама она, вероятно, не помнила даже моей фамилии... Встречались два-три раза и в таких компаниях, где фамилий не спрашивают...»

Он вспомнил, как Жижиль шморкала носом, как она задиралась со всеми, а потом плакала, всех обнимала и целовала.

«Нашел, на ком жениться!.. Впрочем, это у них в роду — непременно должно быть с вывертом и так, чтоб другие ахнули. Вот, мол, вы мещане, на такие поступки не способны, а мы смотрим на вас сверху, нам все равно... Но сейчас ему, видимо, уже не до того, чтобы смотреть сверху, иначе бы он не сказал звонить мне... Меньше всего ему хочется просить что-нибудь у меня... Теперь, впрочем, русские потеряли всякую мерку человеческих отношений. Углы и ребра прежних самолюбий и амбиций давно стерлись — получились какие-то безформенные предметы...»

Глаша рассмеялась, вспомнив Жижиль. Он ей рассказывал тогда, в Петербурге.

«Это та самая? Она и со мной подерется...»

* * *

После обеда пошли в кафэ.

«Чтобы развлечь Глашу — она такая грустная последнее время. Что-то болит у нее. Доктора не понимают».

Кругом танцовали.

Тут наверху было особенно жарко. Потно и нечем дышать. Люди стали влажными и склизкими.

Маленькая площадка была вплотную обставлена столиками. Полсотни людей семенили ногами и терлись друг о друга. Джацц-банд визжал, свистел, квакал и главное барабанил. То затихал еле слышной барабанной дробью, то пел, то вдруг неистово гремел смешением всех звуков сразу...

Эта возбуждающая, экзотическая музыка, может быть, была бы занятна на более далеком расстоянии, но тут она рвала нервы. У капельмейстера слух был притуплен шумом большого города.

Лакеи еле проталкивались с подносами и подавали клейкую жижицу, называвшуюся «айс-кафэ» или еще как-то. Дело было не в айс-кафэ, а в том, чтобы иметь право сидеть здесь.

Было месиво из пропотелых тел. Насморк расширял свои владенья. Особы женского пола бегали в уборную подновлять стекающую косметику. На платьях отпечатались знаки потных рук кавалеров.

* . *

...Высокий аптекарь — так казалось Арсению — захватил клешнями сдобную даму и просовывал ее среди других пар, раздвигая дон-кихотовскими локтями наседающих.

... Маленький торговец, чистенький, гладенький, красненький, как и все остальные потный, уцепился за высокую худую девицу и мелкой дрожью трясся около нее. Всячески напрягался и тужился, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть ей в декольте — но это ему не удавалось.

... Шоколадный негр зажал худенькую блондинку, распалился и совсем размяк и раскис. Глаза на выкате выкатились еще больше. Толстые чувственные губы скривились в гримасу и капелька пота с носа упала на платье блондинки.

... Пожилой мужчина с бриллиантом на мизинце умеренно расходовал силы. Он мало заботился о ногах, они еле двигались, но зато корпусом он плотно прижался к пышной груди своей дамы и чуть чуть колыхался.

... Одна парочка, самая приличная, была смешнее всех. Белобрысый немчик лет двадцати, с наголо обстриженными висками, с двумя светлыми пятнышками вместо усов в подражание Чарли Чаплину, в темных круглых черепаховых очках, держал свою даму, как тонкий фарфоровый сосуд с елеем, боясь сломать или расплескать. Были коротковаты брюки и рукава, но зато складки брючек отутюжены с полной тщательностью. Он аккуратно выделывал полагающиеся па, держась все время — в противоположность остальным — на почтительном расстоянии от колышащейся груди партнерши. Весь внимание, весь исполнительность, весь

напряжение... Когда оркестр останавливался, он не аплодировал, а пользовался свободным временем, вытягивая руки и ноги и расправляя мускулы для новой работы; повертывал голову, чтобы освежить шейные связки, поправлял галстук и вытягивал манжеты, слишком глубоко заехавшие даже в короткие рукава. По первому звуку оркестра он снова брался за работу...

* * *

«Цари природы веселятся», — сказал Арсений. — «Думающих людей один процент... Нет! Еще меньше. Думать — самое большое удовольствие, доступное человеку. Особенно творческая работа... Будто бы творят для пользы человечества: неправда, это делают для себя самих. Когда Рафаэль рисовал своих мадонн, он совсем не думал, будут ли они доставлять наслаждение следующим поколениям. Заказал папа и ему нужны были деньги...»

Он остановился и подумал:

«Что я изрекаю истины. Смешно. Как аптекарь из «Мадам Бовари»... А о чем же говорить сейчас с Глашей?.. О погоде, кто пополнел, кто похудел. Кто разошелся с женой... Что нового в газетах?.. Она сама читала газеты».

* * *

Глаша улыбалась и он не знал, улыбается ли она его словам или ей тоже смешна эта трущаяся компания. Она редко спорила, почти всегда слушала молча. Казалось, что она безразлично пропускает слова. Но слова у нее оставались. Сколько раз он сталкивался с этим: вдруг Глаша вспоминала когда-то сказанное им или повторяла другим его слова, а он думал, что она совсем не обратила тогда на них внимания.

«Кто-то мне говорил, как надо танцовать современные танцы», — перешел Арсений на другую тему. — «Надо держать даму как можно плотнее, ходить на всём каблуке и норовить при этом отдавить ей ноги.

Это ее быстро приучит во время их убирать, а тогда ставь свои как хочешь... При этом надо немножко качаться в такт музыке — вот и все!»

Глаша улыбнулась.

«Мы в гимназии танцовали мазурку в актовом зале. Подумай, сколько места надо было бы, чтоб эти все могли ее танцовать!..»

«Что говорить, теперешний танец содержателю кафэ много выгодней... Отодвинься лучше, Глаша, кругом чихают, сплошной насморк. Человек на человеке сидит...»

«Как они смешно красятся. Посмотри на эту! Как клоуны в цирке... Когда я жила в Швейцарии, нам не приходило в голову даже губы красить».

«Это воспитанники парикмахеров и косметических объявлений. Адепты пошлости... Может быть, они еще не успеют уничтожить культуру за наше время...»

* * *

На лестнице, у выхода, неожиданно столкнулись с Фишкиным. Он тоже сидел в кафэ и видел их, но не подошел. Один раз он уже был у них. Понятно, из-за Глаши.

«Но как он рискнул?» — думал тогда Арсений. «Человек нового мира к человеку старого мира. У них это не разрешается... Может быть, он занимает такой большой пост, что не боится?»

Фишкин тогда же, в первое посещение рассказал свою биографию. Сам начал — понятно, его не спрашивали.

Глаша познакомилась с ним в Швейцарии. Жили в одной деревушке. Партиец, убежденный, всегда на левом крыле. Глаша долго не знала его фамилии. В партийных кругах его звали «Влас». Потом узнала, что у него странная фамилия — Фишкин.

«Удивляетесь, должно быть, моей фамилии?» — спросил он тогда Арсения в первых же фразах. — «Занятная... Фишкин я потому, что мой отец сын дво-

ровой девки Фишки. Полное имя Филанида—никогда не слыхали?» — он засмеялся. — «Мой отец был каторжанин. Вы думаете политический? Нет, уголовный!.. Был сослан в каторгу за убийство с целью грабежа. Моя бабушка Фишка жила дворовой девкой у богатых тамбовских помещиков Гордыниных. Их сынок ее изнасиловал, она забеременела, ее прогнали со двора. Родила мальчишку, моего отца, а сама утопилась... Урядник записал в документах — Иван Фишкин, сын девки Фишки. А вы, может быть, думали, что моя фамилия от фишки, которыми в карты играют? и что мои предки дворяне были картежниками?! Ха-ха-ха... Отец остался в той же деревне. Пас скотину, а потом стал лесником у помещика. Пошел как-то с ним на охоту и застрелил его там. Ограбил и убежал. А я родился, когда отец был уже на поселении, матери я никогда не видал. А мне моя фамилия очень нравится, ни у кого такой нет. Ха-ха-ха... Не будь ее, пожалуй, присутствие голубой гордынинской крови потушило бы здравое мышление».

* *
*

«Поедемте к нам», — предложил Арсений.

Фишкин отказывался:

«Занят, масса дел... Некогда».

«Поедемте, Влас», — вмешалась Глаша. — «Не все же дела, дайте отдохнуть мозгам».

Она ласково улыбнулась и посмотрела на Фишкина в упор долгим глубоким взглядом, который когда-то так очаровал Арсения.

Пошли дальше, но Фишкин остановился у первого же такси.

«Поедемте... Не надо, чтобы нас вместе видели. Классовые враги... Не для меня нехорошо — для вас».

Фишкин, как всегда, каламбурил. Смеялся совсем детским искренним смехом. Сыпал советские анекдоты. Может быть сам их выдумывал. Глаша о нем рассказы-

вала: он всегде был такой, пока не переходило на партийность или политику. Тогда он сразу становился резким и беспощадным в выражениях.

* * *

Дома Арсений достал бутылку вина. Фишкин отказался.

«Если обязательно, давайте коньяку».

Нашли коньяк. Разговор зашел о меньшевиках.

Арсений говорил:

«Странна ваша звериная вражда с меньшевиками. В конце концов социалисты и вы, и они. Конечная цель одна, а между тем такая непримиримая злоба... Я вижу только конечную цель социализма. Разница только в методах — можно бы, кажется, сговориться...»

Фишкин закипел.

«Все в методах! Если действовать ихними методами, буржуазия будет еще сотни лет держать пролетариат в рабстве... Все в методах!.. Лучше монархист самый густопсовый, чем эти недоноски. Все лучше, чем мягкотелость и продажное соглашательство. Нужна активность, а не слюнявая толстовщина... Они ждут, пока капиталисты добровольно преподнесут им на серебрянном блюде свои капиталы и привиллегии. Долго ждать!.. Против силы и хитрости можно действовать только двойной силой и хитростью».

«Хитрость у вас есть, но где же эта двойная сила?»

«Сила не в количестве, а в качестве. Боевой пролетариат горит энтузиазмом. Перед ним не устоит никакая сила. Революции делаются не массами, а организованными кучками. Маленькая ячейка на фабрике важнее тысячных уличных толп... Все в организованности. Твердая решимость и воля к действию — все в этом».

«И при этом реки крови и уничтожение наиболее культурных?»

«А вы хотите в белых перчатках?!»

«Вы часто расстреливали людей совсем несправедливо».

«Справедливость—понятие меньшевистское, ха-ха-ха!.. Вы Маркса хорошо знаете?»

«У вас все Маркс, царь и бог».

«Царей и богов у нас нет, но дело в логическом мышлении. Всякий честный и образованный человек думает по Марксу, хочет ли он или не хочет. Иначе думать нельзя... Маркс — это рациональная логическая мысль. Логика есть только одна».

* * *

«Пускай бы в конце концов и революция, но я не люблю, чтобы меня расстреливали», — пошутил Арсений.

«Что говорить — неприятно! Ехать на шее другого много симпатичнее...»

«Я ни на чьей шее не ехал. Я не царский и не дворянский сынок и не сын миллионера... Что я? Вот вспоминаю нашего приказчика, Говоруна. Когда в 1919 году большевики пришли в мой родовой так сказать город, первым долгом были расстреляны как заложники трое: директор моей гимназии, соборный протоиерей и Говорун. Я понимаю, что с вашей точки зрения могли быть врагами народа директор и протоиерей, но почему Говорун?.. Я помню его с раннего детства. Он мальчишкой еще служил у дедушки. Спал в углу под лестницей, даже кровати у него никогда не было. Вставал в пять часов, чистил сапоги приказчикам, а потом целый день мыкался на побегушках. А когда нужно — будили и ночью. Ходил в чужих обносках... Потом служил у моего отца... Тоже вставал в пять часов, а в восемь уже шел с ключами открывать лавку. Только ему ключи доверялись. Лавка была без отопления, двери настежь и зимой. Мороз как на улице. Таскал целый день железо, катал бочки с ворванью, носил пятипудовые мешки с суперфосфатом... Я помню, какие у него были руки — красные, сплошной мозоль. Лет пятьдесят он работал так и к концу жизни, откладывая по рублю, собрал тысячи полторы и купил себе

полуразрушенный домик в Гайке. Так у нас называлось предместье, которое каждый год заливало весенним половодьем и потом всю зиму была сырость. Сам наполовину построил, по ночам работал... Потом пришли большевики и его расстреляли, как заложника. Разве он на ком нибудь ехал?»

«С ключами ходил!.. Хозяйский глаз. Верная собака капитала... Таких раньше хозяев надо в расход выводить», — сердито ответил Фишкин.

* * *

«Для чего это?» — нарочно перевел он разговор. Взял со стола машинку для прокалывания сигар и повертел ее в руках.

«Для прокалывания сигар».

«Дырокол, рыдокол... Рыдокол для богатых, величайшее достижение техники...»

Уже в прошлую встречу Арсений заметил его манеру перевирать слова. Он говорил «ломодая мошадь» вместо «молодая лошадь» или «детупация» вместо «депутация», «при с толовиной»...

«Там у вас все отняли, тут опять обрастаете?»

«Это еще оттуда — случайно попало в чемодан».

«Ничего... это у вас не отберут, никому не нужно».

И опять перевел разговор: обратился к Глаше:

«А вы, надо полагать, товарищ Глаша, совсем разложились под супружеским влиянием».

«Не под его влиянием», — ответила она. — «Когда он говорит с вами, он отъявленный буржуй, а когда с другими — оказывается левее всех... Это он хитрит, чтобы вы стали спорить и высказались. Арсений уверяет, что ничем так нельзя вызвать на откровенность, как спором. Если все соглашаться, так собеседник ничего и не скажет».

Фишкин точно вдруг вспомнил. Стал шарить по карманам. Вынул красивый портсигар крокодиловой кожи.

«Позвольте подарить... пожалуйста!» — Подал его Арсению.

«Зачем мне?» — удивился тот.

«Крокодил! Крокодил, по Невскому ходил, по турецки говорил, тот самый... Непременно возьмите — в буржуазном обиходе годится, а мне бесполезно. Это один братишка подарил от большого ума — как раз пара к вашему рыдоколу, коркодил... ха-ха-ха!.. Возьмите, иначе обижусь. Со стороны благородного дедушки у меня восточная кровь».

Арсений взял, хотя чувствовал себя неловко:

«Надо будет чем-нибудь отплатить...»

* * *

Фишкину меньше всего хотелось говорить о социальных вопросах. Особенно о большевизме. Не то он знал, что будет тут резок, и стеснялся этой своей резкости, не то вопросы были слишком высоки, чтобы так трактовать их между прочим, с неподходящими людьми. Арсений это понимал, но опять направил разговор туда же. Это была своего рода система у него: какой-то философ советовал говорить всегда о том, что себе интересно, а не о том, о чем хочет собеседник.

«Я готов согласиться, что ваше правительство состоит из рационально мыслящих людей, что они лучшие знатоки марксизма... Но как все специалисты, они узкие люди. Они не продумали самого главного — психики человека. Коммунистическая программа безотрадна... Там, потом, кому то будет, может быть, и веселее, но каково теперешним!.. Мне, например, осталось жить — ну, сколько? Двадцать лет, тридцать... На это время остается вонючая казарма и тюремный супчик из общего котла. И одна ложка на троих... Не согласен! Мне нужен мой маленький уют, мое одиночество, если хотите... Я позволяю себе хотеть утром чашку кофе за своим столом, на привычном стуле, хотя бы он был и не рационален с точки зрения массового производства... Мне именно на нем удобно и я не хочу

отвыкать от него... Мне нужно м о е жилье... И страшно сказать! Я хочу даже, чтобы в моей ванне не купались другие!.. Так, как живут теперь у вас, я не стану жить, какое бы и кому бы это ни сулило счастье. И вам не советую — второй жизни и у вас не будет».

Фишкин вертел папиросу. Кисло улыбался. Хотел возразить, но Арсений продолжал:

«Я хочу мой уклад, мой порядок... или даже беспорядок, а не кусочек коммунальной казармы с правилами поведения на стене. Я не муравей и не пчела...»

* * *

Фишкин посмотрел на Глашу и махнул рукой.

«С такими, как вы, революция не спорит — она просто сметает их на своем пути. Энтузиазм, которым революция заражает людей, дает больше удовлетворения, чем все ваши отдельные ванны и виллы. Такие люди, как вы, с их вкусами и священными привычками, умеющие еще к тому же морочить слушателя, и мешают больше всего перерождению человечества...»

«Значит, если бы я оставался в России, вы меня расстреляли бы?»

«Были бы выведены в расход по первому классу», — не колеблясь, ответил Фишкин.

Он, видимо, почувствовал резкость сказанного и продолжал уже более мягко:

«У вас большой умственный багаж, должен же быть у вас и протест против существующего порядка вещей?.. Разве вам ничего не говорит за себя рациональность мышления в целом государстве, впервые появившаяся на земном шаре? Большевизм — протест против существующих абсурдов. Он сметает на своем пути обманы и ложные истины, в которых кучка эксплоататоров держала человечество до сих пор... Нашему поколению приходится жертвовать собой... Но жертва искупается духовным подъемом. Это экстаз разума... Мы не замечаем ваших ванн и уборных. Прежде всего нужно перестроить человеческое мышление».

«И вы уверены, что правилен именно ваш путь?.. Никаких ошибок? До сих пор безгрешен был только римский папа...»

«Ошибки есть. Но это пустяки в сравнении с главным и общим. На апельсине есть бугорки и шероховатости, но тем не менее он круглый. Издали их не видно. Надо выше подняться и тогда он кажется совсем круглым и гладким».

Арсений вдруг рассердился:

«Да, верно! С известной высоты ваш апельсин совсем круглый — очень удачная аллегория... Но можно подняться еще выше и оттуда совсем не видно вашего апельсина...»

«А что видно оттуда?» — иронически перебил Фишкин.

«Оттуда видна трагедия жизни, ее смысл, или вернее, отсутствие смысла... Оттуда видно, что трагедию по возможности нужно сделать комедией... Вы согласны быть навозом революции, но я навозом быть не желаю даже и для самого прекрасного урожая. И урожай ваш под большим сомнением...»

* * *

Фишкин встал, точно собирался уходить. Но не ушел, а стал ходить по комнате взад и вперед.

На столе лежала записочка с пражским адресом Кащеева. То, что Арсений записал по телефону. Проходя мимо стола, Фишкин взглянул на бумажку, потом идя обратно, посмотрел еще раз, как будто колебался, потом круто по-военному повернул к столу, подошел вплотную, и, не скрываясь, посмотрел на нее:

«А вы все по прежнему в дружбе с Кащеевым?»

«Дружбы никогда не было, но я ведь писал иногда в их газетах».

«Это известно... Очевидно это Кащеев-сын, потому что отец ведь там!», — и Фишкин показал пальцем на потолок.

«Расстрелян или умер естественной смертью?»

«Естественно выведен в расход. Его поставили на паперти, предложили помолиться и расстреляли... Надеюсь, и вы понимаете, что революция должна была убрать такого человека?»

«Как сказать?.. По моему вы скорее должны были поставить ему памятник: он в числе других способствовал подготовке революции...»

«Кащеев не ошибка, но были и ошибки и это неизбежно... Вы знаете, что первые месяцы после октября наша власть была довольно мягкой. Террор начался позже, когда увидели, что с милыми разговорами далеко не уедешь. Надо расстреливать или... или нас расстреляют! Нас тоже не щадили».

«А мне кажется, что вы не церемонились и с самого начала, только боялись. Еще сами не верили в собственную власть. Она вам далась случайно».

«Случайно, вы находите?»

«Да, нахожу... даже уверен. Если бы не война, революции в России не было бы еще пятьдесят лет... А может быть, и совсем не было бы».

«Вы разве не знаете, что революция есть неизбежное завершение и конец капиталистического строя?»

«Это вы знаете, потому что вас уверил в этом Маркс. Но представьте себе, что можно и с Марксом не соглашаться. Может быть, человечество будет меняться эволюционно, а не революционно?..»

* * *

Фишкин опять встал. Даже на часы посмотрел.

«Больше не придет», — подумал Арсений.

Но он не уходил.

Подошел к Глаше, остановился перед ней, сделал рукой в воздухе округлый жест и вдруг процитировал:

«Ты мое утро с цветами душистыми... Как это дальше?»

«Я тоже не помню», — ответила Глаша. — «Вы все такой же, Влас...»

«Я такой же, а вот вы изменились».

«А помните другое?» — вставил Арсений. — «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой... Я кланяюсь таким безумцам, но золотой ли сон? Кроме сна, я хочу яви, «сегодня»... Ложные тонкости и презренные мелочи сегодняшней жизни вы отметаете. А я по ним узнаю человека. В мелочах, как в зеркале, отражается его духовный мир. В этих мелочах цель прогресса... Все важно: важны вот эти цветы на столе, вот та гравюра с маркизами, важно как затворить за собой дверь и как сказать фразу... Важен даже тонкий запах хорошо выстиранного белья, духи, аромат сигары. Важен уют... Если все это отнять — не к чему жить... Культурный человек не может жить в казарме ни сегодня, ни завтра. Не захочет, уйдет из нее или развалит казарму. Святые идиоты, морившие свою плоть ради будущей жизни, тоже кипели, тоже были полны энтузиазма и жили в экстазе, но я им подражать не намерен...»

* * *

Арсений отхлебнул глоток кофе и закурил сигару. Облачко дыма свернулось колечком и поплыло вверх, медленно кружась и расплываясь. Прошло через струйку света и потухло.

«Видите колечко? Ничтожно! Стыдно об этом говорить? А для него есть тоже место в жизни... Иногда такое колечко оставит больше следа на всю жизнь, чем целый день умнейших социальных дебатов...»

Фишкин закурил новую папиросу, смешно сложил губы и тоже попробовал пустить колечко.

«У меня не выходит!» — засмеялся он. — «Будем говорить, как в великосветских салонах. Допустим, что в них такой же смысл, как в будущем человечества... Но что же дальше?»

«А если смысла вообще нет ни в чем, а вы себя уже сожгли? Это хорошо в кино-студиях, где каждую сценку можно снимать шесть-семь раз: неудачно, так

еще и еще раз снимут... а жить ведь надо прямо начисто».

«Тогда налейте еще рюмку алкоголю и мне надо уходить», — сказал Фишкин.

* * *

После его ухода Арсений долго не мог заснуть. Он спорил не только с Фишкиным — спорил с собой.

«Я, мой уют, мое маленькое счастье! Эгоизм! Всю культуру создали каких-нибудь десять тысяч и они не так смотрели на жизнь. Таким, как я, памятников не поставят. Аристократичность разума может быть именно в том, чтобы подняться выше мелких, текущих, обыденных удобств и маленьких радостей и обо всем об этом забыть ради большой, высокой цели?..»

Уже не раз так думал и не мог выйти из этого противоречия. Там, в Петербурге, до революции, этих противоречий не было. Тогда казалось, что можно создавать что-то великое и сидя у себя в роскошном кабинете. Что этой роскошью он пользуется по праву. А если и без права, то тоже все равно, раз он сумел так свою жизнь устроить...

Но революция все изменила. Тогда, в первые же дни, явилось сомнение:

«А вправе ли я был так жить, как я жил?»

Красной нитью эти сомнения протянулись через все эти годы. Споря сегодня с Фишкиным, спорил сам с собой.

И заснул, не решивши.

* * *

Утром, за кофе, спросил Глашу:

«Глаша, ты никогда не была особенно веселой, но почему ты стала грустнее в последнее время? Вчера ты весь вечер молчала. Тебе ведь было приятно видеть Фишкина?»

«Не знаю почему... Сегодня ночью, когда ты уже заснул, я открыла окно и долго смотрела на звездное небо. Млечный путь шел дорогой по всему небу... Мне захотелось туда. Все здешнее показалось маленьким, маленьким... Даже перестройка мира, которой занимается Влас, показалась мне маленькой и ненужной. Мне не страшно умирать...»

Арсений удивился. Она никогда так не говорила.

«Умирать!.. Что ты, Глаша!.. Брось».

Нежно поцеловал ее.

«Млечный путь прекрасен, но млечных путей и на земле много. Надо научиться по ним ходить. Возвышенного и поэтического и у нас тут довольно. Мы посажены на скорлупку крохотной планетки. Глубины для нас доступные—несколько верст вверх и вниз... Зачем нам мечтать о занебесных высях, когда мы и в этих верстах разобраться не можем... Мы отсюда никуда не выскочим. Строй лучше маленький домик... Домик радостной земной философии. Он волшебный, Глаша: его нельзя получить по наследству и другие его для тебя не построют...»

«Тогда страшно умирать, если все только тут», — прервала Глаша.

«Почему умирать? Что ты, родная!.. Вот после завтра переедем и там в саду у тебя все сразу пройдет. Перемена обстановки часто делает чудеса... Мы там будем ближе к природе. Не будет этого проклятого трамвайного скрежета... Твоя болезнь, Глаша, только нервная — все пройдет».

Он опять подошел к ней, обнял ее. Она крепко прижалась...

XII.

ТАЙНА ЖИЗНИ.

Арсений быстро сунул кондуктору деньги. Чтобы ему дали билет раньше, чем стоявшему рядом. И вдруг порывисто отдернул руку обратно:

«Ведь это не мне назначено?!. не надо вмешиваться. Пусть будет что суждено...»

Кондуктор автобуса сердито на него посмотрел — он уже протянул руку за деньгами.

«А может быть и не сердито, только удивленно — все такие нервные теперь... Вот теперь моя очередь».

Он снова подал кондуктору деньги. Быстро посмотрел на билет.

«51131... 31 на конце. Тринадцать наоборот: 31 — 13... И опять в середине одиннадцать! Это уже пятый день неотступно, с того дня как она переехала в клинику... Одиннадцать не на конце и не в начале, а в середине — это еще хуже, значит не может уйти ни влево, ни вправо. В середине — останется... Все время одиннадцать вот уже пятый день! Операция была одиннадцатого. В одиннадцать часов... Положим не совсем в одиннадцать: началась в 11.33, это уже ближе к двенадцати... но зато 33 — три раза одиннадцать... Сейчас только это заметил».

... «Когда десятого мы вышли из дому, чтобы ехать в клинику, было ровно одиннадцать часов. Ноябрь — одиннадцатый месяц!.. В соседней кирхе заунывно звонили траурным звоном, как по покойнику... Да нет же — у них всегда такой звон. Это потому, что у них качается не язык колокола, а самый колокол, а язык прикреплен твердо. Неприятный звон, зловещий, с того света... Но ведь и на свадьбах они звонят так же?.. Это только мне так казалось, что неприятный, совершенно такой же звон, как и в церквах и костелах... Пустяки все. Натянутые нервы. Теперь в особенности — уже столько бессонных ночей...»

* * *

Он быстро поднялся с места, кого-то толкнул, кому-то наступил на ногу и выскочил из автобуса. Бросил билет на покрытую тающим грязным снегом мостовую. Предварительно порвал его на маленькие клочки, скомкал.

... «Я не должен был задерживать деньги, мой билет был предыдущий, а не этот... Это искусственно сделано мною самим. Тогда было бы 51130. Да нет же, ничего бы не изменилось — все равно одиннадцать в середине!.. И это вовсе не имеет значения, задержал я или нет: ведь именно то и важно, что, когда что-либо суждено, то как ни хитри, оно все равно придет. Именно так и было суждено, чтоб я отдернул руку... Я брежу?.. что со мной?!.. Да, да, абсурдно, но все-таки в следующий раз я заплачу именно тогда, когда кондуктор сам обратится ко мне, не задерживая искусственно и не стараясь заплатить раньше — тогда будет мой номер...»

Вскочил в следующий автобус.

«У кого нет билета?»

Две руки протянулись одновременно: Арсения и дамы с соседней скамейки.

«Почему я думаю о ней — «дама»? Женщина, а не дама... Ведь не подумал же я о том мужчине — «господин», а подумал — «мужчина»? Что это за глупое слово — дама... Дама — это замужняя, а, может быть, она девушка?.. Да, но если девушка, то нельзя сказать женщина... О чем я думаю, я совсем ненормален?..»

Кондуктор взял раньше деньги у него, хотя, казалось бы, ему было ближе взять раньше у женщины. Так по крайней мере Арсений подумал. Нервно схватил билет. Сердце стучало.

«07211... Какой кошмар!..»

* * *

Он быстро взбежал по лестнице клиники.

«Вот ее дверь. Двойная, тяжелая, белая, гладкая, крытая лаком, с ярко начищенной медной ручкой, как на пароходах... Опять этот запах эфира, еще сильнее.

Была очевидно операция в соседней комнате?.. Вообще в этом коридоре... Боже мой! ее комната — 44! — четыре раза одиннадцать».

... «Она стонет, как и утром. Так страшно стонет... Правая рука не двигается».

... «Глаша! родная...»

... «Левой она все время трет глаз. Снимает с него что-то, — паутинку или соринку. Что-то воображаемое — там ничего нет. Ничего... Только ее милый родной глазик с голубоватым белком. На белке появилась кровяная жилка».

«Глаша, родная... деточка моя, ты узнаешь меня?»

«Как будто кивнула головой в ответ, но глаза устремлены в одну точку, не изменили выражения... И вот еще красная жилка!..»

«Глаша, голубка моя, только Бог может помочь тебе... Молись ему, моя детка... Как хочешь, как умеешь, молись... Он только один все может... Ты понимаешь меня?.. Ты узнаешь меня?.. Смотрит в одну точку...»

Его слеза капнула ей на лицо. Сестра встала вытереть. Укоризненно на него посмотрела — «разве так можно? это беспокоит больную».

«Все равно. Сестра не понимает, что я говорю Глаше. А если бы и понимала, не все ли равно...»

* * *

«А как температура» — спросил он сестру.

«39,3».

«Опять, должно быть, неверно: сестра сказала вчера 39,6, а было в действительности 39,8...»

Стал сам измерять температуру. Держа осторожно градусник за верхушку, смотрел не дыша, с тревогой, как поднимается ртутный столбик.

«Три минуты... пять... уже выше 38. Восемь минут... Еще медленно сосчитать до 120, будет ровно десять минут. Может быть, лучше продержать пятнадцать минут, а не десять?.. Может быть термометр не совсем

исправен?.. Может быть, возможно принять еще какие нибудь меры, а они не принимают?.. Вчера я хотел поцеловать руку профессора — умолял его сделать все, что в человеческих силах...»

Это Арсений подумал, а сказал тогда профессору:

«Я отдам все, что имею, только помогите».

«Все сделано, что знает наука», — ответил профессор.

«Тайный советник, лейб-хирург... Его курс гинекологической хирургии выдержал восемнадцать изданий. Все зовут его в клинике «тайный советник», Geheimrat, Herr Geheimrat... «Berühmter Professor, berühmtester — знаменитейший» — сказала о нем старшая сестра...»

* * *

... «Профессор входит в комнату торжественно, величественно, уверенно. У него нет сомнений, не может быть сомнений. Большой, коренастый, сильный — идет твердой походкой, не так быстро, но так же уверенно, как в церемониальном марше. У него большая голова, высокий лоб и маленькие руки... Совсем маленькие, точно женские. Идеально для гинеколога-хирурга: самой природой назначен быть знаменитым гинекологом...»

... «С ним входит целая свита: два ассистента, «фрау докторин», старшая сестра клиники, старшая сестра этажа, две дежурных сестры... Они бросаются вперед, окружают больную, предупредительно и умело раскрывают рану, чтобы ему не ждать ни секунды. Он уверенно смотрит, щупает, нажимает. Говорит резко, приказательно:

«Не бояться!.. руки прочь. Я не причиню боли... я знаю...»

... «Он знает! Кто же и знает, если не он?! Знает каждое волоконце мускула, каждый лимфатический сосудик, каждый нервик женского тела... Знает каждый

кровяной шарик. Сделал сорок семь тысяч операций... Сорок семь тысяч!»

Глядя на него, Арсений как будто успокаивался:

«Он не мог ошибиться... Все в порядке».

* * *

Наклонился к ее лицу, поцеловал запекшиеся сухие губы, обкусанные до крови.

«Милая, родная Глаша... Что они сделали с тобой?.. Он все знает, тайный советник, но знает ли он тайну жизни?..»

...«Пятнадцать минут прошло... 39,2... На десятую меньше, чем записала сестра. Пульс 120, может быть 122... Я считал три раза, но все выходит разное...»

«Профессор находит, что сегодня пульс полнее, чем вчера», — сказала сестра.

... «Полнее? Но почему у нее тускнеют глаза?.. Почему кровяные жилки?.. Первые сорок восемь часов была мука сомнений — не заражение ли крови, не перитонит ли? Эта опасность миновала... Глаше лучше... Он говорит, что лучше. Но почему потускнели глаза? Почему потускнело сознание?.. Почему она не узнает меня?»

«Глаша, моя родненькая... Голубка моя, что с тобой? Ты узнаешь меня?..»

... «Знает ли он тайну жизни?.. 39,2, а сестра записала 39,3. Опять ошиблась? Нет, не ошиблась — это температура прыгает, организм борется изо всех сил... 39,2... 39,2... девять и два — одиннадцать! Одиннадцать — почему все время одиннадцать?.. Я родился одиннадцатого. Какое это имеет отношение к Глаше?.. И ведь одиннадцать по старому стилю, а теперь новый стиль. О чем я думаю? Что я хочу доказать себе, причем тут старый стиль или новый стиль?!... я перестал мыслить нормально...»

Арсений вынул носовой платок — на пол упала бумажка.

«Что это? А, пятьсот марок. Сколько я денег растерял вероятно за последние дни... Номер 083711!»

Перед глазами поплыли огненные круги. Он покачнулся, схватился рукой за спинку кресла и опустился на стоявший рядом стул. Вдруг опомнился.

«Что я делаю?! Это дорога в сумасшедший дом. Почему я стал бояться одиннадцати? Бабьи приметы — надо взять себя в руки».

* * *

Он просидел еще полчаса у постели и вышел на воздух, на канал.

«Немыслимо выносить ее стоны все время. Такие страшные стоны! И запах эфира...»

Всюду чудился эфир. Казалось, что от канала пахнет эфиром, что запах эфира издает проехавший мимо автомобиль. Помимо воли взглянул на номер автомобиля.

«4711... что это!? Бог... Боже! Ты высшее, великое, божественное, что правит миром, сжалься надо мной, спаси мне Глашу, я не могу жить без нее... Бог всемогущий, ведь есть же ты?.. Там в беспредельном пространстве, везде, есть ты? Услышь меня... Я буду жить, как ты хочешь... Я все сделаю — что ты хочешь — услышь меня!..»

* * *

Арсений шел вдоль канала. Остановился, стал смотреть в воду.

...«По моему сегодня ей хуже, чем вчера... Профессор ничего не находит ненормального, но я знаю... я вижу... я вижу, как тускнеют, как умирают ее глаза. Умирают... умирают дивные глазки Глаши... Не может быть, это немыслимо... Невероятно».

«Глаша...»

Он выкликнул ее имя громко, так что проходивший мимо недоумевающе посмотрел на него.

Сегодня шестой день. Температура ниже — 38,3. Пульс полнее.

«Моей Глаше лучше... Какое сегодня голубое небо. Никогда не видал здесь такого зимой... О, Бог всемогущий, не отними ее, не отними...»

Легкий пароходик мягко проплыл по каналу. Как большая птица... Крякают утки. В канале под клиникой на зиму поселились дикие утки.

... «Вчера вечером они долго ссорились — вероятно, семейная сцена. У уток тоже есть семья. У каждого есть семья... У каждого есть близкие. У меня только Глаша, никого больше в целом мире. Бог — ведь ты есть? Ведь ты справедливый, ты милостивый — не отними у меня Глаши... Но почему потускнели ее глаза, почему стали стеклянные?.. Неужели она умрет?!.. Нет, это невозможно, немыслимо, абсурдно... Чудовищно!..»

Остановил проезжавший мимо такси. Сел.

«Куда ехать?»

«На вокзал».

«На какой вокзал?»

«Все равно на какой... Нет так нельзя, подумает, что я сумасшедший, совсем не поедет».

«Не надо на вокзал, поезжайте в Зоологический сад».

Не заметил как доехали. Взял билет. Быстро прошел через сад. Остановился у клетки с какими-то птицами.

... «Вот цапля — мы тут стояли с Глашей и она кормила цаплю яблоком... так недавно».

* * *

Он вышел из сада через другой вход, спустился в подземную дорогу и поехал в обратном направлении. Вылез, где вылезало много народа. Пошел, куда шли все. Вошел в какое то кафэ, когда люди разошлись каждый в свою сторону. В кафэ играла музыка.

«Нет, не могу слышать музыки...»

Опять выскочил на улицу и бегом направился к клинике.

«Версты полторы отсюда. Или больше? Не все ли равно?...»

... «Глаша стонет попрежнему... слышно уже на лестнице».

У него зашевелились на голове волосы. Не постучавши, вошел в комнату 44. Подошел к постели.

«Родная моя, что я могу сделать?.. Как я могу помочь тебе?»

... «Все что-то снимает с глаза. Обирается — умрет».

Вдруг прорезало мозг. В детстве он не раз слышал о том, как обираются люди перед смертью. Сам видел это, когда умирал дедушка.

«Бог, помоги... помоги. Бог!.. Сейчас Глаша проглотила кусочек мандарина и шкурку сама вынула изо рта... Значит, она в сознании?.. Или это только автоматическое движение без вмешательства сознания?..»

* * *

... «Еще страшная ночь... Еще одна. Два шприца морфия и все-таки она спала не больше часу... Десятый день этой муки. Какой ужасный стон!.. За десять суток Глаша спала не больше шести часов. Вот у меня записано все... Вчера после вспрыскивания пантапона и вливания какого-то гидрата она заснула...»

В это время он сидел неслышно, в углу, с часами в руках. Часы тикали слишком громко — ему казалось, что они могут разбудить ее. Он обвернул их ватой и полотенцем.

«Уже десять минут она спит... Вот еще одна минута, две... пятнадцать минут... Может быть, это кризис? Может быть, она крепко заснула и проснется с новыми силами жизни...»

На семнадцатой минуте Глаша опять застонала, проснулась.

«Глаша! Родная!.. Ничего не понимает, не слышит... Ей хуже. Опять эти ужасные стеклянные глаза и еще

больше красных жилок... Завтра одиннадцатый день после операции и завтра двадцать второе ноября... Дважды одиннадцать—двадцать два... Ноябрь—одиннадцатый месяц... Бог! Чем я могу купить у тебя жизнь Глаши?..»

* * *

Глаша умерла.

«Умерла сегодня, двадцать второго ноября».

Арсений стоял на набережной канала и смотрел в воду. Плыли какие-то предметы, — он не мог их рассмотреть на таком расстоянии.

«Если она выглянет сейчас из воды и позовет меня — я брошусь к ней. Никто не видит. Никого нет».

Осмотрелся кругом.

«Никого нет... Иначе получилась бы жалкая комедия... Но если я не мог рассмотреть тех предметов, что там поплыли, то я не узнаю и ее лицо на таком расстоянии?.. Какой абсурд! ведь это сверхестественно, тогда и зрение будет сверхестественным...»

Долго еще стоял и смотрел в воду. Вдали закрякали утки. Перешел через мост. На него наскочил автомобиль, задел крылом, остановился. Шоффер долго бранился, кричал и грозил кулаком.

«Мне все равно... Душа Глаши со мной... Я знаю. Я ничего не сделаю без тебя, родная: только то, что ты мне скажешь. У меня нет больше своей воли... Если нельзя сейчас, днем — ночью ты придешь ко мне непременно?.. До вечера, моя родная девочка...»

* * *

Глашу похоронили.

«Глашу зарыли в землю... Неужели это не сон? Неужели не проснуться от этого ужаса?!..»

Сегодня к утру он наконец крепко заснул. Когда открыл глаза, в окне было багряное зловещее зарево.

Ему казалось, что никогда не видал раньше такого восхода солнца. Казалось, что всходило злое солнце...

Протянул руку, чтобы взять с ночного столика чашку с водой. Чашка тихонько лязгнула о медную ножку кровати. Сразу все вспомнилось.

«Железные звуки операционной... Никкелевый лязг... Сгибали какие-то рычаги на операционном столе. Ножи и щипцы ударялись один о другой. Чудовище лязгало железными зубами... Это была уже сама смерть...»

Он стоял тогда у дверей операционной, смотрел на часы — так и не клал их в карман — и прислушивался. Ничего не было слышно, кроме этого лязга.

«Но так надо... Так надо...»—твердил он про себя в холодном поту. — «Профессор ведь знает... Профессор знает!.. Ничего он не знал...»

* * *

.,. «А выражение лица Глаши в гробу? Совсем чужое лицо: не ее нос, не ее лоб... Совсем не так лежат волосы, как лежали у живой Глаши...»

Он провел пальцами по застывшему лбу («какой холодный и твердый...») и ощутил под кожей рубец. Он сразу понял:

«Они вскрыли череп и вынули ее мозг... С их точки зрения это интересный научный факт, редкий медицинский случай. Может быть, они по своему правы?.. Может быть? Но как они смели не спросить меня!... Ведь это же моя Глаша, только я могу говорить теперь за нее. Ведь это ее мозг, ее мозг... Как они смели?! Для них это только редкий случай кровоизлияния, тромбоз, эмболия или еще что-то с латинским названием, а для меня это целый разрушенный мир, это Глаша... Гла-ша! Поймите вы, холодные бессердечные люди... Положили в банку со спиртом и привязали ярлычек с номером. Вероятно, тоже с цифрой одиннадцать?..»

... «Все враждебно — люди, природа, весь мир... Еще бы — ведь все подчинено тебе, Бог! Чего ты из-

деваешься над нами? Зачем ты создаешь нас и потом так безжалостно мучишь?.. Бог, сатана — кто ты? Ты великий садист. Садизм правит твоим миром... Глаша! Глаша, ты же придешь?.. Ты все время со мной, твоя душа и в этой багряной заре, и здесь в комнате, в нашей спальне... Она везде. Она не стеснена больше тремя измерениями — ты ведь со мной?..»

* * *

«Они похоронили ее».

Ему казалось, что огромный черный жук-могильщик ползет по песку кладбищенской дорожки.

«Десять людей в черном, в цилиндрах... Десять отвратительных людей... Они несли твой гроб, моя голубка. Гроб с твоим родным, исстрадавшимся тельцем, маленьким и холодным... Четыре слева, четыре справа, один впереди, один позади... Десять пар черных плоских ног шуршали по песку в такт, раскачивая твой гроб. Марш могильщиков. На их лицах была продажная печаль и от них пахло эфиром... Десять. Я был одиннадцатый! Я сразу заметил это. И они отбивали ногами такт на счете одиннадцать... Раз-два, раз-два, три-четыре... пять-шесть, семь-восемь, девять-десять... одиннадцать... двенадцать не было. Они меняли ногу и опять начинали: один-два, три-четыре... Страшный, проклятый жук-могильщик...»

* * *

... «У могилы, оказывается, есть свой голос — стук земли о крышку гроба. О как страшно ударяется земля о крышку гроба! Какой страшный голос! Они засыпают тебя, Глаша. Глаша...»

... «Восьмой день. Будет девятая ночь. Восьмой страшный день, как умерла моя Глаша. Умерла!.. Поймите ужас этого слова — умерла... Умирают миллионы и миллиарды людей, но что мне до них. Но умерла Глаша, моя милая девочка, единственная родная душа,

какая была у меня на свете... Я знаю наверное, что она придет ко мне. Даст знать из того другого мира. Ведь если могут две души стремиться друг к другу, то сильнее стремления быть не может? Она придет... Придет примиренная с людьми, чистая, сияющая, белоснежная... Она последнее время из-за болезни была такая нервная и даже озлобленная на людей — но она придет примиренная...»

Эти восемь ночей он засыпал только на несколько минут. Сидел в постели, устремив глаза в темноту и ждал. Временами вскакивал и бродил по дому, вдруг оборачивался, искал ее глазами в темноте...

«Может быть, умершие видны только чуть-чуть, как расплывчатый призрак?» — думал он и всматривался в темноту. Потом глаза уставали, расплывались огненно-кровяные круги.

Тогда он садился и начинал прислушиваться. Рядом с домом был лес. Дом стоял почти в самом лесу. Ночью здесь совсем тихо. Иногда по десять минут не слышно ни шороха. Казалось, что в этой мертвой тишине он услышал бы ее тихий шопот в другом конце дома, может быть за версту услышал бы.

«Родная, приди... Как бы ты ни появилась, я не испугаюсь тебя. Разве я могу тебя испугаться, Глаша!?. Ведь я не боялся же тебя в гробу, не боялся целовать твои губы, когда на них был уже трупный яд... Я нарочно целовал их долгим, сильным поцелуем, я хотел заразиться твоим ядом...»

* * *

«Но ты не приходишь... Ты не хочешь придти?.. Нет, ты все отдашь за секунду встречи, ты хочешь этого всем твоим существом, какое бы оно теперь ни было... Я знаю это. Но почему же ты не приходишь? Почему?!.. Или тебе не позволяют?.. Как могут тебе не позволить?... Бог! Бог, правящий мирами, разреши ей! Ты знаешь, что от этого зависит моя жизнь... Ты ведь знаешь, Бог: тебе ведь нельзя солгать, ты чи-

таешь в душах. Может быть, я не так молюсь тебе? — научи меня, как надо молиться. Я отдам тебе всю остальную мою жизнь, только чтобы она пришла ко мне. Мне жизнь без нее не нужна...»

* * *

..«Бог — я знаю, что люди скверны, что они враги друг другу, что они нарушают твою волю; что они рождаются во вражде и так в нескончаемой вражде и помирают. И опять рождаются другие и опять грызутся, и опять помирают... и будут так рождаться и умирать, пока научатся все прощать и ни к кому не чувствовать вражды... Бог, я знаю, что мы посажены тобой в шар вселенной и не уйти из него никому, никакой силой, никакой волей... На вечную вечность посажены. И Глаша, хотя она умерла, тоже никуда не может уйти — она остается в твоей вселенной — так пусть же она даст мне знать! Она хочет ведь этого так же, как и я... Ты знаешь, Бог — тебя нельзя обмануть... Она ведь существует... А может быть нет?..»

* * *

Когда наступала ночь, опять начинал бродить по дому. То тихо, то громко звал ее. Он то называл ее самыми нежными именами, то вдруг говорил ей приказательным грубым тоном, требуя, чтобы она пришла немедленно. Уставший, он ложился, потом вдруг опять вскакивал. Один раз нарочно сильно ударился головой о спинку постели.

Сначала плакал, потом слез не стало.

Глаша не приходила. Он наконец решил, что она придет на одиннадцатый день. Вдруг твердо поверил в это и спокойно ждал этого дня. На одиннадцатую ночь он не раздевался. Сел в кресло и стал ждать. При малейшем шорохе превращался в один слушающий нерв. Ему казалось, что он слышит, как падают хвоинки на черепичную крышу; ему казалось что он слышит,

как точится червячек в балке потолка... Казалось, что он слышит, как тикают карманные часы наверху в спальне... Казалось, что мешает биение собственного сердца, что оно заглушает тот шорох, которого он так ждет... Он никогда не слышал раньше, но теперь ему казалось, что он слышит как течет его кровь...

* * *

Против двери той комнаты, где он сидел, в другой комнате стояло зеркало. В нем отражался какой-то свет, хотя на улице было совсем темно. Вдруг заметил этот слабый отблеск и глаза жадно остановились на нем. Стало казаться, что именно на фоне этого отблеска покажется сейчас Глаша... Он долго смотрел на это светлое пятно. Смотрел до тех пор, пока впал в какое-то полугипнотическое состояние. Когда пришел в себя, уже светало...

Глаша не пришла и в эту ночь.

Очнувшись, он вдруг начал кричать, звать ее. Упал на колени, бился головой о ковер, заклинал ее непонятными словами, стучал ногой в пол. Вдруг зазвонил телефон. Ему показалось, что звонок был необычайно сильный, резкий, такой, какого никогда не бывает. Он бросился к телефону.

«Это Глаша!»

Он был уверен, что услышит в телефон ее голос. Пока он бежал к телефону, у него мелькнула мысль:

«Как глупо, что я раньше не сообразил — ей именно легче всего позвонить по телефону».

Оказалось, что перепутали номер.

* * *

«Глаша!.. Почему ты не пришла?.. Или тебя больше нет? Нет тебя!? Ты же существуешь?.. Мы все частицы космоса, космос для чего-то существует и каждый исполняет назначенную ему функцию в его вечной жизни. Есть же какая-то цель в жизни вселенной? — она не-

ведома нам, но она есть? Своим ничтожным разумом мы не можем этого постигнуть... А ты, родная, теперь знаешь, тебе все открылось. Твоя душа наполнена радостью познания... Но тогда дай мне ничтожную частицу его, одно слово... Да, да: мир должен существовать и мы вечны в нем. И ты существуеш так же как и я...»

...«А если нет? Если Глаша больше не существует?.. Если она погрузилась в темную пропасть небытия, и там нет ничего — со смертью все кончено?.. У космоса нет ни возмездия, ни долга, ни цели. Полное уничтожение. И моей Глаши больше нет, как нет миллиардов людей, живших до нас?... О, какой ужас! Черная, холодная пропасть вечности и в ней ничего... Бог! Бог... Бог, есть ты!? Не дай мне погибнуть, спаси, дай знак. Ведь если Глаши нет, если нет ничего там, если все кончается со смертью — я не хочу дальше жить...»

* * *

«Кто неистовый, кто сатанинский, кто проклятый сделал это? Кто устроил такой мир?.. Кто издевается над нами людишками?.. Кто, проклятый? Проклятый! Проклятый... Мы все проклятые. Всё проклято... Мы, обреченные из вечности. Кто смел сделать это?!.. Чем я могу ответить тебе, какими проклятиями проклясть тебя, сатанинский?.. А я знаю!.. Знаю! Ты кривишь свою улыбку, потому что я понял тебя?! Я понял—я буду издеваться над всем, что ты хотел поставить святым. Я хочу плевать на твои законы, на внушенные тобой человеческие законы. Я буду плевать на тебя до последнего вздоха. Что ты можешь сделать со мной — отнять мою жизнь? На! — бери, отнимай... Нет, ты сегодня мою жизнь не отнимешь, мне еще положено жить... А у Глаши ты отнял, проклятый. А мне еще положено жить?!.. Глаша не придет. Ее нет больше. Ты убил ее, уничтожил...»

«Да есть-ли и ты сам? Может быть ничего нет?.. Ничего... Черная мертвая вечность. Я напрасно тебя проклинаю?»

«...Нет!.. Ты есть. Кто-нибудь должен был выдумать этот кошмар человеческой жизни. И ты хочешь, чтобы мы были добрыми, братьями?.. Добрыми! Ха-ха! Добрыми... Такими же как ты, сатана, добрый. Такими как ты, который швыряет нас в черную холодную вечность, после того как вдоволь натешился над нами... Как ты, который убил мою Глашу?.. Ха-ха-ха... добрыми! Я покажу тебе, каким добрым я буду. Я тебе покажу!»

. . . .

«А может быть, я, несчастный безумец, кощунствую? Может быть, она все-таки существует?.. Может быть, она еще придет ко мне, придет моя милая Глаша? может быть еще не наступил срок? Нет!.. Не при-де-т...»

XIII.

ОДИН ПУЗЫРЕК...

День шел за днем. Один, как другой. Ничего не оставалось от них в памяти и потому время шло быстро. Точно ехал по плоской выжженной степи...

Самый день тянулся медленно, но дни были так похожи один на другой, что потом не мог припомнить сколько прошло — десять дней или двадцать? или три месяца?..

Уже четвертый месяц, как нет Глаши.

Один только раз на несколько дней поднялась волна энергии. Вдруг пришел экстаз. Экстаз озлобления...

* * *

Когда Глаша ложилась в клинику, Арсений заплатил вперед пятьдесят тысяч марок. Марка тогда стоила уже мало. Это составляло плату клинике за десять дней.

Когда Глаша умерла, он забыл о расчетах с клиникой и со знаменитым профессором за операцию. Недели две из клиники ничего не писали. Но затем получилось письмо: просили взять обратно оставшуюся там одежду и был приложен счет профессора за операцию на триста тысяч марок!..

Обдала горячая волна, когда он увидел счет:

«Как!? Он зарезал Глашу и еще требует за это деньги!.. Ему все равно, кого резать и какие будут результаты — ему важно получить свои триста тысяч!..»

Вспомнил, как говорил с профессором перед операцией и спрашивал, есть ли полная уверенность в благополучном исходе. Профессор уверял, что никакой опасности нет.

«Уверял, что опасности нет, а сам зарезал и теперь требует за это триста тысяч!.. Я ему покажу, мерзавцу», — громко сказал Арсений. — «Сегодня же поеду к нему... Я ему покажу!..»

В припадке вдруг поднявшейся энергии, он стал быстро, нервозно одеваться, сунул в карман скомканное письмо и счет, положил в другой карман заряженный браунинг и поехал в клинику.

* *

По дороге, сидя в автобусе, старался более спокойно обдумать. Но остался при том же решении.

«Да, понятно, тут, может быть, не было злой воли, он не хотел ее зарезать... Он сделал все возможное. Но зачем же он так уверенно говорил?!.. У врачей преступная наглая самоуверенность. Как они смеют, эти хирурги, так просто и легко относиться к своему ножу? Они режут лишь бы резать и получать деньги за операцию. Они делают опыты — удастся или не

удастся?.. Они все равно получат деньги — останется ли больной жив или умрет... Ведь более честные и умные врачи пишут сами, что очень часто делаются излишние операции... Хирурги смотрят на всякого ложащегося под их нож, как на научный эксперимент... Он не стал бы резать свою жену, а чужую ему все равно... Если инженер построит мост по неверному расчету и мост провалится, то ведь ему не заплатят его процентов; а еще будут судить и посадят в тюрьму! А тут он зарезал мою Глашу и спокойно предъявляет за это счет!.. Нет, нет! Не получишь ни пфеннига. Глаша могла бы еще жить, а ты ее зарезал... Я тебе покажу!..»

* * *

Приехал в лечебницу и потребовал личного свидания с профессором. Говорил так настойчиво, что тот сейчас же принял.

Вошел в кабинет. Профессор встал навстречу, протянул руку с выражением сожаления. Ему, видимо, не хотелось встречаться с Арсением — было неприятно напоминание об этой неудачной операции. Но так как Арсений настоял, пришлось выражать сожаление...

«Я тебя понимаю», — подумал Арсений. — «И счет ты не послал сразу, а выжидал две недели... Ничего, мы поговорим...»

Он начал сразу в повышенном тоне, коверкая немецкий язык. Профессор сейчас же понял, что тут надо держаться спокойно, иначе может выйти весьма неприятный разговор. Он старался успокаивать. Но Арсений все повышал тон.

«Как! Вы зарезали мою жену и еще предъявляете мне за это счет на триста тысяч марок!?.. Вы помните, как вы уверяли меня, что нет ни малейшей опасности. Вы должны отвечать за ваши слова... А когда она умирала, вы бросили ее и уехали куда-то отдыхать. Вы уже видели, что безнадежно, и умыли руки... Вы отправили на тот свет молодую женщину, разбили мою жизнь и теперь предъявляете мне за это счет на три-

ста тысяч марок!.. Вы их не получите, господин профессор! Можете итти во все суды, но вы этих денег не получите... Если бы не ваша самоуверенность, она могла бы еще жить. Она была бы больна, но не умерла бы... У меня есть триста тысяч марок, я вам обещал все, что имею, за спасение ее жизни уже после вашей операции, но теперь вы не получите ни пфеннига... Если все суды присудят вам, то вы всетаки ни получите ни пфеннига — у меня тогда есть последнее средство...»

Арсений опустил руку в карман, намереваясь вынуть браунинг. Но удержался в последний момент. Однако профессор, видимо, понял, на что тот намекает. Его передернуло. Он отступил задом к окну, покраснел, сделал нервное движение рукой, но ничего не сказал. Только после паузы он процедил сквозь зубы:

«Успокойтесь... Вы не имеете права так со мной разговаривать. Вы несправедливы ко мне».

«Мне важно мое мнение, а не ваше, господин профессор... Кто из нас прав, это нужно решать на могиле моей жены... До свиданья!»

* * *

Он вышел из кабинета, не подавши руки.

Вернулся домой.

Прилив энергии кончился. Опят наступила апатия. Он был уверен, что после этого разговора профессор не станет требовать денег судом. Не потому, что он считает себя виноватым, а не захочет скандала в газетах. А может быть, побоится и угрозы.

«Ведь я угрозу выполнил бы... Я шел бы по всем судам, потом бы уехал из Германии, но денег не заплатил бы. Если бы и это не помогло, я прибег бы к последнему средству... Я обязан отомстить за Глашу...»

Арсений не ошибся. Профессор в суд не обратился.

* * *

По ночам Арсений спал плохо. Лежал с открытыми глазами и смотрел в темноту. Все чего-то ждал...

Утром не хотел брать ванну. Лень было бриться, лень одеваться. Накидывал на ночную рубашку халат и в туфлях на босу ногу садился в кресло и читал газеты...

Все было неинтересно. Газеты были пусты — одна, как другая. Всетаки самый приятный был английский «Таймс». Чистый четкий набор, приятная на ощупь бумага, красивая верстка... Никогда нет опечаток. Немецкие газеты пачкали руки и от готического шрифта рябило в глазах...

Он не подписывался на «Таймс», но каждый день покупал. Был всетаки какой-то импульс одеться, выйти на улицу, дойти до книжной лавки, где продавались иностранные газеты... Иногда даже не читал номера, но было приятно взять его в руки и положить в карман. Как будто настроение становилось лучше от того, что где-то люди печатают так хорошо и так много, каждый день...

По понедельникам приходил «Обзервер», тоже такой же приятный, как «Таймс». Этот он всегда прочитывал — особенно «библиографический отдел». Ждал, когда в одиннадцать часов позвонит почтальон коротким звонком, чтобы дать знать, что в ящик брошена почта.

Книг, как всегда, было много, но не мог сосредоточиться на более серьезном чтении — не хватало терпения. Начинал то одну, то другую, но все было неинтересно. Загибал листик где-нибудь в начале, думая потом продолжать. Но на завтра брался за другую.

Так в халате сидел до обеда. К обеду кто-нибудь приходил — лишь бы живой человек...

* * *

Стал опять много пить.

В диване, в ящике под сиденьем, было спрятано несколько бутылок шампанского. Не мог давать его

другим: оно дорого стоило. «Нужно экономить..» Но сам, бросивши газеты и книги, обычно вечером открывал тихонько бутылку и всю выпивал. Поднимал бокал и долго смотрел на свет. Пил медленными глотками, стараясь растянуть удовольствие...

На завтра пустую бутылку, прячась, выносил под пальто и оставлял где-нибудь, чтобы прислуга не видела: точно скрывал преступление...

Вино обычно помогало — все начинало казаться безразличным. Появлялись старые мысли.

«Ценно только «сейчас», вот эта минута... К чорту тоску!.. Одиночество возвышает...»

* * *

Пробовал бороться, заставить себя не пить. Не пил два-три дня. Но и такой срок выдерживал редко: пройдясь несколько раз по комнате, раскрывши то одну книгу, то другую, подходил к дивану, останавливался, смотрел на него в колебании и тут же решал:

«А ради чего не пить?.. Сейчас будет приятное настроение. Только это «сейчас» и ценно. Все остальное фикция...»

Открывал сиденье дивана и доставал бутылку.

Умелым привычным жестом открывал, наливал большой бокал и смотрел, как подымаются маленьким фейерверком со дна пузырьки. Доходят до поверхности и образуют на ней причудливый, все новый рисунок...

Недавно только этот рисунок заметил — раньше не обращал внимания.

«Это большое приобретение!.. Если смотреть просто сверху в бокал, то рисунка не видно, а нужно поднять высоко и смотреть снизу. Тогда пузырьки образуют все новые рисунки, точно в калейдоскопе... и затем исчезают. Со дна поднимаются все новые, но на поверхности их не прибавляется... Если посидеть так полчаса, то поднимается все меньше и меньше и наконец вино умирает!.. Пузырьки исчезают — и нет

больше рисунка. Совсем как жизнь человечества — она тоже когда-то кончится, выдохнется бокал жизни... А я один пузырек. Всей моей жизни — пока дойду со дна до поверхности. Когда мой пузырек лопнет, никто этого не заметит, а другие будут подниматься как раньше, долго еще, очень долго.. Образуют, может быть, особенно красивый рисунок, тоже только на одно мгновенье — и все пузырьки лопнут... Постепенно все замрет, больше не будет новых пузырьков, жизнь земли кончится... Должен ли мой пузырек чем-нибудь пожертвовать, чтобы будущий рисунок был на секунду красивее? Понятно, нет!.. Вообще ничего и никто не должен. Ничего не останется... Переживут великие идеи, но не всякому дано творить их... Да и они умрут, когда умрет земля...»

* * *

Иногда по вечерам собиралась компания каких-то случайных людей и играли в «девятку». Игра была мелкая, мало интересная. Проигравшие часто не платили. Но за игрой забывался и ждал, чтобы опять пришли эти люди и чтобы опять убить время...

Он понимал, что опускается, но находил оправдание:

«Не все ли равно?..»

Иногда всетаки приходило другое:

«Я должен что-то сделать. Что-то большое... Ведь я всегда был уверен, что сделаю что-то большое... Должен подняться над толпой — ведь я же могу?.. Да, могу!.. Но что я должен для этого сделать, что? Раньше я знал — карьеру, деньги, миллионы. Когда будут в руках миллионы и власть, которую они дают, тогда я и сделаю что-то большое, необычайное... Когда у человека в руках пятьдесят миллионов, это все равно, что пятьдесят миллионов сильных людей. Они его рабы на один день и он может бросить эту колоссальную армию, куда хочет и на что хочет. Громадная сила... А что я должен сделать теперь?..»

Минутная решимость и подъем умирали до следующего раза, не найдя разрешения.

Опять шло по старому.

* * *

Утром на момент сожаление, что так глупо проходит время. Но не было воли что-то начать сейчас же, двинуться с места. Ночью, проснувшись, обещал себе, что больше не будет пить и играть в карты. Но уже к обеду решение менялось...

В это утро было яркое солнце и вдруг стало тепло. Открыл окно в столовой и за кофе перебирал пачку газет и новые книги. В окно вдруг влетела маленькая птичка, покружилась по комнате и села над столом на лампу, у потолка.

Вдруг опять пришла мысль:

«А может быть, это знак от Глаши?.. Может быть, это она откуда-то из другого мира прислала ко мне эту птичку?.. А может быть всетаки существует перевоплощение и ее душа теперь в этой птичке?..»

Он захотел посмотреть ее поближе, но птичка вспорхнула и стала глупо биться в стекло другого окна. Потом опять села на лампу, оставила на абажуре грязный след и улетела.

Вдруг он порывисто встал из-за стола, точно стряхнул с себя что-то. Топнул ногой, рассердился на кого то или на что то:

«Какой абсурд! Как глупо... Самая обыкновенная птичка — никакой души, никаких иных миров... Все детский бред...»

* * *

После смерти Глаши он заказал памятник для ее могилы. Колебался, что написать на нем.

«Не писать же «здесь погребена» и так далее?!.. Или «здесь покоится прах...» Пошло и холодно. И не даты же ее жизни — кому это нужно? Даже мне эти

даты неинтересны. Не все ли равно в каком месяце и в каком году она родилась и в каком померла. Важно только, что она была, а теперь ее нет...»

Думал, колебался и остановился на такой надписи:

Глафира Аристархова
(из Петербурга)

Потом отступя, внизу:

Твой милый смех
В иных звучит мирах,
И может быть, когда-нибудь
Я вновь его услышу...

Когда отослал уже текст на фабрику, стало казаться что это глупо. Похоже на наивные могильные надписи, вроде той, что мать написала на могиле отца.

Но всетаки оставил его...

* * *

Теперь, сейчас, решил, что это недопустимо глупо, смешно. Позорно...

Позвонил на фабрику памятников и попросил надписи не выбивать. Оттуда ответили, что памятник уже готов и как раз сегодня заканчивают надпись. Там думали, что он в претензии за задержку в работе и оправдывались забастовкой.

«Сколько строк из надписи уже выбито?»

«Остается только три строки».

«Тогда не выбивайте дальше — подождите, я завтра к вам заеду».

Сел за стол, жирно зачеркнул три последних строчки и дописал:

«Секунду вечности звучал —
И кончился навеки...»

Отправил этот текст, чтобы так закончили памятник.

ГЛАВА XIV.

ГОЛОС ПРЕДКОВ.

Вечером опять пришли люди. На этот раз всего двое и более интересных. В карты не играли, а разговаривали. Арсений подумал:

«Высшее достижение в музыке — камерный концерт: так и в разговоре... Когда слишком большая компания, разговор обычно неинтересен... Зачем я зову к себе людей?.. Не хочется оставаться наедине с самим собою. Сейчас же будешь думать о том, что нет Глаши и что уходят деньги»...

Сегодня разговор начал один из гостей и все время оставались около этой темы.

«...Образованный человек, но твердо верящий в перевоплощение!» Арсений удивлялся, как это уживается в нем. Чтобы подразнить его, рассказал о спиритическом сеансе у Шадурских и даже прочел ту рукопись, какую написал тогда, чтобы быть принятым духами... Духи сначала заявили, что он слишком материалистичен и отказались допустить его на сеанс, но, прочтя рукопись, согласились! Тогда он писал рукопись ради шутки: теперь она была еще курьезнее, ибо слушатели знали, что духом был Витька...

Рассказывали о разных случаях, когда люди под влиянием неуловимых причин вспоминают о своей прошлой жизни, какую они переживали уже, может быть, тысячи лет тому назад...

«Много есть таких рассказов» — сказал Арсений. «Но писать их не следует—они только туманят мозги малых сил...»

Собеседники не соглашались.

* * *

Этот вечер, разговор с людьми совсем другого склада, оставил всетаки свой след.

Долго не мог заснуть.

«Перевоплощение — сказка, но дух предков живет в человеке, переходит в хромозомах и проявляется иногда самым неожиданным образом... Даже долгой борьбой и работой над собою трудно освободиться от наследственности... Кто знает, из какого поколения вдруг выплывает непреодолимое влияние».

Опять, как нередко и раньше, мысль остановилась на предках.

«О них известно мало — разве только то, что это были самые заурядные мещане. «Мещане духа... Никто ничего не создал, ничем не выдвинулся. Даже жить приятно не умели. Сами себя мучили... А уметь хорошо жить — это не даже» — остановил сам свою мысль — «это очень много, это, может быть, важнее всего...»

* * *

Вспомнились опять рассказы детства. В последнее время они затуманились. Не до них было. Раньше читал книги по истории раскола, много читал. Давно уже не брал их в руки. Все остались в Петербурге.

«Где они теперь? Может быть пошли на обертку или на папиросы?»

Одну только еще купил здесь.

...Рассказывала дочка старой Февроньи. Февронью он уже не застал, она померла раньше. Но рассказов о ней слышал в детстве много... Мать рассказывала, кто-то из дядей рассказывал. Кучер Евлампий рассказывал...

...Февронье было уже под девяносто. Она совсем ослепла и чтобы даром хлеба не ела — да и она сама не хотела: еще крепкая была — ее посадили у дедушки в подвал бобы молоть. Бобовая мука в лавках не продавалась, а из нее пекли черные бобовые лепешки и ели их со сметаной...

...Февронья целыми днями сидела в подвале и вертела за деревянную ручку каменный жернов. Ей темнота не мешала — все равно слепая. Никто ее не понукал — молола, когда хотела. Когда устанет, наки-

дывала на голову черный платок, брала кожаную лестовку и клала поклоны. Не земные — земных не могла — поясница не сгибалась уже. Сто поклонов положит и опять мелет — рассказывали...

...У Февроньи еще были целы зубы. Возьмет сухой боб, раскусит и жует его долго, долго. В посты сплошь, а в мясоед по средам, пятницам и понедельникам только и ела по нескольку этих бобов. В другие дни ей приносила еду из кухни Феоктиста — дочка... Рассказывали, что слепая Февронья замечательно гадает на этих бобах. Карт она не знала, никогда не видала даже, а если бы и видела, не взяла бы в руки — на них знаки антихристовы... Еще кто-то умел гадать на кофейной гуще, но Февронья этого не умела и никогда в жизни кофею не пила...

* * *

....Мать была тогда еще девицей. Она часто бегала в подвал к Февронье и не раз закидывала удочку — «Погадай ты мне, Февроньюшка»... Но Февронья крестилась, шептала молитву и решительно отказывалась.

«С нами крестная сила! Да откуда взяла ты, родимая, что я таким грехом занимаюсь?.. Исусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешную»...

Однако после долгих уговоров и нескольких леденцов согласилась. Согласилась молча. Только рукой показала, чтобы мать тоже молчала, ничего не спрашивала. Взяла несколько бобов и стала их на скамейке в темноте двигать ощупью и молитву какую-то шептать. Долго двигала то в одну сторону, то в другую, кругом, собирала вместе, раскусывала боб пополам, опять раскидывала... Стала шептать:

«Родимая ты моя, Аннушка! Не один у тебя жених будет... И темные, и светлые... Только это все не твои суженые, не с ними тебе век вековать, не с ними твоя дорога лежит... А приедет твой суженый издалека, из дальнего царства-государства, из водя-

ного краю... И будет у тебя два сына, один маленький, а другой большой... Господи, Исусе Христе, все замутилось, водой покрылось... ничего больше не вижу...»

«Что значит, Февроньюшка, маленький и большой?»

«Ничего, родимая, не знаю больше, все замутилось, прости меня грешную Господи Исусе».

Февронья смешала бобы, взяла лестовку и стала класть поклоны. Сколько мать ни просила, ничего больше не сказала, только молча отмахивалась и шептала молитву. И никогда уже больше гадать не согласилась...

* * *

Даже тогда уже, студентом, когда мать ему рассказывала об этом, не задолго до своей смерти, Арсений смеялся над гаданьями. Одна была странная черточка в старческом лепете Февроньи — отец его действительно жил в юности на островке, и в другом царстве-государстве. О другом царстве-государстве Февронья легко могла сказать, так как не раз, вероятно, слышала об их дальних родственниках, тоже Аристарховых, и тоже понятно раскольниках, живущих где-то в другом царстве... Слова о воде он считал простым совпадением — «вода всегда у гадалок».

«Но что значит маленький и большой?.. Брат умер — большим он не был...»

Дочь Февроньи, Феоктисту, Арсений помнил тоже уже старухой. В черном платке, с лестовкой и подручником из лоскутков. Отца своего Феоктиста не знала, — вероятно, это был прадед Арсения? Но по фамилии Феоктиста не была Аристарховой и родственницей не считалась, а только «своей», «домашней».

Феоктиста рассказывала не раз о «жестокой жисти» в лесах, о гонених и казнях, какие прежние наши люди терпели за правую веру...

* * *

...В дремучем лесу, среди глубоких сугробов, плетутся люди. Они еле движутся от усталости, голода и холода. Отморожены у кого нога, у кого руки. Один совсем идти не может и его несут поочередно другие. Лица и руки ободраны, грязны, со струпьями на местах, побитых морозом. Мужчины с большими бородами, один совсем седой и сгорбленный: но еще крепкий. Женщин две — одна пожилая, другая помоложе. Обе в разодранных тулупах, в валенках, укутанные платками...

Пробиваются в сугробах, перелезают через поваленные деревья и пни, проваливаются в засыпанные овраги и ямы. Иногда чаща такая густая, что надо прорубать топором...

Уже вторую неделю идут, все глубже и глубже забиваясь в бесконечный лес, лишь бы уйти от царских слуг. Все бросили — дом, близких, даже детей, потому что тем все равно не уйти. Медведи и волки, голод и мороз, и даже смерть сама в лесу — все менее страшно, чем эти люди — они схватят, закуют, повезут в посад и там будут пытать жестокими пытками. А потом сожгут...

Несут с собой только несколько книг и икон.

Наконец, обессиленные, остановились на полянке и тут решили расчистить и строить келью. Водрузили одну из икон на дерево и приступили к тяжелой работе. Рубили бревна, таскали на себе по глубокому снегу. Ели остатки захваченного из дому хлеба, потом кору и мерзлые корни... Погибли бы все, но дело шло к весне. Умерло только двое. Остался в живых седой старик, еще трое пожилых мужчин и обе женщины. Двое этих мужчин и одна из женщин, помоложе, были детьми седого старика. Женщину звали Марфой и была она Арсению пра-прабабушка или еще дальше, но во всяком случае его прямой предок...

* * *

Арсений не раз слышал разговоры и от других о какой-то Марфе, от которой будто бы идет их род со стороны матери.

...Келья не ладилась. Были натасканы уже бревна, но когда стали рубить венцы, бревна никак не ложились одно на другое. Как их не ворочали, как не подкладывали мох, все один конец торчит и к нижнему бревну не прилегает. Бились, бились, с одного места на другое клали — ничего не выходило... Водрузили вторую икону на дерево — тоже не помогло. Долго по ночам молился Марфин отец и вдруг его осенило — рубить не четыре стены, а пять, так чтобы было две кельи. В одной келье жить мужчинам, в другой — женщинам. Неугодно было Богу, чтобы явился соблазн среди людей древнего благочестия... И когда стали рубить пятистенную келью, бревна стали ложиться правильно. Келья скоро была готова...

* * *

В тяжелой работе, молитве и посте прожили лето. Собирали и сушили грибы и ягоды. Бог послал недалеко ручеек. Медведь приходил, обнюхал и ушел, никого не тронул.

Седой старик был занят особой работой. Из большого дуплистого бревна он долбил себе гроб, и когда к концу лета гроб был готов, старик лег в него, чтобы никогда больше уже не вставать. Целую ночь молились все вместе, пели псалмы, а под утро старик лег в гроб. Девять дней читали над ним Псалтырь наизусть, кто что помнил — потому что Псалтырь по дороге в снегу потеряли. Старик сжевывал в день сушеный гриб, пил несколько глотков воды и пел псалмы или, может быть, те песни, что знала и Феоктиста. Заунывно, печально, вполголоса она иногда что-то пела печальное. Слов Арсений не помнил.

* * *

Недолго пришлось жить в этой келье и недолго старику живым лежать в гробу. И сюда достали царские сыщики. Они напали на след и к осени, темной ночью оцепили избу. Старик не спал и услышал первый. Сразу понял, в чем дело. Зажег от угольков лучиной ворох сухого сена в углу и криком поднял всех. Другие тушить, было, хотели, но он не позволил...

«Огненную смерть приимем и праведным сопричтемся... Не дадимся в руки антихристовы», — громко, вдруг явившимся голосом, закричал он, и стал из гроба ворошить палкой сено, чтобы лучше горело... Уже стена загорелась. Уже борода у него вспыхнула, а он все ворошил. Пожар разгорался, а люди не хотели выскакивать из кельи. Но сгореть им не дали. «Сыщики» батогами вытащили их из пылавшей избы и, сковавши, поволокли в город. Старик сгорел в своем гробу — его вытащить не могли, он уцепился за гроб всеми силами... Из пламени и дыма было долго слышно его пение, перемешанное со стонами и все затихавшее...

...В городе всех мужчин пытали и одного сожгли на костре. А Марфа убежала с дороги. «Убежала неизвестно как и куда. Не могли ее поймать... и от нее пошел ваш род,» — заканчивала рассказ Феоктиста. «Жестокое житие их было, аки в нощи бурной и темной, но не могли вашего рода истребить ни огнем, ни мечом царевы супостаты, слуги антихристовы, потому что на то была воля божия... И быдто и я с маменькой из того же дерева, только ветки в разные стороны разошлись...»

* * *

Тогда ребенком он слушал это, как сказку. Хотя речь шла об его дедушках и бабушках, это было ему чуждо. Слушал как сказку о Кащее бессмертном или о Солдате и чертях. Но теперь он знал, что эти рассказы не сказки. Так люди действительно жили, так жили его предки и капли их крови текут в нем — хочет он или не хочет.

«Не капли крови, так хромозомы... При всех усилиях уйти от их влияния, что-то всетаки остается... Время от времени просыпается. То, что случилось вчера, неизбежно влияет на сегодня и завтра, и то что было с предками двести лет назад, тоже живет, тлеет где-то в недоступных для сознания глубинах и вдруг иногда вспыхивает...»

Вставши, утром, взял опять с полки книгу по истории раскола. Ту, что тут купил. Некоторые места были отчеркнуты. Вот там, где говорится о Московском Соборе 1666 года, отчеркнуто двумя карандашами постановление Собора.

> «Раскольники не токмо церковным наказанием имут наказатися, но и царским, сиречь градским законом и казнением»...

А в 1684 году, в правление Софьи был издан закон, установивший пытки для раскольников —

> «огненную смерть».

«Жестокому наказанию кнутом» подвергались даже те православные, которые не донесут на раскольника.

> «Даже потом повинившиеся без всякие противности»,

все равно и таких бить кнутом...

«Бить кнутом на площади при народе!...»

* * *

Краска прилила к лицу и рука сжалась в кулак. Живи он тогда, ничто не могло бы остановить его совершить самую страшную жестокость, чтобы только отомстить и этой Софье, и ее приспешникам... «Бить кнутом при народе за то, что не хотели за тебя молиться!...»

Не в первый уже раз поднималась у него эта горячая волна и хотелось итти нещадно мстить... То вдруг являлось обратное чувство — хотелось обнять людей и вывести их из темноты и звериной вражды. И часто боролись эти два чувства: беспощадная, ни

перед чем не останавливающаяся борьба или непротивленная любовь...

Он давно уже понял, откуда у него этот, казалось бы, необъяснимый страх, в каком прожил почти все детство и юность.

«От предков... Страшна была их жизнь. Ежеминутно в страхе и трепете ждали они светопреставления...»

...«Мне не религия помогла себя переделать — она мне только мешала. Я сам себя переделал... Джорджано Бруно — какой великан!» — почему то именно мелькнул его образ?—«В те времена, среди религиозного кошмара, он не побоялся подумать, что человек, сбросивший религиозную паутину, достигает вершин свободы духа и сам становится Богом... Богом для самого себя... Я сам мой Бог!»...

* * *

Вечером сидел один. Читал.

Выпил оставшееся в бутылке — почти полбутылки влил сразу в большой бокал.

«Болпутылки» — сказал вслух, «болпутылки а ля Фишкин»...

«Глупо! А что умно? Знаете ли вы, мудрейший, что умно? Нет, не знаете... Ну и сядьте в коробочку»...

Отпил немного.

Опять взял книгу.

Прочел страницу.

Положил. Хотелось думать о другом.

«Пить вредно! Самые душистые и красивые цветы растут на краю обрыва. Надо ходить по краю, иначе никогда их не увидишь... Много выпил... Что значит много? Все относительно... Я мог бы решать сейчас тригонометрические задачи, хотя тригонометрию учил давно... Давно! Очень давно... Жизнь проходит. Жизнь у-хо-дит... у-хо-дит... Уходит...»

«А может быть я алкоголик? Как брат Миша?! Жалко Мишу, погиб. У него детство, пожалуй, было всетаки лучше? Тогда жив был отец. В доме, было всетаки радостней, чем при мне... Я записал, ведь, что было при мне. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет... Я не сгустил красок, еще не все записал...»

Сказал вдруг громко:

«Ведь ты же знаешь, что я еще не все записал... Кто это «ты»? Кому я говорю?.. «Ты» — это я сам, мой предок во мне: тот самый, которого я столько лет гоню, а он все не уходит».

...«Почему у Миши было такое безволие и никчемность?... А может быть, Миша погиб для меня? Может быть, потому я и поднялся выше, что он погиб? В тех семьях, где все нормально, обычно все посредственны... Один маленький — другой большой».

* * *

Закурил сигару. В коробке одна была дорогая — подарил вчера знакомый голландец. Именно ее закурил.

Сел в кресло и смотрел на свою руку.

«Как надо держать в руке сигару, чтобы была естественная поза, а не липочкин оттопыренный пальчик?... Надо? — Вот тут-то именно «надо», тут важно и обязательно, потому что пошлое отвратительно...»

Опять подумал о Мише.

«Мысль снова забежала в те клеточки, где сложено пережитое с Мишей».

Так сам подумал, вернувшись мыслью к Мише.

«Почему она забежала именно в эти? Я так хочу — потому... А почему я так хочу?... Это уже к чорту! Не надо...»

...«Нет, я не Миша. Совсем другое!.. Я прошел уже самый трудный кусок дороги. Трудно было, но прошел. Пробирался через чащу, перелезал через пни, сугробы. Падал в провалы... Царапало, било по лицу, застревал. Но прошел!... Я мурзатый мальчишка, из

темной мещанской семьи — прошел... Прошел! Дорога была не прямая, как для некоторых, а обходом, объездом, без мостов. Темная, без фонарей... Выбрался на верхи... Какие верхи? Какие вам угодно... Я прожил уже миллион рублей. Сам их сделал... Я бывал во дворцах, как свой. Я знал красивых женщин... Я их выбирал. Я, а не они меня! Я выбирал... Я, мещанский мальчишка... Ты помнишь, как мне выдали паспорт из мещанской управы, когда я кончил гимназию? Раньше был еще какой-то сын вдовы купца второй гильдии, а с восемнадцати лет зачислен в мещане... Помнишь, как я порвал этот паспорт? Ты думаешь, что это пустяки! Вот если бы тебя до Никона отлучили от церкви и ты бы не смел подходить к причастию — была бы у тебя драма!?... Так вот так у меня было с моим мещанством. Понимаешь теперь?..»

«Я ушел от революции, где другие погибли... Нищим я уже не умру. Фишкин перестроить мир не успеет. Вообще он мира не перестроит... Если будут даже все и у всех отбирать — у меня отберут у последнего... Я не Миша!.. Миша, я не виноват, что ты погиб. При чем я здесь? Надо поднять людей выше... Им станет лучше жить. Ведь все в том, чтобы было лучше жить... Ценнейшие те, которые могут сами подняться и оттуда увидеть и сказать другим: «Не туда идете... Вон туда нужно!»...

«Если я прожил миллион, так чему-то научился. Я все время учился. На каждого нельзя миллион истратить. Я вам скажу...»

* * *

Подошел к письменному столу, взял листок бумаги и стал пером рисовать на нем головы. Очень большие черепа и маленькие носы. На черепах вместо волос писал — «мозг», «мозг», «мозг»... Потом сделал ото всех мозгов стрелки вниз и внизу написал:

«Разрушить это — и нет ни раньше, ни дальше... Кончено!... Прощай жизнь... Прощай.»

Выпил из бокала остальное.

«Какой же я пьяный! Я все помню. Я вот думал о верхах — о женщинах, о дворцах, но я не додумал главного. Совсем не потому, что я пьян: громадное большинство не додумывает и в трезвом виде, всю жизнь не додумывают... И, главное, я вот помню, что я не додумал и помню на чем я остановился. Какой верх самый главный? Самый главный верх, выше всех остальных верхов?... Это то, что я научился думать, думать... Нашел свое место в мироздании... У меня у пьяного оргии духа. Не просто оргии, а оргии духа. Никогда я пьяный не ходил на оргии, где люди становятся животными. Ни разу!.. На оргиях я бывал, но не пьяный, а трезвый, чтобы увидеть. И сразу же уходил. Мне было противно... У пьяного, у меня оргии духа. Они нужны — высшие взлеты... Прочь все эти сомнения и нерешительность, копание в самом себе!.. Выворачиванье души на изнанку. Довольно уже выворачивал — я уже знаю, что там внутри. Я свое место в мире знаю... Кончено! С завтрашнего дня начинается новое... Пора спать».

Уже засыпая, шепотом повторял:

«Перелом... беру себя в руки... Я им укажу... укажу.. Не туда идете!».

С этим заснул.

XV.

ИРИНА.

Прошло еще какое-то время.

Образ Глаши туманился. Арсений это сознавал.

«Время лечит самые глубокие раны» — приходила мысль. Иногда после вина являлась теперь и другая:

«Что собственно я потерял?.. Я потерял женщину,

которую любил и с которой проводил день за днем... Чего мне недостает сейчас?.. Недостает женщины, похожей на Глашу. Надо найти вторую такую, как Глаша? Разве это возможно? Кто знает — надо искать... Если я не сброшу с себя это безволие и мистицизм — я погибший человек. Глаши нет и никогда не будет. Что умерло — то умерло...»

Ходя по комнате, он сжимал кулаки против какого-то невидимого врага. Он, этот враг, хочет погубить его, затемнить его рассудок. Если ему поддаться, он убьет его разум. А ведь только разуму он до сих пор верил.

«Прочь весь этот туман пещерного предка. Прочь!..»

Через полчаса опять было одиночество.

«Шаги одинокого разума гулко отдаются в пустой комнате души».

Придумал эту вычурную фразу и повторял ее про себя.

«Почему одинокого? Найду другую... «Пустая комната души»... Разве одна Глаша наполняла ее?.. Ведь только в последние годы она заняла так много места в моей жизни. Раньше жизнь была полна другим... и другими».

* * *

В русском книжном магазине он увидел недавно хорошенькую блондинку — особенно понравился ее голос. Он уже тогда хотел заговорить с ней, но не знал как это сделать. Не хватило решимости.

«Завтра я это сделаю непременно».

Лег спать опять со сжатыми кулаками против своего невидимого врага. Так и заснул со сжатыми кулаками. Спал спокойно, как давно уже не бывало.

Утром, сейчас же после кофе, поехал в магазин, купил какую-то книгу и заговорил с этой милой блондинкой. Когда никого близко не было, сказал ей:

«Вы, может быть, слышали, что у меня недавно умерла жена? После нее осталось много духов. Они мне не нужны... Можно вам подарить?»

Та удивилась, сконфузилась, покраснела. Но интимная связь была уже установлена. Назавтра он повез ей духи, но не передал их в магазине, а спросил, когда она ходит обедать, и встретился с ней по дороге.

«Как вас зовут?»

«А вы даже не знаете, кому подарили духи?» — игриво улыбнулась она.

«Уже кокетничает», — подумал он. — «А вчера казалась такой смущенной».

«Меня зовут Ириной».

Пошли распросы, кто она, откуда? Почему она служит в магазине?

Вечером условились встретиться в кафэ.

* * *

Ирина заказала самое дорогое по карточке.

«Хальб-гефрорене с фруктами».

Арсений предложил еще «шлагзане», битые сливки, думая что она откажется, потому что и без того уже жирно и приторно сладко. Но Ирина согласилась. Потом ела еще пирожные.

«Вот уж про нее нельзя сказать, что питается лунным светом», — подумал он. — «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты... Впрочем она, бедненькая, верно не доедает дома, хочет наесться на два дня...»

Она всетаки ему нравилась...

Из кафэ пошли в кино.

Сидеть было тесно. Арсений прижал осторожно свою ногу к ее ноге и чувствовал, что она не отодвигает свою, а как будто даже старается, чтобы прикосновение было теснее. Прикосновение было острым, возбуждающим, как ко всякой новой женщине, которая нравится...

* * *

Из кино поехали в ресторан.

Ирина опять выбрала по карточке самое нижнее блюдо, самое дорогое — «сальми из дичи с трюфелями».

«Наверное даже не знает, что это такое?..»

Спросил ее, что она хочет пить, «не хочет ли коктейль?» Для коктейля сейчас было совсем не время, но Ирина охотно согласилась и на коктейль.

«Да, коктэль... с удовольствием...»

«Какой хотите?»

«Сайд-кар», — сразу уверенно, не колеблясь, сказала она.

«Какая пошлость!» — подумал он. — «Выбрала самое мудреное название и при этом такую мерзость, с миндальным молоком... Как это можно пить после пломбира, и сбитых сливок, и пирожных!?..»

Насмешливое отношение к Ирине еще выросло. Но всетаки она нравилась...

* * *

Ели еще что-то, пили шампанское. Пила собственно только Ирина — ему была отвратительна эта сладкая немецкая бурда, называемая «зектом» — себе взял рюмку хересу.

Ирина была полупьяна.

В такси он обнял ее, прижался, поцеловал ей руку. Потом поцеловал в щеку. В губы. Она не протестовала. Это ему не понравилось...

Не решился сразу везти ее к себе домой.

«Слишком скоро. Увидит прислуга... Надо всетаки больше узнать ее. Как отнесутся потом к этому ее домашние? Еще устроют какую-нибудь неприятность... Уж не думает ли она женить меня на себе?..»

И тут же подумал другое:

«Если я так спокойно и критически обсуждаю, значит не так сильно меня влечет к ней... Страсть не рассуждает».

Отвез ее домой. Вернулся к себе в приятном настроении — и от Ирины, и от вина. Жизнь не казалась неинтересной и бесцельной. Как будто опять рождалась жизненная энергия.

«Ирина всетаки мне нравится...»

* * *

Ночью опять пробовал одолеть предок...

Вдруг проснулся на рассвете без всякой, казалось, причины и все было ненужно, бесполезно, трагично — вся жизнь.

«Все складывается неприятно, печально...»

Казалось, что болит сердце. Была давящая боль в левом боку — хотя несильная.

«Так протянешь недолго и оставшиеся годы будут мучительными: сердечная болезнь, астма вероятно?..»

Сделал усилие, вспомнил, что это от предков, что это всегда так ночью.

«К чорту!»...

Заснул.

На утро, после большой чашки кофе и свежих газет, курил сигару. Щебетали и пели над горкой и прудиком птицы. На разные лады.

«Их жизнь еще короче, но они умеют радоваться. Милые созданья. Сгиньте вы, мрачные голоса!.. Если жизнь трагична, то трагична для всех без исключения. Тогда это не трагедия. Так нужно!.. Почему нужно?.. А почему два уха и один нос?.. Почему у нас руки не длиннее и я не могу сам тереть свою спину мочалкой? А это было бы так приятно: вчера в ванне об этом думал...»

Улыбнулся.

* * *

Пошел в сад и долго ходил около грядок. Уже зацветали розы. Долго вдыхал аромат, наклонившись над низкими кустами. То у одного куста, то у другого... Желтые, как священные ткани Индии, «Вилль де Пари»

и чуть чуть желтоватые снизу «Пиусы» пахли иначе, чем розовые и красные.

«Которые лучше?.. И у тех и у других — запах радости... Больше вдыхать этот аромат, как можно чаще — тогда лучше жизнь... Пойти птички, пойте! Вы понимаете смысл жизни. Каждая минута дорога. Рви минуты, делай их приятней — это самое важное... Одной становится меньше — спеши, спеши!.. Радуйся, птичка! Радуйся ничему, просто радуйся — это мудрейшая философия... Зачем бы мы тут ни были, есть смысл или нет смысла в нашем существовании — это ничего не меняет: от каждой минуты надо взять всю возможную радость... Отчего вы не подлетаете ближе к цветам? Разве у вас нет обоняния?.. Ты, сад, помогаешь мне — ты мудрый. Мудрый сад!.. Надо прикасаться к земле. Она впитывает в себя человеческие печали, они уходят. Человеку становится легче.... Я до конца буду жить в саду... До конца дней, чего бы это ни стоило. Хотя бы в шалаше...»

Вернулся в дом успокоенный. Шел твердой, уверенной походкой.

* * *

Вечером, выпивши бутылку вина, стал громко с собой разговаривать. Дома никого не было.

«Я сознаю, что я делаю... Я громко говорю сам с собой. А между тем, если бы я не выпил этой бутылки, я не стал бы сам с собой разговаривать... Сознание трезво, я вот об этом рассуждаю — а всетаки разница есть. В хорошую сторону или в плохую? Вероятно, в хорошую, потому что сейчас я чувствую себя лучше, чем до того как я пил... Потом будет реакция — подавленное настроение. Нет, от одной бутылки этого со мной не бывает. Нужно только, чтобы вино было хорошее... Но если пить много, организм подтачивается, уменьшается его сопротивляемость болезненным началам и раньше наступит смерть... А в некоторых случаях алкоголь увеличивает сопротивляемость

организма!.. Да, да. Это у меня записано вон там на бумажке».

Нашел бумажку в ящике стола.

«Веселое настроение расширяет клетки мозговой коры и заставляет кровь в них быстрее двигаться. Это дает благотворную реакцию на все тело и психику.. У диабетиков веселое расположение сейчас же понижает содержание сахара в моче...»

* * *

Мысль прыгнула куда-то в сторону на текущие дневные вопросы. На те мелочи, в которых большинство людей живет всю жизнь. Сейчас же подумал об этом. Вернулся к прежнему:

«Не может быть, чтобы Эпикур проповедывал воздержание от наслаждений! Он был умный. Он понимал, что единственная цель жизни — счастье и оно состоит из хороших моментов. Если он писал иначе, то только чтобы не смущать малых сих. А настоящие поймут... Большая часть того, что он написал, утрачена. Потому и получилась такая путаница... Нужно не воздержание, а разумное пользование наслаждениями».

* * *

Ходил по комнате и говорил так, как будто рядом собеседник и он ему старается доказать свои мысли.

«Однако, как я не рыпаюсь, жизнь пресная. Почему со мной не случается ничего чрезвычайного? Из моей жизни романа не вышло бы... В хорошем романе нужны действие, фабула, а у меня нет фабулы, только копанье в самом себе... Не то по Чехову, не то по Достоевскому... У громадного большинства нет фабулы. Просто живут и живут. Что-то маленькое сегодняшнее думают, волнуются, страдают, изредка радуются — и умирают... А мог-ли бы я написать роман?»...

Вопрос остался без ответа.

Но зато случилось нечто приятное. Открытую бутылку шампанского не хотелось допивать — слишком много.

«Но если ее просто закрыть пробкой и оставить в теплой комнате — пробку газом вытолкнет. Так было в прошлый раз... Пропадет доброе вино, гениальное открытие милого Дом-Периньяна... Милый старик, я из-за тебя готов полюбить всех монахов!..»

Взял бичевку и стал привязывать пробку к горлышку. Но бичевка съезжала...

«А если затянуть туго, то потом нельзя подсунуть конец...»

Вдруг придумал. Сделал посреди шнурка петельку и тогда уже обвязал им горлышко. Перекинул один конец через пробку, продел в петельку и туго стянул с другим... «Ура! Целое изобретение!..»

* * *

Прошло несколько недель.

Связь с Ириной стала надоедать. В ней был постоянный неприятный привкус — «деньги, деньги»... Было ясно, что Ирина пошла на эту близость из-за денег. Было остро только первое впечатление, потом стало пресно.

«Глупенькая, шаблонная девочка... Ничего она не замышляла, никаких далеких планов у нее не было... Просто скучно и бедно жила, обрадовалась возможности развлечься, одеться по моде, вкусно поесть... Собрать немного денег... Это вторая связь по ее словам! Всегда у них вторая, при этом первая была против ее воли, случайно... обманом! Она даже не знала точно, как это случилось. Всегда у них так...»

Опять обострилась мысль о деньгах.

«За деньги можно купить таких Ирин сколько угодно и даже интереснее ее. Добиться близости с женщиной превосходством ума и воли, создать нужную обстановку, поймать подходящий момент — это совсем не так трудно, когда не нужно экономить деньги. На них

современные девицы больших городов летят, как жучки на лампу... Но найти настоящее чувство — это другое! Может быть, еще труднее полюбить самому?..»

Еще подумал:

«Деньги расширяют возможность выбора. Можно начать с денег и кончить настоящим чувством...»

XVI.

ОПЯТЬ ДЕНЬГИ...

Снова в кармане появилась записочка и на ней подсчеты.

«Сколько и чего остается...»

Печаль о Глаше потускнела.

Считал, считал, прикидывал — вышло всего около восьми тысяч долларов в деньгах и два бриллианта по восемь каратов — еще тысячи полторы.

«Все, что осталось от прежних миллионов!.. Насколько этого хватит? Здесь во время инфляции это еще деньги. Но если с такой Ириной или другой поехать на Ривьеру, пожить в Париже так, как жил когда-то, как привык жить, то через год-два ничего не будет... Что дальше?.. Надо найти не только любовницу и жену, но и друга — но как жить?.. Я всегда урывал у делового времени — чувствовал себя виноватым что делаю это, не умею сосредоточиться на одной цели, а только тогда и верен успех... Теперь мне никаких оправданий не нужно — колебаний нет. Самым ненужным я считаю дела... Сидеть в какой-то конторе и тратить такую короткую жизнь на то, чтобы какой-то спекулянт положил себе в карман еще несколько тысяч!.. Придумывать ухищрения, чтобы вырвать заказ у конкурентной фирмы, или составить

такой баланс, чтобы хозяин заплатил меньше налогов!.. Ведь к этому сводится три четверти работы во всех конторах, всего мира... Нет, нет, на это я больше не способен. Я не отдам остатка жизни конторе, даже, и своей собственной...»

* * *

Германская марка стремительно падала. Уже считали тысячами, но в переводе на доллары все становилсь дешевле и дешевле. Цифры росли, и все делалось сказочно дешево.

«Надо что-то купить теперь за бесценок — потом все поднимется во много раз...»

Стал ездить по окрестностям. Искал самые красивые и самые удобные места под городом. Наконец, показалось, что нашел: недалеко от станции пригородной дороги, в двадцати минутах от центра города, еще совсем незастроенная земля, сплошной лес, озеро...

«Сюда несомненно двинется город»...

Хотя никаких планов не видел, нигде не справлялся, но решил, что сюда логически должна пройти и подземная дорога, когда сеть будет расширяться. Узнал цены на землю. Оказалось, что каждый участок на доллары стоит чуть ли не столько, сколько в Петербурге стоило бальное платье!..

Еще несколько дней колебался, — тем временем марка продолжала падать.

Наконец решил. Пошел в контору, где продавались эти участки, и купил все, что оставались еще непроданными — одиннадцать участков...

* * *

Ночью проснулся в страхе от мысли, что сюда тоже может притти большевизм — все будет отобрано, как было в России — и он останется на улице без гроша...

В газетах появилось сообщение, что в Гамбурге готовилось коммунистическое восстание, но отложено.

«Его предупредить не смогут... Большевизм захватит Германию...»

Казалось, все погибло—потеряны последние деньги. Побежал в контору, чтобы отказаться от сделки, но те сами в панике, не согласились вернуть задатка, а требовали взноса остальных денег.

Обратился в адвокату, чтобы выяснить, можно ли отказаться от задатка.

«Лучше пусть пропадают три тысячи, но не вносить остальное».

«Можно попробовать вести процесс», — ответил адвокат, — «хотя дело не совсем верное... Всякое судебное дело не совсем верно. Многое зависит от личнаго взгляда судьи...»

* * *

Он никогда не верил адвокатам.

«Каждый из них берется за любое дело: — ему все равно проиграть или выиграть, он свой гонорар получит».

Не верил и этому, но от сделки хотелось отказаться во что бы то ни стало. Пошел к другому и стал ему рассказывать дело наоборот: будто бы он продал кому-то участок и тот дал задаток и теперь хочет отказаться от уплаты остальной суммы.

«Понятно, вы должны судиться, если эта продажа вам выгодна», — ответил адвокат. — «Ваше дело совершенно верное. По германскому закону нет ни малейших сомнений, что ему придется заплатить остальное... Уплатит вам с процентами и судебными издержками».

Арсений не сказал адвокату, что тут как раз обратное положение. Теперь было ясно, что процесс для него безнадежен.

Считал уже деньги потерянными — «потерял все что оставалось...»

Несколько дней ходил подавленный, а затем вдруг точно что-то созрело, точно стряхнул с себя беспокойство:

«Что-же, так кончить жизнь?!.. Все только в боязни за деньги, все в страхе — да будь они прокляты! Пусть все пропадает — больше я не волнуюсь... Само богатство не стоит этого постоянного страха за его потерю. Всю жизнь все страх, страх, страх... Начиная с раннего детства, когда твердили о страхе божием... Даже когда нравились женщины и я сходился с ними, то тоже жил потом в страхе, не заразился ли?.. Прочь это!..»

* * *

Коммунистическое восстание началось, но было подавлено. Из Москвы его не поддержали.

«Видимо, по мнению Москвы еще не пришло время», — подумал Арсений.

Но марка падала дальше...

Когда готовы были все документы для купчей крепости, пришлось уплатить уже вместо пяти тысяч долларов только около трех. Теперь от сделки пробовала отказываться контора, но он припугнул их судом, сославшись на статьи закона, о которых говорил адвокат...

Придя домой с купчей в кармане, опять стал подсчитывать, сколько будет стоить эта земля, если его предположения оправдаются. Если сюда будет расти город, если марка наконец стабилизируется. Выходила гомерическая прибыль: ценность должна увеличиться по крайней мере в двадцать раз и вместо шести тысяч будет сто двадцать!

* * *

«Но это в будущем, а пока у меня в кармане около тысячи долларов и два бриллианта! Сколько еще ждать, когда наступят эти нормальные условия?.. Что сделано, то сделано! Сколько раз я давал себе обеща-

ние никогда не жалеть о сделанном. Нужно думать, обсуждать, пока решение не принято, но когда сделано, когда изменить уже нельзя — надо быть спокойным, все равно не поможешь... Когда спокоен — не наделаешь ошибок... Нужно заняться чем нибудь, что захватило бы, книгами... Или влюбиться! Ехать куданибудь далеко нельзя — слишком мало денег. Надо жить очень скромно...»

Отпустил прислугу. Стал сам убирать комнаты. Варил картофель и жарил яичницу и бифштексы.

Тратил деньги только на книги.

Денег оставалось все меньше. Продал бриллианты. Очень дешево — почти за половину того, что заплатил тогда в Японии.

* * *

Инфляция достигла уже абсурдных, парадоксальных, невообразимых раньше размеров! Конверт письма нужно было теперь заклеивать сплошь почтовыми марками с тысячными цифрами. Проезд в трамвае стоил миллион!.. Пока из магазина доставляли купленное, оно обходилось уже наполовину дешевле, так как за ночь марка упала вдвое. Марками стали оклеивать стены...

И вдруг, сразу, этот сумасшедший танец денег кончился! Кончился новым абсурдом — марка вдруг поднялась в один скачок до прежней цены! Такой же клочок бумаги стал вдруг опять полноценной, настоящей маркой!..

Цены сделали такой прыжок вверх, что перепрыгнули все страны, где оставались полноценные деньги... Вчерашний клочок бумаги ничего не стоил, а сегодняшний стал стоить больше всех других валют.

«Живем в сумасшедшем доме», — думал Арсений. — «Капитализму необходимо перестроиться, начиная с фундамента, иначе дом обвалится...»

Цены на землю тоже сразу подскочили и продолжали быстро расти. Опять считали на настоящие полно-

ценные марки, опять верили в марку, хотя ровно ничего не изменилось: в Германии осталось столько же домов, столько же дорог, фабрик, цветов, одежды, музеев; было столько же солнца, такой же климат, те же самые люди; платили теми же самыми денежными знаками, выпущенными тем же государственным банком, на той же бумаге и даже с тем же шрифтом и теми же красками!..

«Точно маленькие дети — сначала играли в одну игру, а потом надоело и стали играть в другую...»

* * *

Арсений продал один участок и окупил все остальные и еще несколько сот марок осталось...

Теперь все чаще приходила мысль, что так на долгие годы не останется: — что то неладно.

«Надо быть готовым ко всему. Сегодня цены вскочили, а завтра землю совсем отберут!..»

От революции, от этой пляски миллионов и миллиардов, от разрухи во всем мире, потерялась вера в собственность.

«Сегодня это мое, а завтра опять придут три солдата с красными бантами, выбросят из шкафа купчие крепости — и все будет не мое... Сожгут нотариальные архивы, уничтожат записи и все право собственности, охранявшееся законами в течение столетий, окончится в один день, как это кончилось у нас в России...»

* * *

«В революции никакая логика и справедливость не существует. Нарушаются даже все физические законы... В водовороте песок может всплыть наверх, а щепка итти ко дну... Даже если уцелеешь, то период перестройки может так затянуться, что придет уже время умирать, прежде чем наступит нормальный порядок... Подхватит водоворотом и разобьет... Меня уже и так разбило — осталась одна доска, на которой

плаваю. Теперь еще ее раздробит в щепки и все пойдет ко дну... Я погибну в этом водовороте. Нужно что-то сделать, как-то себя охранить... Во всяком случае не накоплением богатства. Сколько ни накопи — все может быть отобрано. Никто не охранит... Может быть, еще несколько лет и удастся плыть на этой доске. Все новыми и новыми ухищрениями охранять свои права. Опять это вечное беспокойство, страх... Нет, нет, ни в каком случае, будь они прокляты, эти деньги!.. А что делать с участками? Продать их? А куда поместить деньги, во что? Может быть, цены еще поднимутся, а может быть, упадут?.. Если цены будут стоять на том же уровне, то ведь это самое глупое предприятие, какое можно выдумать. Капитал должен быть в обороте, только тогда в нем сила... В какой же оборот можно пустить деньги? Везде риск, везде этот проклятый страх потерять!.. И чем больше процентов, тем больше риска и страха... Нет, нет, окончательно, бесповоротно «нет». Прочь это стремление к накоплению!...»

* * *

Читал серьезную книгу и вдруг замечал, что не помнит прочитанного, — мысль прыгнула на деньги!.. Хотелось уйти от этого, целиком отдаться какой-нибудь мыслительной работе, направить мысль в более интересные, возвышенные области, а она опять и опять возвращалась к деньгам...

Наконец, пришел к решению, которое каждому нормальному человеку показалось бы абсурдным.

«Продать сразу все участки, на вырученные деньги купить чурки золота и спрятать их по разным местам, даже в разных странах... Пропадет в одном месте, останется в другом... Выкапывать по куску, проживать, жить как можно скромнее — потом выкапывать следующий кусок... Кое что может пропасть, но всетаки часть уцелеет и так можно скромно жить лет двадцать... может быть, тридцать? К тому времени или умрешь, или мир окончательно перестроится... Если

так сделать, не будет больше волнений за потерю всего, за уменьшение или увеличение доходов, за чью-то порядочность... За крах какого-то банка или какой-то валюты... Может в конце концов обесценится и само золото, но тогда нет ничего и другого, во что можно было бы обратить деньги... Все может быть отобрано. Все другое нельзя спрятать...»

* * *

Чем больше обдумывал это решение, тем больше в нем укреплялся.

«Решение глупое, но всякое другое еще глупее... Когда нужно охранять какую-то свою часть, а общее рушится, тогда все абсурдно... Нельзя сохранить в целости стул в рушащемся доме. Рано или поздно будет сломан и стул, придавлен упавшим потолком или обвалившейся стеной. Нельзя сохранить права, охранявшиеся законами, когда рушатся сами эти законы... Но куда спрятать золото?!»

Вопрос оказался гораздо труднее, чем ожидал.

«В былое время были сейфы в банках, был дома большой несгораемый шкаф, панцырный, со стальными пластинами — не просверлишь никакими буравами, и за целую ночь не расплавишь ацетиленовыми лампами... Но революция сделала все сейфы и шкафы наивными. Их не ломали, а просто отобрали ключи. Не только отобрали — сами отдавали... Когда приставят ко лбу браунинг или штык к животу, тогда отдашь ключ!..»

* * *

Вспомнил, как он прятал в Японии бриллианты — то в ножку кровати, то за обои! Теперь выдумывал еще более потайные места...

Придумал как-то — закрыть воду в водопроводе, развинтить внизу колено трубы, положить туда бриллианты, потом опять все свинтить и пустить воду... Никогда никому не придет в голову искать там. Вода не

может унести бриллианты — они будут лежать в этом колене и от воды они не портятся... И вдруг прочел в русской газете, что чекисты догадались и развинтили где-то водопровод и нашли там спрятанные бриллианты.. Оказывается, это выдумали до него! А того, кто их прятал, расстреляли...

«...В нескольких богатых домах нашли в подвалах замурованные клады. Стены были сделаны так, чтобы выглядели старыми, никому в голову не могло притти — и однако нашли!..»

«О том, что срывают обои, выстукивают стены, поднимают половицы, даже отбивают наружную штукатурку — об этом давно известно... Женщин заставляют распускать волосы и вычесывают. Сажают в одиночную камеру и дают слабительное... Все известно! Чем хитрее выдумка у прячущих, тем опытней те, кто разыскивает...»

* * *

На днях рассказывал один знакомый журналист, как у него в Москве делали обыск. Перерыли все бумаги. Снимали с полки и вытряхивали каждую книгу. Даже разрывали переплеты... А на столе в кучке других бумаг, на самом верху лежало письмо, за которое он больше всего боялся — могло стоить ему жизни... Одновременно с обыском его арестовали и во время допроса он не знал, как держаться. Знают ли об этом письме или не знают? От того, нашли ли его или нет, зависела жизнь... Может быть, не нашли, а он станет сам на себя наговаривать... Или будет запираться по этому вопросу, а вдруг следователь вынет из ящика это письмо! Тогда дальше и разговаривать не будут — прямо расстрел...

Его продержали под арестом с неделю и отпустили. Когда он вернулся к себе на квартиру, первое, что увидел — это письмо! Оно лежало сверху других бумаг, на самом видном месте... Его не нашли!..

«Вот, может быть, так именно и надо прятать?.. Нет — это случайность. Те, кто будут искать, тоже

читали детективные романы, а в одном из них, я помню, как раз тоже описан такой случай...»

Вспомнил, как однажды на французской границе он хотел провезти лишних шесть сигар, пустяк, но решил о них не говорить, а положил их в карман пальто и пальто бросил на диван в купэ... Думал, что никому не придет в голову шарить в небрежно брошенном пальто. А вышло как раз наоборот — таможенный только ощупал карманы пальто и как раз наткнулся на эти сигары!.. Хорошо, что был добродушный малый — дал ему три сигары из этих шести и тот, смеясь, махнул рукой...

«Надо что-то совсем новое. Такое, до чего другие еще не додумались...»

XVII.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАХИ.

Продал еще два участка. Купил чурку золота. Тяжелый, невзрачный брусок. Совсем не похоже на золото — бронза или медь... Покупать пришлось со всякими фокусами, через знакомого ювелира. Прямо запрещено.

«Хорошо, что чурка такая невзрачная, легче спрятать. Но куда?..»

«Замуровать в стену?.. Сделать нужно, понятно, самому, так чтобы никто не знал. Вообще где бы ни прятать — основное условие, чтобы ни один человек больше не знал... В России тоже замуровывали в стены и потом чекисты все находили... Закопать где-нибудь в саду на самом видном месте, чтобы было менее всего вероятно, что именно там будут искать? Но всетаки

могут случайно найти. Будут что-нибудь копать и случайно наткнутся...»

В передней стояла металлическая вешалка. Внизу был приделан тяжелый постамент, чтобы она была устойчивее — железный или свинцовый.

«Вынуть оттуда свинец, засунуть чурку и опять все закрасить как было раньше?...»

Попробовал это сделать — чурка не влезала.

* * *

Ворота в сад были на двух больших чугунных столбах. Осмотрел их внимательно — оказалось, что внутри столбы пустые, что верхушку можно легко снимать...

«Если на тонкой проволоке опустить внутрь чурку, никому не придет в голову, что там что-то спрятано... Тем более, что это на самом виду, на тротуаре... Потом в любое время чурку можно оттуда вытащить...»

Уже приделал к чурке проволоку и вдруг пришла простая и ясная мысль, что все его соображения абсурдны.

«От кого я прячу? Я прячу от революции и хочу прятать у себя же в доме! Когда придет революция первым долгом этот дом перестанет быть моим домом.... Если бы я спрятал что-нибудь у себя в своей петербургской вилле, разве я мог бы иметь теперь к ней доступ!?.. Понятно, нет... Прятать можно только в каком-нибудь общедоступном месте. Во всяком случае не у себя... Надо спрятать в таком месте, которое не может быть закрыто или передано в чье либо пользование. Но где же? Не на улице же?... Может быть, в лесу? А если лес станут рубить или проводить там дорогу — тогда найдут... Я думал спрятать десяток чурок, а оказывается, что на первой уже запнулся... Куда же годится весь план?..»

Всетаки мысль работала дальше. Вдруг придумал как спрятать!

«На могиле Глаши! Зарыть под памятник... Могилу никогда не тронут. Я всегда могу притти на могилу, сделать вид, что сажаю цветы и вырыть чурку... Никто другой там рыться не станет».

* * *

Прошло несколько дней.

Купил цветы для посадки, попросил завернуть в пакет. Принес его домой, сделал такой же другой и в него завязал чурку.

«Ведь не видно, что один легкий, а другой тяжелый».

Поехал с пакетами на кладбище. Шел по кладбищу, держа пакеты так, чтобы оба казались одинакового веса. Стал сажать цветы. Все выбирал подходящий момент, когда развернуть чурку и закопать под цоколь памятника. Но по кладбищу ходили люди. Сторож подметал дорожки... Так и не дождался удобного момента — все казалось, что кто-то издали смотрит...

Вернулся с чуркой домой.

* * *

Придумал другое — еще лучше.

Заказал цементу и песку и сам стал делать цементную скамейку. Это просто — не раз и раньше занимался цементными работами.

Отлил две кубообразных тяжелых подставки, по несколько пудов. Сначала хотел в одну из них залить чурку, но потом передумал.

«Как же ее потом достать? Будет очень трудно разбивать цемент — обратишь внимание... А если прикрыть тонким слоем, то он может отвалиться и чурка будет видна»...

Заложил ее снизу в толстое цементное сиденье. Внизу оставил совсем тонкий слой — прикрыл стеклом и сверху чуть-чуть замазал.

«Это стекло можно в любой момент разбить и чурку незаметно вынуть... Даже если слой цемента отсыплется, то и тогда видно не будет — не станут же на кладбище лазить под скамейку и смотреть, нет ли там золота!...»

Чтобы еще лучше было спрятано, по краям сиденья, снизу, сделал ребра, как будто для украшения.

Нанял грузовик и сам отвез эту скамейку на кладбище. При нем же установил каменщик.

«Однако дальше я так прятать не буду — второго такого места не найдешь».

* * *

С Ириной кончилось.

Поссорились из-за денег. Собственно не поссорились, никакого сказанного разрыва не было — дал ей столько, сколько она просила, но решил больше не встречаться.

Опять было одиноко. Хотя не так, как раньше. Много читал. Выписывал книги, старался читать систематично. Но вдруг вставал вопрос:

«А зачем?.. Копишь знания, а придет смерть, ничего не останется... Даже никому не передашь...»

Всетаки почти все время проводил за книгами.

«Самый процесс приобретения знаний, самое знание — улучшает жизнь. Дает духовное наслаждение... Это самое лучшее, что есть у человека».

Одна книга совсем неожиданно, совсем странно, принесла вдруг подъем. Прочел в книге «Волшебные травы» (купил ее без определенной цели, просто любил такие книги — «А это разве не цель?!)», что недавно выяснено странное действие спорыньи. У людей, евших спорынью, не сразу, а через некоторое время, делаются на ногах язвы, и даже может дойти до гангрены!...

В детстве, в деревне, он ел спорынью. Никто не остановил, никто не сказал, что это яд. А потом, через несколько месяцев, на правой ноге появились

язвы, ничем нельзя было залечить. Сколько раз осматривал гимназический врач, давал разные пластыри и мази, но ничто не помогало. Болело и болело, гноилось... А мать качала головой и плакала, и что-то трагическое чувствовалось в этих слезах. Что-то недоговоренное... Года два были эти язвы и ничего нельзя было с ними сделать — потом еще лет двадцать на этих местах оставались черные пятна...

Почему-то очень обрадовался, что наконец узнал, в чем дело.

«Оказывается от спорыньи!..»

Кроме радости в самом узнавании, как всегда, было еще что-то — и очень важное: рассеялось какое-то жуткое сомненье, жившее столько лет.

«Отчего молодым умер отец? Никто не знал... Мать на все расспросы качала головой и плакала... Наконец то! Ушло еще одно мрачное облачко прошлого. Может быть, зловещая туча... Жизнь хороша такая, какая она есть. Она одна и надо любить ее. «Не оставляй не сказанным нежного слова», — вспомнил уже не в первый раз английского поэта».

* * *

Неотступно думал о женщине. И о любовнице, и о друге.

«Надо найти и жениться. Жениться необходимо для того, чтобы ее положение не было двусмысленным. Иначе это мучительно. Портит отношения... Она обижается там, где не было никакой обиды, нервничает и все сказывается потом и на обоих... Трудно создавать знакомства — многие еще смотрят косо. Да они и правы... Но где ее найти?.. Особенно трудно здесь, в Берлине, в самом распущенном городе мира...»

* * *

«Она должна быть русская... Должна быть русская из-за русского языка... Мне не нужны русские

часовенки с березками. Русские песни наводят на меня тоску. Я не люблю печальных русских степей. Меня связывает с русскими и с Россией язык, только язык, но это «только» громадно... Когда люди говорят о любимой родине, они думают, что им особенно дорог тот пыльный городишко, где они родились. Тот неубранный, затоптанный скверик, где они играли... или тот соседский забор, по которому лазили... Или та речка, на которой когда-то катались в лодке... Совсем не это — важен родной язык и близкие люди... У меня нет близких. Всегда было мало, а теперь нет никого, нигде... Можно знать несколько языков, но только один остается родным. Только на нем говорит душа... Она должна быть русской!.. Но здешние русские прошли через муки революции, с истрепанными нервами. Иные очерствели и стали циничны... А если не очерствели, то пессимисты, ноющие, махнувшие рукой... Девушки слишком много видели. Их огрубили лишения и превратности. У них не было сказок — сразу начали с анатомии...»

* * *

Неожиданно получил письмо из Сербии от баронессы Марианны. Уже десять лет не слышал о ней. Она откуда-то узнала адрес.

Писала подробно, большое письмо.

...Она бурно влюбилась, предстоял разрыв с мужем, но мужа как раз убили на войне... Впервые в ней заговорило чувство женщины и «несколько месяцев прошли как волшебная сказка, несмотря даже на лишения....»

«Вы были правы, что это придет» — писала она.

...Но любимый был тоже убит в гражданской войне. Она безутешно горевала. Хотела броситься под поезд. Пошла сестрой милосердия. Отдалась тяжелой работе в лазаретах... Постепенно двигалась на юг с белыми отрядами и наконец через Галлиполи, Крит и еще какие-то странные места попала в Сербию. Здесь,

в маленьком городке, сделалась начальницей института для русских «благородных девиц...»

* * *

Баронесса писала слово «благородных» без ковычек, но их мысленно добавил Арсений. Марианна была смолянкой и теперь в своем бедненьком институте старалась восстановить традиции Смольного!

«Отдаю все силы на то, чтобы воспитывать русских тургеневских девушек», — писала она.

Арсению показались смешными эти старо-дворянские устои в теперешней обстановке. Наивно звучали слова «тургеневские девушки».

Но прочел письмо еще и еще раз. Положил его уже в дальний ящик стола, где хранились письма. Но опять достал и опять прочел... Его потянуло посмотреть этот институт. Баронесса звала его приехать.

«Очевидно, думает получить у меня пожертвование. Хочет узнать, есть ли у меня теперь средства? Если напишу, что нет, перестанет звать... А может быть и другое?..»

Смешны были тургеневские девушки из русских беженок. Но все росло желанье поехать в Сербию. Все прежние ценности давно были переоценены. Но оставалось это «отсталое» стремление к чистой девушке. Желанье все наростало от встреч со здешними, изломанными и искусственными как бумажные цветы. Они годились, как любовницы, на несколько дней, но не подходили в жены. Никому не признался бы в этой своей «отсталости», но про себя все больше укреплялся в ней...

Как-то утром за чашкой кофе и газетой, вдруг окончательно решил, что едет. Встал, ударил рукой по столу:

«Поеду!..»

* * *

За свою жизнь Арсений много ездил. Во много раз больше того, что обычно ездили русские.

«Даже больше, чем средний англичанин», — думал он иногда о себе.

Ездил не только теперь, когда миллион русских выгнала из России революция и они стали скитаться по свету поневоле. Ездил много и раньше. Но всякий раз ехать не хотелось! Заставлял себя ехать. Была всегда неприятная мысль, что надо собираться, укладываться, спешить, бояться опоздать, хлопотать о хорошем месте в поезде, о гостинице... Приезжая раскладываться, потом опять укладываться. Не спать на своей постели с привычным будильником.

«Мне хочется иногда сочинить моему будильнику песенку. Вроде «Мой старый фрак» у Беранже... Старый, милый будильник, английской работы, еще из прежней, далекой уже жизни...»

Будильник мелодично и мягко отбивал четверти в два молоточка, быстро, но тихонько тикал — под него было уютно засыпать...

«В гостинице будут щелкать электрические часы и будешь каждый раз нервно ждать этого щелка... Тиканье моего будильника не раздражает, скорее убаюкивает... А в электрических часах капает каждую минуту острая металлическая капля. Она как будто тихая, но резкая и — главное, — что ее ждешь. Раздражает это ожиданье следующей капли... Вроде этого кукушка — милая весенняя птица, поэтическая — хотя и подлая по натуре! — она тоже раздражает, потому что всегда начинаешь считать, сколько раз она прокукует... Невольно считаешь, нельзя себе это запретить — и мало того, что считаешь, еще при этом что-то загадываешь и сам себе смешон...»

*
* *

«Как это владельцы больших гостиниц до сих пор не поняли, что у них неприятно жить из-за электрических часов?.. Я же помню, как полез на камин, снял

стекло в часах и хотел их как-нибудь испортить — но никак не мог, все равно они щелкали... Люди механизируют жизнь, болеют от этого, раньше умирают и думают, что в этой механизации культура... А машины съедают их душу. Отравляют их...»

«Какой утром будет кофе? Может быть, дадут холодные клейкие сливки, вместо горячего ароматного молока и нужно будет менять, а тем временем остынет кофе... Можно, понятно, сразу предупредить лакея, но надо помнить об этом — об этом и многом другом... Надо заполнять внимание этими пустяками, когда дома все в порядке, все заведено... И еще самое главное — всегда перед поездкой является какая-то неопределенная тревога... Что-то может случиться. Будут какие-то неожиданные неприятности. Вдруг опять на сцену появляется предок...»

* * *

Теперь были еще новые, неизбежные, уже реальные затруднения — паспорт, визы, границы.

Пришлось долго хлопотать. Кого-то просить. Кому-то платить. Для русских визы стали одним из важнейших вопросов в жизни. Русские разделились на два лагеря — белые и красные. Те государства, которые не пускали красных, в каждом белом тоже подозревали красного. А те, которые по договорам с советским правительством должны были пускать красных, старались не пускать ни тех, ни других.

«Люди сошли с ума... Целые государства сошли с ума... Но это скоро пройдет...»

Арсений как-то рассказывал знакомой барышне, что до войны паспортов не существовало. Что, переехавши русскую границу, можно было паспорт спрятать и ехать куда угодно, по всему миру... Барышня даже обиделась, что он считает ее такой наивной и рассказывает такие глупости!

* * *

Деньги все устроили. При новых порядках деньги были еще лучшим коррективом, чем раньше.

Выбрал лучший поезд, но и он оказался неудобным.

Взял с собой две серьезных книги, но стал читать английские детективные рассказы.

Сенсацией в газетах опять были слухи о новом падении франка...

«Если упадет франк, не удержится и английский фунт...»

«Может быть, завтра повалится и доллар? В чем держать деньги?..»

Ловил себя на том, что опять думает об этих проклятых деньгах и даже детективные рассказы не могут отвлечь от них. Они отодвигают даже мысль о цели поездки.

«Прочь это! Так и жизнь пройдет в этом рабстве... Буду жить еще скромнее. Займусь научной работой...»

* *
*

Пришли два кондуктора прощелкивать билеты. Вместе с билетами Арсений вытащил пачку денег, подал билеты и когда клал деньги обратно, нарочно небрежно, грубо смял их и сунул в бумажник.

«Было время когда я ласкал каждую бумажку, разглаживал ее и любовно складывал в пачку, чтобы все были в одну сторону и чтобы большие были снаружи, а маленькие внутри!.. Или в две пачки — в одну большие, а в другую маленькие... Мне доставляло удовольствие самое прикосновение к этим бумажкам, было приятное сознание, что их все больше и больше. Когда накопится большая пачка, нужно отвезти в банк... Настоящие богатые люди ведь вообще не носят денег в кармане — у них только маленькие чековые книжки и на ее листике можно написать любую сумму и банк уплатит...»

«Теперь я не хочу брать в руки эти грязные бумажонки, носителей заразы. Они как вампиры сосут душу, проклятые деньги... Я буду наблюдать теперь

за людьми, как они относятся к этим грязным бумажкам. Люди, у которых мысли в более высоких сферах, небрежно кладут бумажки в карман. А какой-нибудь банкир, любовно и аккуратно разглаживает десять крон. Для него это суть, главное. У него цель в самих этих бумажках и никаких других целей нет. Он на все смотрит с их точки зрения... Низменные души, ненужные люди, паразиты! Без вас мир был бы радостней...»

XVIII.

«ШМУЛЬ».

Три раза пришлось пересаживаться. На одной пересадке ждал несколько часов. Наконец, добрался до этого городка.

Дребезжащая таратайка повезла в гостиницу — вероятно, самую лучшую. С извозчиком трудно было сговориться — сербские слова, как будто близкие, оказались всетаки чужими.

В гостинице пахло прокислым умывальником и щами. Липкие мухи старательно засиживали стекла, скучно жужжа. Постельное белье пахло кислым...

Всетаки настроение было приподнятое — ожидание чего-то интересного.

Был десятый час вечера, но городок уже спал. Тихо, скучно, темно...

Спустился в ресторан — не хотелось быть одному.

«Теперь уже поздно ехать к баронессе».

Заказал какую-то еду и бутылку вина. Вино было дорогое и скверное.

«Там, где вино и сигары дороги и плохи, не умеют жить», — подумал, улыбаясь, и спросил сигару. Сигара

была еще дороже и еще хуже, чем вино. Кельнер удивился, что спрашивают сигару. Долго искали, пока нашли. Казалась, что и она засижена мухами и пахнет кислым.

* *
*

Кто-то сзади положил на плечо руку и хриплым баритоном сказал:

«Рад видеть!»

Арсений удивленно обернулся. Рядом стоял толстый человек с проседью, с круглым заплывшим лицом. Не знал кто это.

«Не узнаете?.. Барабанов!»

«Барабанов?!.. Ах, да, извините, не узнал...»

Вспомнил сразу... Званый вечер у Шервин, Барабанов, он же Шмуль, с Додо и князем Юрием... Тут же успел подумать:

«Как волшебно быстро проносится мысль. Секунда — и пробежали картины целых годов. Говорят, у тонущих пробегает в последний момент лента всей жизни —хотя научный опыт этого не подтверждает... Сколько лет я не видел Шмуля? Пятнадцать?... Нет, пожалуй, больше...»

«Как вы сюда попали? — забыл ваше имя и отчество».

«Шмуль».

Шмуль протянул руку и, не ожидая приглашения, присел за столик.

* *
*

«Каким образом вы здесь очутились?» — опять спросил Арсений.

«Только что хотел спросить вас об этом».

Опять быстро пронеслась мысль: «так отвечают шотландцы, вопросом на вопрос... и евреи» — и, не ответив, спросил сам:

«Что вы хотите выпить?»

«Крепкое».

Арсений заказал сразу коньяк и водку, какую-то закуску.

«Столько же пьете?»

«Столько! Сколько столько?..»

«Столько, сколько раньше».

«Здесь прежние нормы негодны. Еда неудовлетворительна, алкоголь уходит на калории, для настроения ничего не остается».

«Как здесь вообще живется?»

«Мрак! Водка паршивая».

Кельнер принес графин и бутылку и две самых больших рюмки. Он, видимо, хорошо знал клиента. Арсений засмеялся.

«И рюмки прежние?»

«Прежнего мало. Ушло. Потонуло. Доживаем... Где вы живете постоянно?»

«В Берлине».

«Скоро большевики кончатся? У вас знают там?.. Паршиво, надоело ждать».

«А вы уверены, что они кончатся?»

«Все равно нечего больше делать, как ждать конца большевиков или наследства».

«Чем вы тут живете?»

«Остатками хорошего настроения».

«Почему вы выбрали этот городишко?»

«Дешево. Много пьют. Нет денег на выезд в другой».

«Причины основательные...»

Арсению стало весело. Шмуль говорил с серьезным видом, как будто грубо, но за каждым словом чувствовался теплый юмор. С ним было приятно говорить. Он выпил две рюмки коньяку, потом две рюмки водки. Лицо просветлело. Арсений удивлялся — совсем не изменился, даже не постарел как будто за эти годы. Может быть, немного увеличились мешки под глазами.

«Заспиртовался человек... Странно — мрачная обстановка и как будто мрачный человек, и говорит о мраке, а мне с ним весело и приятно».

«Музыка есть у вас где-нибудь?»

«Сезон прошел. В марте были коты на крышах».

«Женщины интересные?»

«Красота! Две левых ноги у каждой».

Незаметно проговорили часа два. Из чеканных фраз Шмуля выяснилось, что он нигде не работает, ничего не делает, но как-то живет и сохраняет прежнее хорошее настроение, хотя все время говорит о мраке. За это настроение его всегда любили прежде — он приносил его с собой.

«Вероятно, любят и теперь...»

* * *

На следующий день Арсений встал рано, спросил кофе и местную газету. Кофе подали скверный, а местной газеты не существовало. Принесли вчерашнюю белградскую с запоздавшими телеграммами, которые он уже читал вчера.

К девяти часам утра, опять в такой же дребезжащей таратайке поехал в институт. И ехать было нечего — оказалось совсем близко. По входу мало было похоже на институт, но узнал по табличке. Черными буквами по белому, на двух языках — сербском и русском.

Обшарпанную дверь отворила воспитанница в черной пелеринке. Никаких швейцаров, видимо, не полагалось. С любопытством ее рассматривал. Бросились в глаза большие красные руки. Мужественное загорелое лицо, высокий лоб с заливами.

«Может быть, очень хорошо для профессора математики, но не подходит тургеневской девушке...»

Волосы сухие, ничем не примазанные и, хотя были гладко зачесаны, торчали отдельные сухие волоски.

«Как из матраца».

Стоптанные башмаки грубой работы на низком каблуке и она в них грузно и неловко ступала по лестнице, идя впереди.

«Две левых ноги» — вспомнил Шмуля. Вдруг показалась смешной и глупой вся затея — зачем он сюда

приехал? Особенно комично звучало «тургеневские девушки», и Арсений удерживался, чтобы не рассмеяться.

* * *

Баронесса встретила приветливо, как будто искренно обрадовалась.

«Почему бы ей и не обрадоваться — тут очевидно не особенно весело. И кроме того, вероятно, думает получить с меня деньги... Она ведь не знает, зачем я приехал. Скажу я ей или нет?»

«Какой вы милый, Арсений Павлович, что приехали! Я так рада... У нас сейчас последние занятия, кончаются сегодня в три часа. Приезжайте пожалуйста к чаю, к пяти... Институт я вам покажу завтра: надо приготовиться к встрече почетного гостя. Вы, надеюсь, несколько дней останетесь?»

«Ясно, что попросит пожертвовать», — подумал он.

Баронесса Марианна сильно изменилась. Если бы встретил ее где-нибудь в другом месте — не узнал бы. Не располнела, но осунулась, постарела, явилось какое-то озабоченное выражение, какого раньше никогда не было. Ушел и тот блеск глаз, который так ему нравился. Целуя руку, он заметил, что и у нее руки заработанные и тоже покраснели, а когда-то были такие холеные, красивые, хотя немножко и велики. Ему даже показалось, что от них пахнет супом, а всегда раньше был такой тонкий запах хороших духов...

Баронесса тоже заметила, что он обратил внимание на ее руки, и ей это было неприятно.

Поговорили несколько минут и он ушел. По дороге видел еще двух-трех воспитаниц, но не успел их рассмотреть.

* * *

Пошел бродить по городу.

Идти было некуда. Всего одна большая улица и несколько поперечных, немощеных. Не смотря на раннюю весну, уже все было покрыто пылью. Мухи облепили

булки в окне. Откуда-то пахло карболкой. Бродили собаки с опущенными хвостами, как будто их только что сильно избили. Гуляла по скверику коза — шерсть висела клочьями.

«Овец стригут, а коз?» — подумал он.

Среди улицы брели две свиньи.

«Нужно быть гением, погруженным в свои мысли, чтобы жить в таком городе... Нужно так уйти в свои мысли, чтобы варить часы и смотреть на яйцо, как это делал Ньютон, а иначе тут не выживешь... А вот живут же, и, может быть, им хорошо и они не знают другой жизни!.. Может быть, потому и хорошо, что не знают другой, и, может быть, вообще лучше поменьше знать? Нет, это во всяком случае неверно... Только Ксавье де Мэстр мог путешествовать по своей комнате — я не мог бы... Я не могу жить без культурных людей. Несмотря на весь свой эгоцентризм, я дня не могу провести один. Больше ли у меня эгоцентризма чем у других? Другие только не говорят, боятся что их осудят, а вернее вообще об этом не думают. Сами они не знают, какие они... Думающие люди редки... Я готов отрабатывать свое право жить, но оставьте мое «я» в покое... Я не комсомолец, которому можно внушать правила жизни — я хочу и буду жить так, как я решил, а не так, как кто-то предписывает, хотя бы этим кто-то были миллионные толпы... Хотя бы этим кто-то были величайшие авторитеты... Я сам себе авторитет...»

* * *

Вернулся в гостиницу.

Опять пошел в ресторан. Шмуля еще не было. Сел за столик, подошел хозяин — он немного говорил по французски. По сербски Арсений почти ничего не понимал, только отдельные слова. «Даже языком мы не связаны — какой абсурд панславизм, а из за него мы влезли в войну», — подумал он.

К хозяину подбежал мальчик лет пяти, худенький,

с длинными светлыми локонами, что-то спросил по сербски.

«Сейчас придет, детка», — ответил отец и пояснил, что это его сын и что он ждет всегда с нетерпением прихода Шмуля, очень его любит. Когда мальчик недавно был болен, Шмуль недели две просидел около его постели. Постоянно с ним играет, выдумывает для него всякие игры, читает ему книжки по сербски...

«Вообще этого человека здесь все любят», — добавил хозяин.

Мальчик с радостным восклицанием бросился к двери — пришел Шмуль. Шмуль поднял его на руки и поцеловал. Потом подошел к двум столикам, поздоровался. Его встречали с улыбкой. Видимо, были рады его встретить. Впрочем, все знали, что его тут непременно встретят — Шмуль бывал каждый день и утром, и вечером.

Сам Шмуль, здороваясь, не улыбался, а с мрачным видом протягивал руку, но за этой напускной мрачностью чувствовались готовый вырваться наружу юмор и сдерживаемая улыбка...

* * *

Арсений пригласил его за свой столик. Тоже обрадовался, что тот пришел — Шмуля недоставало.

«Я начинаю понимать вас, Шмуль — вы действительно живете философией хорошего настроения».

Налил ему большую рюмку коньяку. Шмуль выпил.

«Философия простая. Машине масло, человеку — алкоголь. Иначе скрипит. А может и совсем заклиниться, как поршень в немазаном моторе.. В общем мрак. Думал уже не поехать ли обратно к товарищам. Русская водка лучше и им тоже недостает хорошего настроения».

«У них зато энтузиазм. Он им дает хорошее настроение» — ответил Арсений, ожидая что скажет на это Шмуль. — «Они мир переворачивают».

«Перевернут — опять на прежний бок ляжет. Чело-

век хитер, говорит о большом, а хочет маленького», — сказал Шмуль, прищурился и улыбнулся одним глазом.

Он налил еще коньяку в другой большой стакан, поболтал, понюхал, прикушал и выпил залпом. Сморщился приятной морщинкой, не то крякнул, не то кашлянул:

«Маленькое счастье!» — сказал медленно, растягивая слово «маленькое».

«Почему маленькое?» — спросил в тон Арсений.

«Большого не существует».

* * *

Шмуль еще налил немножко, чокнулся с пустым стаканом Арсения, опять поболтал, понюхал, выпил и облизал губы.

«Вам дорогой дали».

Арсений вдруг передумал — решил спросить о баронессе.

«Вы знаете начальницу здешнего института?»

«Баронессу? — шалая баба. Сырыми яйцами питается, чтобы помолодеть».

Немножко помолчал и еще прибавил, подмигивая:

«Караулит своих...» — тут он вставил добродушное и необидное, но весьма неприличное слово. Арсений засмеялся — слово было смешное.

«У вас там, может быть, родственники?»

«Нет» — ответил Арсений.

Дальше Шмуль не любопытствовал. Это тоже была его черта — ни о чем не расспрашивать, раз сами не говорят. Обратное манере Арсения. Уже тогда в Петербурге он заметил эту черту Шмуля. Шмуль никогда тоже не передавал сплетен — через него люди не ссорились.

«Алкоголик... Забулдыга... Ни к чему не годный человек, а для него есть как раз место в жизни... Может быть, больше, чем для меня?» — думал Арсений.

Время прошло незаметно. Пора было ехать в институт. «Ехать нечего — совсем близко».

Пошел пешком.

XIX.

ЗОЯ.

На этот раз дверь отворила другая воспитанница. Тоже в неуклюжей черной пелеринке и таких же топорных ботинках.

Она приветливо улыбнулась и Арсений заметил, что у нее красивый рот. Несмотря на ботинки, она грациозно вбежала по лестнице. Вся ее фигурка и все движения были изящны, женственны. Руки он не успел рассмотреть, но «они тоже, наверное, небольшие и красивые...»

«Какая хорошенькая!» — чуть не сказал вслух. — «Неужели здесь много таких?! Первое впечатление было ошибочным...»

Баронесса была еще любезнее. Приоделась, иначе причесалась, даже руки как будто стали белее и меньше. Теперь она напоминала ту прежнюю баронессу. Но только напоминала. Прежнего задора и шика не было.

«А какая была шикарная женщина!.. Пошлое слово, но именно оно подходит — таких звали шикарными».

Теперь баронесса держалась совсем иначе. Точно передумала за эти часы и решила что-то. Собрала остатки светскости. Светскость была неможно смешна в этой обстановке. Она подходила тогда, прежде, в ароматном шелковом будуаре с букетиком ландышей, с тремя собачками, с фарфоровыми маркизами, с князем Иоанчиком... И всетаки Арсению было приятно, что она так подтянулась для него.

* * *

Пригласила пить чай. Стол был накрыт в большой соседней комнате. На столе стоял блестящий самовар.

«Это наше домашнее печенье, еще горячее. Должны непременно попробовать... У нас раз в неделю бывает урок кулинарии. Я ввела это новшество, хотя оно и

противно традициям Смольного... Тут мы изгнанники, живем в тяжелое время и даже, когда вернемся в родную землю — Бог даст скоро — вначале, пока все устроится, будет трудно жить. Все разорено и уничтожено этими негодяями... На все воля Бога и наши страдания только облагородят наши души — все к лучшему...»

Та воспитанница, которая встретила утром, сидела за самоваром и разливала чай. За столом было еще три других. Той хорошенькой, что отворила дверь, не было. Арсений искал ее глазами. Вдруг она появилась в дверях в белом передничке и стала разносить чашки. Баронесса удивилась:

«Откуда ты взяла этот передник?»

«Помните, мы шили для базара, госпожа начальница», — ответила воспитанница, делая книксен.

Баронесса хотела рассердиться за такую вольность, но, видимо, передумала:

«Зоя, наша самая большая проказница. Всегда что-нибудь набедокурит... Я тебя, Зоя, оставлю завтра без сладкого... У нас сладкое бывает только по воскресеньям».

Арсений опять подумал:

«Это она хочет подчеркнуть, что у них очень мало средств, чтобы я больше пожертвовал...»

Зоя сделала на момент печальное лицо, но потом улыбнулась — она не верила угрозе начальницы.

«Зоя Невзор... У нее и фамилия красивая и сама она хорошенькая, прелестные стихи пишет, но страшная проказница», — добавила баронесса, кладя гнев на милость.

* * *

Арсений рассматривал трех других. Плохо сложенные, с грубой загорелой кожей. Одна вся в рыже-красных веснушках. Все вроде той, которая разливала чай. Одна совсем безобразная — маленькая, сутулая, глядела исподлобья. Все сидели скромно, осторожно, чтобы не звенеть, мешали ложечкой сахар в чашке. От-

топыривали маленький пальчик. Взяли с круглого блюда по маленькому кусочку печенья. Оттопыренные пальчики были смешны.

«Как у Липочки...»

Зоя тоже села за стол, протянула руку за печеньем и Арсений внимательно следил, будет ли она так же смешно оттопыривать маленький пальчик. Но Зоя не оттопыривала...

«Это у нас единственная большая комната. Наш актовый зал, тут мы пьем чай только в торжественных случаях», — сказала баронесса. — «Обычно этого стола нет — тут у нас бывают уроки танцев. К сожалению, очень плохое пианино — кто-нибудь потом вам сыграет».

Она указала на старенькое, обшарпанное пианино между окон. На пианино стоял бокал с сухими цветами. Арсению это не понравилось.

«Как у вас испортился вкус, милая баронесса», — подумал он, — «раньше вы не поставили бы сухих цветов, лучше ничего... Не доставало поставить бумажные».

«Мы всё мечтаем об арфе. Дивный инструмент, он приносит с собой волшебные сказки. Он связал бы нас с прошлым, с былым Смольным... Смольный воскреснет и как радостно будет тогда вспоминать о трудных днях, пережитых здесь... Смольный не умирал, мы сохраняем преемственность и передадим ее новому, еще более прекрасному, чем был когда-то, и мои милые девочки будут там почетными гостями. И одна из них, может быть, будет начальницей...»

Были смешны слова баронессы:

«Неужели она в это верит?.. Вероятно, не верит, только ломается, играет передо мной и воспитанницами... А впрочем, кто знает: мы, эмигранты, поневоле наивны...»

«Разве эти девицы, выросшие в лишениях, по чужим квартирам и меблированным комнатам, эта мизерная обстановка, эти оттопыренные пальчики без гу-

вернанток и она сама, баронесса, пришибленная жизнью — разве тут есть что-нибудь общее с прежним Смольным?...»

* * *

Арсений только сейчас заметил, что на стене висел большой портрет императрицы Марии Федоровны. Еще один стоял в вышитой рамке на пианино, и третий в углу на столе. В другом висели три иконы, целая божница — перед каждой иконой лампадка.

«А где-ж остальные воспитанницы? Может быть среди них есть еще лучше, чем Зоя Невзор?.. Какое красивое имя и фамилия! Как много значит имя и фамилия...»

Он вспомнил, как встретился как-то с хорошенькой барышней, фамилия которой оказалась — Уксусова, и сразу она стала смешной и даже глупой.

«Надо же выдумать такую фамилию — Уксусова!»

А еще недавно в Берлине он познакомился с хорошенькой еврейкой и оказалось, что ее фамилия — «Франт». Он представил себе, что вот он влюбился бы в эту девицу и решил бы на ней жениться и пришлось бы написать в объявлении о браке, что он женится на Розе Франт!

«Немыслимо!.. Люди привыкают к чему угодно. Кто-то дал им в насмешку такую фамилию, а они так и ходят с нею всю жизнь, точно оплеванные... Они не виноваты. Нет, виноваты: должны были требовать, чтоб им переменили. Должны были сделать, что угодно, но не оставаться с такой фамилией... Зоя Невзор — какое красивое имя!»

* * *

Зоя выпила чай и, все не снимая белого передничка, так шедшего к ней, стала убирать со стола. Передничек был с маленькими кармашками и кругом плиссированный.

«Совсем как из оперетки «Корневильские колокола»...»

«Зоя сегодня дежурная», — пояснила баронесса. — «У нас каждая старшая воспитанница дежурит пол-дня раз в неделю».

«Сколько всего воспитанниц?»

«Всего сорок две, а старших только девять... У нас в общежитии живут восемнадцать».

«А остальные?»

«Остальные приходящие, живут у родителей или у знакомых. У нас нет для всех помещения и не хватает средств».

«Это противно традициям Смольного», — пошутил Арсений.

«Что-ж делать — нужда у нас... Я вам покажу всех и малышей. В виде особого исключения я проведу вас по дортуарам, хотя по традициям Смольного никакой мужчина, даже государь император, не мог войти в дортуар института».

Баронесса деланно засмеялась. Теперь ей было самой смешно, что она сравнивает свой жалкий институт со Смольным.

* * *

«Туда отдавали дочерей аристократов или крупных чиновников, непременно дворян, холёных барышен, уже дома воспитанных француженками и англичанками. Изнеженных заботами о них с раннего детства... Оранжерейные цветы, голубая кровь... Красивым жестам и грациозным движениям они учились от своих старых бабушек и матерей. В них были особые черты, какие нельзя дать потом никаким образованием...»

Припоминался вдруг рассказ Фишкина о матросе и о какой-то дворянской барышне, в первые дни большевизма. «Герой революции», человек необычайной смелости, отчаянный, красавец, атлет с высоким коком и шапкой набекрень, с крупным бриллиантом на пальце, надушенный—и рядом с ним худенькая, анемичная

девушка с большими испуганными глазами и с длинными тонкими белыми пальцами. Дочь какого то аристократа, убитого во время переворота... Как с ней сошелся матрос? Может быть, он просто ее изнасиловал, но теперь она была в него влюблена. Он кипел животной страстью, не отпускал ее от себя ни на час. А она смотрела на него влюбленными глазами и сама не хотела уходить...

Фишкин спас его от расстрела. Матрос признался ему, что ее «голубая кровь дымится у него в объятиях и ее худенькое аристократическое тельце издает одуряющий аромат...» «В огонь и в воду за нее пойду, хошь смерть!.. Нет таких среди наших и быть не может, хошь она и классовый враг, но люблю ее до смерти»...

* * *

Хотя баронесса обещала показать дортуары только завтра, но после чаю пошли осматривать все помещения института. Все маленькое, жалкое, с запахом бедности. Младшие пили чай в маленькой столовой на некрашеных столах со скамейками.

«У бедности свой запах: многоношеного платья, блюд из капусты, пригорелого жира, дешевого душистого мыла... Как называется это химическое соединение, что мешают во всю дешевую парфюмерию? Кажется — бензол-дегид?...»

У двух старших воспитанниц болели зубы, а одна уехала хоронить своего отца: он бил камни где-то на постройке нового шоссе...

Черные пелеринки делали обстановку еще печальнее, несмотря на радостность молодости. Баронесса точно угадали его мысль:

«Черные пелеринки — траур по родине... Когда мы вернемся в Россию, немедленно изменим цвет... Какая это будет радость! Одна мысль о ней уже дает силы жить и терпеть...»

Баронесса посмотрела на воспитанниц, точно ища

у них подтверждения. Но им видимо, черные пелеринки не нравились.

«Завтра после литургии у нас будет молебен, благословение на дорогу и большая половина воспитанниц разъезжается».

«Разъезжается?»

«Да, я вам, кажется, ведь говорила, что сегодня были последние занятия. Уезжают на каникулы, у кого есть родственники.»

«А Зоя тоже?» — чуть не вырвалось у него, но удержался.

«Если она не уезжает, как встретиться с ней наедине? Говорить ли вообще об этом с баронессой?»

* * *

Баронесса вынула из шкафа тетрадку журнала и подала Арсению.

«Это наш журнал. Пока вышел один только номер, но материала у нас есть уже на несколько».

Журнал назывался «Пелеринки». На обложке у окна стоят несколько воспитанниц с начальницей и смотрят вдаль на московский кремль. Все надписи церковно-славянским шрифтом. На первой же странице оказалось стихотворение Зои Невзор.

Было неудобно на нем остановиться. Он спросил баронессу:

«Можно взять один номер?»

«Разумеется, не только один, а сколько хотите... Мы надеемся, что и вы что-нибудь напишете, как почетный гость, для нашего следующего номера.»

* * *

Когда шли обратно туда, где пили чай, Арсений немножко отстал и рядом с ним оказалась Зоя.

«Вы тоже завтра уезжаете?» — в полголоса спросил ее.

«Да», — нисколько не удивившись, точно ожидая этого вопроса, улыбаясь ответила Зоя. —

«Куда?»

«В Ниш.»

Дальше нельзя было говорить, близко подошла баронесса. Зоя сразу поняла, что этого разговора не должна слышать начальница.

«Какая она умненькая»,—подумал Арсений, и тут же мелькнуло другое:

«Но похоже, что у нее уже было вчера...»

Было уже ясно, что или Зоя или никто, ни одной другой, о которой можно было бы думать, здесь не было.

Баронесса показывала учебные пособия. Растрепанные, замусоленные книжки, лубочные картинки. Несколько географических карт на разных языках, с зачеркнутыми надписями. Разбитый и засиженный мухами глобус. Все было жалкое.

Зоя играла на пианино. Две других что-то спели. Арсению хотелось скорее уйти.

Баронесса пригласила его вечером — «поговорить вдвоем».

* * *

Идя вечером к ней, он не мог решить, будет ли говорить с ней о Зое.

«Надо же решить!» — но так и не решил, пока не позвонил у подъезда.

Открыла сама баронесса. Прошли в ее комнату. У нее была всего одна — тут же за ширмой стояла и кровать. Все уже спали. Электрическая лампа с белым колпаком, спускавшаяся с потолка посреди комнаты, была задрапирована розовым шелком.

«Этот шелк она навесила для меня» — подумал Арсений.

Баронесса была в другом платье — оно ей шло, в особенности в этом розовом освещении. В комнате пахло духами. На столе стоял букетик живых цветов. На другом бутылка ликера и чашки для кофе...

Сразу стало ясно:

«Говорить с ней о Зое нельзя...»

Нельзя ей сказать, зачем он сюда приехал: баронесса сама хочет возобновить былой флирт, тогда ничем не кончившийся. В ней проснулась женщина и теперь она готова на более серьезные шаги... Еще ни он, ни она ничего не сказали, прошло всего несколько секунд, но уже было ясно.

Он смотрел на нее и старался решить, есть ли у него влеченье к этой женщине? Интересен ли ему этот флирт и что из этого выйдет?..

Тогда, в былое время, она очень нравилась. Тогда бы он не задумался...

* * *

Баронесса усадила его рядом на диване. На полу лежала подушка и на нее она поставила свои ноги, немного большие, но красивые. Сразу направила разговор — он не ошибся:

«Помните моего маленького Тоя?»

«Понятно помню, где он?.. Вероятно, умер бедняжка?»

«Давно нет Тоя. Все мои милые собачки остались в Петербурге. Той умер еще до нашего отъезда... Помните, как он чуть не откусил вам нос?»

Баронесса задорно засмеялась. Арсений, понятно, помнил — тоже засмеялся... Вот так, как сейчас, они сидели в будуаре баронессы, тоже вдвоем на диване и у нее на коленях, свернувшись комочком, лежал маленький Той. Крохотный той-терьер... Он нагнулся к ее коленям, совсем низко, не заметил Тоя и вдруг тот проснулся, и с пронзительным визгом чуть не вцепился ему в нос!... Едва успел отдернуть лицо от ее колен... Сразу пропало все настроение... Был упущен момент, который, вероятно, тогда повел бы и к более интимной близости...

«Недаром теперь она вспомнила об этом... Но какая разница между прошлым и тем, что сейчас! Про-

пасть, которую уже ничем не засыпать... Нет, теперь она не моя героиня...»

Вспомнил, как утром от ее рук пахло супом. Он ничего не скажет ей о Зое... Он сделает вид, что не понимает ее настроения... Он будет с ней крайне почтителен, но будет говорить только об институтских делах...

* * *

«Вы отпускаете воспитанниц на четыре месяца и не знаете, в какой среде они будут жить. Как можно в таких условиях сохранить традиции Смольного?... Каждой воспитаннице Смольного предстояло радостное «завтра», но у них не было «вчера».

Баронесса поняла. Она, очевидно, сама не раз об этом думала.

«Почему вас так пугает «вчера»?» — недовольно спросила она. «Вы-ль это говорите, Арсений Павлович? Я никак не ожидала, что в вас до сих пор живет древний раскольник».

«Это не раскольничье, баронесса... Это защита поэзии жизни. В жизни сплошь фикции, но некоторые из них нужно беречь, иначе ничего не остается.»

Выходило так, что защитником традиций Смольного оказывался он, а не баронесса. В ней заговорило оскорбленное чувство женщины, она поняла, что ничего не выйдет. Никакой роман больше невозможен... Что было так легко тогда, стало невозможно теперь. Она понимала, что он нарочно перевел разговор, и ему тоже было ясно, что она именно это сейчас думает.

«Я не виноват, что ты состарилась, милая Марианна... Я не виноват, что у тебя нет и частицы прежнего шарма и от твоих рук пахнет супом...»

* * *

Разговор стал холодным. Он поддерживал его только из деликатности, хотел скорее уйти... Как он встретится с Зоей?

«Вероятно, на Ниш идет всего один поезд в день? Надо точно узнать и быть на вокзале с вещами. Если два поезда, я поеду к обоим. Выйдет просто и естественно — я тоже еду через Ниш и случайно встретились....»

Но вышло еще проще, чем он ожидал. Идя в гостиницу, стал доставать из кармана пальто носовой платок и сверху оказался клочек бумаги. На нем карандашом было написано:

«Поезд на Ниш отходит в 1.25 дня».

XX.

В ПОЕЗДЕ.

Сидя в купэ, Арсений смотрел на платформу, когда пройдет Зоя.

«Может быть, ее провожают? Тогда лучше, чтобы меня не видели...»

Но Зоя появилась одна. Он узнал ее издали по походке, даже по звуку походки — она немного шаркала подошвами по асфальту платформы. Он заметил это шарканье еще вчера в институте. У другой это показалось бы смешно, но у Зои выходило как-то особенно женственно и ему нравилось. Нравилась Зоя...

Зоя прошли мимо его вагона — сзади носильщик нес вещи. Она смотрела в окна вагонов, но он нарочно отклонился от окна. Она точно выросла со вчерашнего дня, стала еще стройней.

«Да!.. Башмачки на высоких каблуках... Откуда она успела взять их?.. Может быть, еще кто-нибудь придет провожать, подожду итти к ней в вагон», — решил он.

* *
*

Он больше не жалел о поездке сюда. Стоило ехать из-за одной Зои.

«Но в жены она, вероятно, не годится»...

Но еще сомневался — она ему нравилась.

Поезд тронулся.

Сейчас же пошел искать ее. Пришлось переходить из вагона в вагон по открытым площадкам. На одной кондуктор косо посмотрел, но он показал ему билет первого класса и тот вежливо козырнул и сказал по сербски, что билеты придет проверять другой. Арсений понял, потому что ожидал именно такой фразы. Был доволен тем, что понял по сербски. Сейчас всем был доволен — все кругом улыбалось...

«Сексуальность правит миром», — вспомнил свою когда-то любимую фразу. — «Пошло!.. Почему пошло?.. Мы такие, какие есть... и что чище влеченья к женщине?..»

* * *

Зоя сидела в третьем классе. В купэ было еще несколько человек. Двое мужчин, один военный, услужливо укладывали ее вещи на верхние сетки. Она, раскрасневшаяся, оживленная, видимо им нравилась. Нравилась даже женщинам, сидящим в купэ, — те смотрели на нее с улыбкой.

Он поздоровался. Она нисколько не удивилась, не скрыла, что обрадовалась, что ожидала его.

«Как умно, что она не разыгрывает удивленья — другая бы на ее месте непременно ломала комедию».

Он сел около нее — другие вежливо потеснились. Сказали несколько фраз, что-то незначущее. Он предложил ей пойти в его купэ.

«Как же? У меня билет третьего класса?..»

«Ничего, все устроим».

Зоя сразу согласилась. Ее вещи пока остались здесь. Только пришли в купэ, явилось два кондуктора проверять билеты. Арсений вышел в коридор и сказал, что доплатит за билет Зои, чтобы ее вещи принесли сюда. Дал им на чай...

Все было предупредительно выполнено.

«А здесь определенно лучше!.. Я никогда не ездила в первом классе», — заявила Зоя. Лукаво улыбнувшись, добавила:

«Насколько я поняла, вы близкий друг нашей начальницы и, вероятно, она не сердилась бы на меня за то, что я вас слушаюсь... Неправда-ли?..»

«Опять хорошо!» — подумал Арсений. — «Не ломается, как другие... Где ж ей было ездить в первом классе?.. Отец, может быть, действительный статский советник, бьет теперь на шоссе камни, как у той, что умер... Я расспрошу у нее о родителях потом, когда она больше привыкнет ко мне... Этой дружбой с баронессой она меня однако очень обязывает. Но это так и есть — она имеет основание относиться ко мне с доверием, ведь это же не знакомство в кино или кафэ, как знакомятся теперешние барышни... Да, это меня обязывает. Хитрая она, милая девочка...»

* *
*

Зоя быстро устроилась. Сняла шляпку и жакет и осталась в белой блузке с синим бантиком. На шляпе была такая же синяя ленточка.

Эта белая блузочка с синим бантом напомнила почему-то одного давнишнего великосветского знакомого. Он рассказывал, что, когда в первый раз встретился со своей женой, на ней была белая блузка с синим бантиком и это так ему понравилось, что он тут же в нее влюбился...

«Когда вы это успели?» — шутливо спросил Арсений, указывая на ее прическу и руки.

«Что успела?»

«Завить волосы и наманикюрить ногти... Напрасно только сделали такие красные».

«А разве нехорошо розовые?» — удивилась Зоя, нисколько не обижаясь на замечание.

«Мне не нравятся накрашенные ногти — это вульгарно и некрасиво. Что-то магометанское, гаремное...»

Зоя вытянула пальцы, посмотрела на них, колеблясь будто, и стала носовым платком стирать розовый лак.

«Какие красивые руки»...

Лак все равно не стирался. Но было так детски мило.

* * *

«Знаете, как это было?! Волосы я завила на ночь холодным способом. Знаете, такими мягкими шпильками, а чтобы утром было незаметно, я заплела две косички и обложила голову... Начальница спросила, почему это я сделала новую прическу, но не заметила, что завито.. Хи-хи-хи...»

Зоя засмеялась тихонько, точно чтобы не услышала начальница, но смех был искренний, заразительный. И он показался Арсению каким-то особенным, не таким, как у других. От него было весело.

«Я уже перед самым отъездом, когда надевала шляпку, переложила косички, как сейчас... Так ведь лучше?»

«Разумеется, лучше», — сказал Арсений, — «хотя гладенькое было еще стильней для вас. Вы же знаете, что вы еще девочка и при этом хорошенькая».

«Уж и хорошенькая!.. Может быть, только в сравнении с нашими другими, они у нас на подбор, неправда-ли?.. Хи-хи-хи... Одна есть маленькая, вы не видели — та будет красавица. Только очень глупенькая... А ногти я полировала в кровати, пока все еще спали. Потом всё прятала руки... А когда прощалась с начальницей, я не за руку, а бросилась ее прямо обнимать и даже заплакала... Не подумайте, я не нарочно заплакала — мы ее действительно любим. Она неможно странная и взбалмошная, но очень, очень добрая...»

* * *

Он не сводил с нее глаз. Она казалась таким милым ребенком.

«Где вы научились так хорошо причесываться?»

«Я не знаю... дома», — ответила она, запинаясь, и в этом «не знаю» и «дома» почувствовалось что-то недоговоренное.

«Вы еще не сказали мне, куда вы едете. К родителям, понятно?»

«Да, к маме... Бедный папочка умер уже три года тому назад... Бедный папочка, ему было так тяжело...»

Она остановилась.

«Мама служит экономкой в имении... Бедный папочка», — опять повторила она и у нее навернулись слезы.

Теплое ласковое чувство охватило Арсения.

Но и из того, как она сказала «бедный папочка», и из этих слез проглянула какая-то драма.

Ее маленький носик нервно вздрагивал и верхняя яркая губа, всегда немножко приподнятая, приподнялась еще больше и совсем открыла ровные красивые зубы.

«Даже ни одной коронки, — они так безобразят», — подумал он, — «и губы естественно красные, ничуть не подмазанные».

И тут же пришло другое:

«Что я рассматриваю ее, как товар, это пошло. Почему пошло? Она мне искренно нравится, я ведь ни в чем не хочу ее обмануть... Она нравится мне не только за ее внешность — она вся милая и радостная. Разве плохо, что нравится красивое — так и должно быть... Но тут какая-то драма...»

Решил не расспрашивать пока дальше — потом. И почему он предполагает, что у нее какое-то «вчера, какая-то драма»: она откровенная, прямая девушка, совсем еще ребенок... И почему он думает только о своем решении, а может быть, она влюблена в своего кузена и они только ждут окончания института, чтобы повенчаться, и его предложение показалось бы ей только смешным... Он на тридцать лет старше ее...

* * *

В поезде вагон-ресторана не было, но стояли пятнадцать минут на большой станции и тут был буфет. Пошли туда. Наскоро что-то съели и выпили бутылку вина.

Он выпил больше, но и Зоя не отказывалась. Когда он спросил, какого вина она хочет — белого или красного, Зоя ответила, не колеблясь, сразу:

«Красного».

С собой в вагон взяли две бутылки лимонаду и пол-бутылки коньяку. Купил два стакана.

Он открыл лимонад, розлил по стаканам и добавил коньяку. Зоя опять не возражала. Ему это показалось странным. Он ожидал, что она будет отказываться от коньяку.

«И так уверенно сказала: красного!»

От вина и коньяку она раскраснелась. Стала еще интереснее.

«Ваша мама живет в Нише?»

«Не в самом Нише, около Ниша... в тридцати километрах... в имении».

«Как же вы туда поедете?»

«Я не знаю... может быть, я найму лошадь или автомобиль, а может быть, мамочка за мной вышлет кого нибудь из имения».

«Она знает уже, что вы сегодня приедете?»

«Нет, я ей скажу по телефону... Имение соединено телефоном с городом».

* * *

Выпили и вторую бутылку лимонаду с коньяком. Зоя немного опьянела.

«Я до сих пор не знаю вашего отчества».

«Зоя Валентиновна, но вы зовите меня Зоей... Ведь вы же друг нашей начальницы!» — улыбаясь добавила она.

«Поразительная девушка», — подумал Арсений. — «Живя в институте, она ведь не пила вина, откуда

же такая тренировка?.. Да, у нее было «вчера»... Какое? Что?...»

«Кто был ваш отец, Зоя? Что с ним случилось?»

Зоя не сразу ответила.

«Мой отец был директором гимназии... Мы с мамочкой эвакуировались из Крыма, а он остался еще в России, его задержали большевики. Мы целых полтора года жили без него в Константинополе...»

«В Константинополе?! Что вы там делали?!»

Зоя опять остановилась, точно в нерешимости говорить ли все.

«Это драма — не спрашивайте...»

Но сама продолжала.

«Мы приехали в Константинополь совсем без денег. У мамы было только одно кольцо... спрятано было. Его продали и на это жили, а потом совсем остались на улице. Мама искала все время работы и ничего не могла найти. Она хорошо играет на рояле и ее наконец взяли тапершей в ночной ресторанчик... Я тоже там бывала с ней, потому что мне нельзя было оставаться дома. Мы нанимали маленькую комнатку, а рядом жили какие-то пьяные турки и я боялась оставаться одна... Я сидела с мамочкой в ресторане и это было ужасно!.. Ко мне приставали мужчины, тоже пьяные, и один раз вышел большой скандал, так что вмешалась полиция... Мамочку уволили, наняли вместо нее тапера и нам нечего было есть... Мамочка опять пошла в этот ресторанчик просить, чтобы ее взяли обратно, но они сказали, что им ненужно, а что если она хочет участвовать со мной в живых картинах, тогда они дадут нам заработок. Мамочка долго плакала, потом согласилась...»

Зоя остановилась и заплакала.

* *
*

Уже все было ясно. Дальше можно было не распрашивать. Предположения были верны — Зоя прошла через многое.

«Но насколько?.. Она все расскажет».

Еще полчаса тому назад он считал, что даже не вправе поцеловать эту девушку? Еще полчаса назад он сомневался, могла ли бы она быть его женой?.. И все вдруг оборвалось, стало смешно. Смешно и печально.

«Почему это должно быть запрещено мне, если она уже прошла через руки каких-то пьяных турок?.. Это к ней не прилипло, она осталась тем же ребенком?.. Нет, след остается, остался... Вот откуда готовность встретиться... Прическа, вино... Она очевидно и там пила уже не мало...»

Невольно чуть-чуть другим голосом, уже не таким теплым, точно она его обидела, Арсений спросил:

«Что они делали там с вами, милая девочка?»

«Не спрашивайте...»

«Всетаки лучше расскажите... Вы показывались на сцене голая?»

«Не совсем голая, в газе...»

«А потом?»

«Потом они требовали, чтобы я пила с ними в кабинетах... Мы вместе с мамой должны были итти туда. Мама незаметно выливала в диван мой бокал, но всетаки мне приходилось иногда пить... Один раз со мной было так дурно, что я ничего не помнила потом...»

«Сколько же вам было тогда лет?» — перебил он ее.

«Пятнадцать».

* * *

«Зачем она рассказала мне? Это неумно... легкомысленно, детски наивно... Все сразу испортила. Разве другие все рассказывают?!.. Да, наивно, но именно в этой наивности ее прелесть, непосредственность... Как часто я сам хотел быть менее серьезным и рассудительным!.. Это так трудно в мои годы. Да еще с такими предками и воспитанием... И почему это глупо? Я все равно узнал бы потом и был бы обман, и она потеряла бы все обаяние... Но как это ужасно! Как ужасно скла-

дывается теперь жизнь русских, вырванных из своей земли...»

Зоя сидела смущенная, как будто она понимала, что сказала слишком много. Арсению даже показалось, что она вопросительно смотрит на него и хочет угадать его мысли. Он подвинулся к ней ближе, взял ее руку и поцеловал. Она в первый момент инстинктивно хотела ее отдернуть, но не отдернула.

«Так ей целовали руки пьяные паршивые турки и греки, и она их отдергивала, и у нее это вошло в привычку... Как ужасно! такая прелестная девушка должна была пройти через такую грязь...»

* * *

Может быть, чтобы нарушить неловкое молчание, Зоя стала снимать с сетки чемодан — что-то понадобилось ей из него. Помогая ей, стоя около нее, Арсений невольно обнял ее сзади правой рукой, чтобы перехватить чемодан. Он коснулся чуть-чуть через блузку ее груди и левая рука тоже на момент прикоснулась к ней, он точно обнял упругое молодое тело и приятная, острая дрожь пробежала по нем. Была секунда, когда ему захотелось не отнять руки и плотнее охватить ее, поцеловать, задержать в объятии...

Но это была секунда. Он отстранился, положил чемодан на диван и улыбнулся вдруг пробежавшей мысли. Вспомнил старого генерала, своего приятеля. У генерала была молодая жена и, когда речь заходила о танцах, он всегда говорил:

«Если уж необходимо, танцуй с моей женой, но не смей, негодяй, руками трогать».

«Как же, ваше превосходительство, можно танцовать и руками не трогать?» — смеялся Арсений.

«А так вот! Не смей, а то по морде получишь».

Зоя заметила, что он улыбается, и подумала, вероятно, что он думает о ней что-то смешное. Может быть представляет себе, как она обнаженная выступает на сцене?.. Подумала ли она так или нет, но он пред-

положил так и в этот же момент решил сказать ей, отчего он улыбается и вывести ее из неловкого положения. Он рассказал ей об этом генерале и даже добавил, что вот он сейчас подумал об этом, когда дотронулся случайно до ее груди...

Зоя покраснела, но сейчас же весело засмеялась. Опять своим детским заразительным смехом.

* * *

«Зачем все это с ней было?» — вернулась мысль. — «Зачем?! Ведь даже, если ничего не было дальше — хотя вероятно было — она, как жена, для меня больше не существует. Это немыслимо... «В вас говорит голос старого раскольника», — вспомнил слова баронессы. — «Может быть, не знаю, но только это невозможно. И какой я смешной!.. Стыдно было бы рассказать другому мужчине. В пятьдесят почти лет застенчивость гимназиста пятого класса. В восьмом классе так теперь уже не смущаются... Все это гораздо проще, чем я рисую себе, и для нее вероятно просто — сколько раз ее обнимали мужчины... Вероятно?.. Наверное...»

И опять вспомнилось другое.

«...В Петербурге была очень милая дама, жена титулованного чиновника. Муж по происхождению и по положению принадлежал к «высшему обществу», но на жену все косились. Кто-то узнал, что в молодости где-то, не то в Бухаресте, не то в Будапеште, она плавала на сцене в аквариуме! И все звали ее в Петербурге за глаза «женщина-рыба». «Ах, графиня такая-то... эта «женщина-рыба»... К ней это прилипло навсегда, ее вычеркнули из списка дам, приглашаемых ко двору... Для мужа это была драма — он знал об этой кличке... Всё давно прошло, ничего не осталось плохого от этого плаванья в аквариуме, но это прилипло к ней на всю жизнь, этого никак уже нельзя было изжить... Предрассудки ли это? Заблуждение, глупость?.. Ложь современного строя? Кто знает?.. Если даже ничего

больше с Зоей не было, разве можно сделать ее своей женой, а потом вечно бояться, что встретится какой-нибудь паршивый левантинец и узнает ее?! Ту, которая голой выступала в ночном кабачке Галаты...»

Была уже уверенность, что она не девушка. Что она прошла через руки многих мужчин... И рядом с этой уверенностью оставалось сомнение и хотелось, чтобы он ошибся — но он боялся ее об этом спросить.

«...И как спросить?.. Так, прямо? Какое он имеет право на это? При таком прямом вопросе она, понятно, не скажет правды. Сделала бы глупо, если бы сказала... А может быть, скажет? Она ведь отвечала на все вопросы, которые я ей задавал... Что делать с Зоей дальше?»

* * *

Рисовалось совершенно ясно.

Он уговорит ее остаться на день в Нише — все равно мать не знает, что она приехала. Они заедут в лучшую гостиницу, остановятся в разных, понятно, комнатах. Вечером пойдут в какой-нибудь театр, если он существует в Нише, или в кино, и потом будут ужинать, пить шампанское, он еще предварительно предложит ей выпить коньяку, и потом еще, может быть, рюмку ликера... Это так просто! так обыкновенно!.. Можно нарочно заказать соленую закуску, чтобы после нее была жажда и тогда она больше выпьет шампанского и, понятно, в конце концов опьянеет и тогда можно будет с ней сделать, что угодно...»

«Да, но ведь так поступил бы Гришка!.. И в этом ли прелесть сексуальности, о которой я так много всегда думал? Так поступил бы каждый коммивояжер — это пошло и даже неинтересно. И подло... Хотя почему подло, если она прошла уже через столько рук? Не все ли равно ей?.. Я ей оставлю денег за это. Потом еще пришлю. Ей очень нужны деньги... Нет, нет, я так не поступлю. Не поступлю не потому, что

меня сдерживают какие-нибудь моральные правила, а потому что это неинтересно. Именно в том джентльмэнство, чтобы так не поступать. Но одно ли джентльмэнство говорит во мне?.. Нет ли тут другого, подленькой мысли? Да, есть — не надо прятаться от самого себя. Ниш маленький городишко, тут это могут заметить, она институтка, может быть мать ее уже ждет, может быть баронесса дала ей уже знать... Может быть в гостинице окажется кто-либо из знакомых ее матери или из этого имения и потом расскажут... В каком я буду положении?.. Возможно и самое худушее: — вдруг нас накроет мать, может получиться шантажная история, скандал. Будут требовать, чтоб на ней женился... Может быть, даже сама Зоя это подстраивает?..»

«Нет, нет — это невозможно! Зоя не может этого сделать... Дело не в этом, главное не в этом... При известной осторожности можно избежать таких встреч. Дело не в этом... Но я не поступлю так с Зоей потому, что это не интересно. Если это будет, то будет иначе... И это будет. Но иначе...»

Решил окончательно.

* * *

Только тут он заметил, что просидел задумавшись довольно долго, может быть несколько минут, и что Зоя, откинувшись в угол, молча смотрит на него и, вероятно, удивляется, отчего он молчит, и не знает как нарушить эту паузу. Он ее смутил своим молчанием, ей неловко. Она уже раскаивается, что так много ему сказала...

«Вы не удивляйтесь, что я так задумался, Зоя. Со мной это иногда бывает — вдруг совсем уйду от настоящего. Я думал совсем о другом и вы были только косвенно в моих мыслях».

«Косвенно? Как это косвенно?.. Что вы обо мне думали?»

«Я думал, Зоя, поскольку это касалось вас, что вы милая и чистая девушка, несмотря на то, что жизнь заставила вас пройти через такую грязь».

«Вы хороший», — сказала она и потупилась.

«Нет, я не хороший, но я всегда хочу до конца разбираться в вещах».

«Другой на вашем месте думал бы иначе... Зачем я вам это все рассказала?.. Забудьте это».

«Забыть, Зоя, нельзя, и хорошо, что вы это рассказали. Потом я все равно мог бы узнать — и тогда было бы много хуже».

«Какой ужас!» — вдруг она взялась руками за голову, потом закрыла ими глаза. — «Вы подумайте, чем я виновата?»

Арсений опять поцеловал ее руку — на этот раз она и не пыталась отдергивать.

«Понятно, можно поцеловать ее и в лицо, но я этого не сделаю. Именно интереснее так оставить, как есть, и ничего больше».

Он вынул часы:

«Через час мы в Нише... Ведь вы понимаете, Зоя, что мне совсем не нужно было ехать в Ниш? Я хотел только встретиться с вами. Первым же поездом я еду обратно... Я буду в Берлине послезавтра. Вот мой адрес, а вы напишите мне свой, когда приедете к маме... И ваши планы на все каникулы. Если вам будет там скучно, нехорошо... и если вам захочется меня опять встретить, пришлите мне телеграмму. Я вам переведу деньги и вы приедете в Берлин. На сколько хотите, хоть на один день... Понятно, вы должны дать такой адрес, чтобы письмо не попало в руки мамы...»

Зоя ничего не ответила.

* * *

Когда уже подъезжали к Нишу, Арсений взял лежавшую на диване сумочку Зои, долго ее расматривал. Дешевенькая, поношенная. Не раскрывая внут-

ренний карманчик, где лежала пудра («откуда она успела взять пудру? — в институте же пудра не разрешается?»), он положил в сумочку скомканную бумажку в сто марок.

В Нише простились.

Его обратный поезд отходил через двадцать минут. Он опять поцеловал ей руку — только. Зоя тепло простилась. Несколько раз протягивала руку. Ушла, опять вернулась.

«Я хочу еще раз поблагодарить вас. Вы хороший... не такой, как другие».

Совсем уже ушла, но Арсений догнал ее и спросил:

«Приедете в Берлин?»

«Может быть... Вероятно... Мне так хотелось бы видеть Берлин».

Он задержал ее руку:

«Зоя, приезжайте...»

«Вы интересный человек», — сказала она, точно про себя, не отвечая прямо на его вопрос.

Он подумал: «Как хорошо, что она не сказала «мужчина», а «человек» — и громко ответил, просто, чтобы вызвать ее на новые фразы:

«Откуда вы знаете, что я интересный? Всего два дня, как мы с вами знакомы».

«Вы знаете, на что я сразу обратила внимание — у вас такие яркие красивые губы, я ни у кого не видала таких... Я ненавижу бледные губы... Я сразу это заметила, как только отворила вам дверь тогда... третьего дня... Потом мы о вас говорили с подругами и так вас и называли — этот господин с красными губами».

Носильщик пришел предупредить, что его поезд отходит.

Простились окончательно.

* * *

Арсений сел в свое купэ — других пассажиров не было. Вообще никого не было больше в первом классе.

Без Зои было пусто и неуютно. Он сожалел уже, что не остался с ней...

Хотелось с кем нибудь поговорить. Одному было тоскливо.

Заглянул во все купэ — только в одном сидел какой-то чиновник, вероятно железнодорожный. Прошел по другим вагонам — может быть, столкнется с кем нибудь? «Мужчина или женщина — все равно...»

Никого не нашлось.

«Почему я так поступил? Совсем по Эпикуру...»

Недавно он опять читал его — вернее о нем.

«Эпикур будто бы учил, что цель жизни — счастье, и счастье в наслажденьи, но настоящее счастье возможно только для тех, кто научился отказываться от наслаждений... Понятно, его переврали!.. Я не отказываюсь от Зои — наоборот. Я хочу только более утонченного, не гришкиного... Я буду ждать ее письма или телеграммы — в этом ожидании приятное волнение и подъем. В ее добровольном приезде ко мне будет гораздо больше остроты, чем было бы так... Может быть у нее тоже явится влечение, искреннее... взаимность? Так красивее, выше.. Человек должен жить не гришкиными кобельными приемами, он homo sapiens...»

* *
*

Остановился на этом — в сомнении, вдруг появившемся. Точно кто-то внутри повернул ручку и переключил на обратный ток.

«Должен?... Положим, я ничего не должен и никто предписывать мне способов поведения не может... И кроме того — это глупейшая, идиотская манера, удел неврастеников — откладывать в таких вопросах. Любовь и страсть не терпят перерыва... Кто это сказал? Может быть я сам, но я это знаю... Зоя когонибудь встретит, может быть этого своего кузена, за-

будет вообще о моем существовании. Я никогда ее больше не увижу. Она навсегда для меня потеряна... Старый дурак! Уже ведь был такой случай со мной... Даже два... Физическая близость с женщиной, хотя бы случайная, рождает потом и духовную близость, может перейти в долгое искреннее чувство. Активность одной стороны может вызвать созвучие там, где раньше его вовсе не было... Да, да... Нужно брать на себя инициативу, а не ждать ее с другой стороны. Нужно направлять жизнь своей волей, а не ждать каких-то чужих решений или случайностей...»

И опять кто-то повернул ручку, опять на прежний ток.

«Нет, пусть так поступают Гришки. Я хочу жить в несколько высшем плане — так возьмешь много больше от жизни...»

* * *

Подъезжали к большой станции, к той самой, на которой он обедал с Зоей.

Он не хотел выходить, только открыл окно. Смотрел на платформу, на суетящихся людей. Человек с каким-то значком прошел мимо вагона, заглядывая в окна и остановился около него. В руках он держал телеграмму.

«Не вы ли господин Аристархос?» — спросил он, протягивая желтый конвертик. — «Телеграмма для вас.»

Арсений не совсем понял, что он сказал, но догадался.

«Да, для меня.»

У него дрожали руки, когда он брал телеграмму. Теплая, приятная волна пробежала по телу.

«Понятно, от Зои...»

И рядом, что-то холодное:

«Неужели с нею что-нибудь случилось?!.. Понятно нет — иначе кто-же знал бы, куда телеграфировать. Это она расчитала по расписанию...»

Телеграмма была от Зои.

«Пассажиру первого класса Аристархос»
(телеграф перепутал фамилию):
«Сердечно благодарю хотя мне неловко сегодня целый день Нише завтра пришлют лошадь вероятно приеду Зоя.»

«Это о ста марках... Куда приеду? — в Берлин понятно... Она целый день в Нише. Как глупо, что я не остался. Нет — ведь я же это имел в виду. Я мог бы ее уговорить остаться и без этой случайности. Хорошо, что так вышло... Она приедет... Приедет...»

*
* *

Поезд уже быстро шел.

Арсений тихонько стал напевать в такт стуку вагонов — «при-е-дет... при-е-дет... при-е-дет...» Потом перешел на — «Зоя приедет... Зоя приедет... Зоя приедет...» — тоже выходило в такт стуку колес.

Улыбался, хотя не знал, что улыбается.

Если бы его увидел теперь кто-нибудь, то по первому взгляду счел бы его милым и симпатичным человеком из-за этой улыбки. Обычно он был насупленный, серьезный — это людей отпугивало. Он знал эту черту и, пока следил за собой, лицо его было добродушное, но как только задумывался, опять появлялась эта насупленность. Даже несколько раз перед зеркалом изучал выражение своего лица. Но мог контролировать его только, пока помнил об этом.

«Немного пьяный я симпатичнее людям», — думал он не раз. — «Чем я виноват, что мои предки были мрачные люди? Уже столько лет я сбрасываю их гнёт... Но ничего — еще немного и совсем сброшу...»

XXI.

ПРОПАСТЬ РАСШИРИЛАСЬ...

Только приехал домой, кто-то позвонил по телефону.

Арсений снял трубку и ожидал услышать чей угодно голос, но только не этот — говорил Фишкин. В последний раз он был, когда была еще Глаша.

«Можно к вам притти?» — спросил Фишкин, как будто он был только вчера, как будто за это время ничего не случилось.

«Я приехал бы к вам сегодня... Я уже звонил вам несколько дней тому назад... Вы где то за-городом теперь живете?»

«Пожалуйста, приезжайте... очень рад!»

Вечером Фишкин пришел точно в назначенный час. Позвонил, отдал прислуге два свертка и просил передать «барину.»

«От Мейер, Шмидт и Компания» — сказал он прислуге по немецки. А сам ушел.

Арсений ждал, что это звонок Фишкина, а вместо того прислуга принесла два свертка! Удивился. Вышел в переднюю и отворил опять дверь — никого! Уже хотел затворить, когда из за дерева вышел смеясь Фишкин...

* * *

В одном свертке был бархатный чертик — он высовывал язык, задирал хвост и хрюкал, когда его нажимали.

«Правда хорошенький терчик?» — сказал Фишкин и стал им хрюкать. Забавлялся как ребенок.

В другом свертке оказалась атласная коробка с конфетами — на крышке маркизы. Стояли три маркизы в кринолинах — две с высокими прическами, одна в высокой шляпе вроде цилиндра другой эпохи. Те, которые без шляп, держали в руках какой-то замысловатый герб...

«Зачем это вы?» — удивился Арсений.

«А так.. Маркизы и терчик... Разве плохие маркизы? Смотрите какие прически...»

Фишкин держался так, точно виделись несколько дней тому назад. А не лет...

* * *

Пошли в столовую ужинать.

Арсений поставил на стол бомбоньерку, а Фишкин посадил чертика на середину стола, прислонивши к бокалу с цветами. Опять несколько раз хрюкнул.

Острил, смеялся, каламбурил...

Арсений несколько привык к этому в прежние встречи, но забыл. Таким Фишкина и тогда не видал.

«И ни слова о Глаше? Как будто ее и не было...»

Подливал Фишкину коньяк — тот не отказывался. Потом перешли на шампанское.

Фишкин спросил совсем неожиданно; без всякой связи с тем, что говорилось:

«Вы как себя считаете — положительным типом или отрицательным?»

«Не знаю» — удивился Арсений. — «Может быть отрицательный, смотря кто будет судить».

Он хотел спросить — «а вы?», но остановился: всегда эта манера встречного вопроса казалась ему смешной, примитивной.

«Вот эти маркизы считали себя солью земли, потому что от них хорошо пахло».

Фишкин показал на бомбоньерку.

«Говорят некоторые из них спокойно и гордо шли на эшафот — это плюс».

«Отрицательный плюс» — как будто согласился Фишкин—«важно не как умирать, а за что умирать... Считаете ли вы, что каждый должен что то сделать для человечества?»

«Что это вы сегодня меня все экзаменуете? Не знаю... Хорошо, если сделает, но обязан ли — не знаю... И надо раньше условиться, что сделать хо-

рошо и что плохо. Вы вот думаете, что строите счастье человечества, а другие считают вас его злейшими врагами...»

* * *

Арсений решил, говорить не стесняясь.

«Пусть слушает, раз пришел... Теперь уже не из за Глаши — ее больше нет. Есть люди, которым нравится такой тон: острый соус, а не манная каша... И наконец мне все равно — нравится это Фишкину или нет».

Он продолжал:

«Вы полагаете, что строите рай, привязывая людей к машине, нивеллируя и опуская их вкусы. Стрижете под гребенку и запрятываете в казармы... А по мнению других от такой жизни лучше повеситься. А еще лучше повесить тех, кто такую жизнь хочет устроить...»

Фишкин не обиделся.

«А по вашему лучше маркизы?»

«Может быть?... Во всяком случае сильные индивидуальности, а не массовое производство массовых людей. Массы погубят культуру».

Фишкин потянул было руку к чертику, но остановился. К таким возражениям он, видимо, не привык.

«Смысл жизни должен быть или нет?» — добавил еще вопрос.

«Смысл жизни?... Солнечной энергии, вероятно, хватит на несколько биллионов лет. Но и через биллионы лет смысл жизни будет также неведом, как и сегодня. Сколько знал о цели жизни пещерный человек, ровно столько же знаем и мы.. Но если бы когда нибудь, через миллион лет, и узнали больше, то зачем это мне?!... Каким будет человечество через миллионы лет меня интересует только академически, как детективный рассказ...»

«Вот это правильно! Тогда жить свиньей — нажираться, напиваться и спать... Чего же лучше?!»

«Нет... это не лучше. Мы думающие животные. Возможных радостей у нас много больше, чем у свиньи, и самые сильные не в еде и сне.. и даже не в сексуальности... Духовный мир бесконечно интересен.»

Арсений выпил глоток шампанского. Посмотрел. как оно играет.

«Вот если хотите аллегория... Не экспромт — это я третьего дня в поезде придумал. Насыпано видимо-невидимо песку... семь верст длиной и семь шириной. Кем насыпано и зачем насыпано — неизвестно. И все еще насыпается... Песчинка — человек. Песчинки серенькие, песочного цвета, пыльного, и только очень немногие цветные, яркие — красные, синие... зеленые. Среди них гении, таланты, сильные характеры, завоеватели, страшные разбойники... Все, кто выделили собственную окраску. Они будоражат жизнь. Без них так и осталась бы сплошь серенькая гора, как скопление дождевых червяков или устриц... Чем собственно цветная лучше серенькой, и вообще зачем гора — тоже неизвестно. Но приятно быть этой цветной песчинкой — серенькие расступаются, дают ей дорогу, а она блестит, самой светлей от собственного блеска... Для этой песчинки важно только, что ей самой светлее и что расступаются, но это как раз совпадает и с общей красивостью...»

* * *

«Эти маркизы тоже так думали»—постучал Фишкин пальцем по бомбоньерке. «Тысяча рабов и одна маркиза. Очень весело маркизе...»

Пересадил чертика на другое место и погладил его.

«Маркизы вообще не занимались философией, потому с ними так легко и справились... С такими, как я, труднее».

«Только случайно вы ушли от расстрела».

«Я в случаи не верю... Но позвольте продолжить... Есть у людей великое слово — любовь! Любовь не только сексуальная — любовь к цветам, к людям, к

знанию, просто к процессу жизни. Вот эта любовь к процессу жизни и есть самое главное. Много знать, почти все забыть, осмотреться кругом и найти свое. Надо узнать и все кантовское, и гегелевское, и марксовское, и даже эйнштейновское, постараться понять до глубин. Потом стряхнуть с себя все, как ненужное, ибо ни Кант, ни Маркс, ничего изменить не могут... Свою жизнь они улучшили, когда рылись в глубинах мысли, потому что это одно из самых высоких наслаждений, рыться в глубинах...»

Арсений стукнул кулаком по столу.

«Вот! Руке больно и это, значит, реально — и рука, и стол, и вы, и я... Может быть нет ни руки, ни стола, ни нас с вами, все это только вихревое движение электронов и протонов? Может быть только сон, воображение, но что от этого меняется? Ничего!.. Только не дать остывать душе... Чем больше жизненный импульс, тем ярче жизнь, и для себя и для других»..

* * *

«Да-с... терчик, терчик, где ты был...» — Фишкин опять погладил его.

«Вы потеряли две трети жизни, гоняясь за деньгами. В социализованном обществе у вас этой необходимости не было бы и вы могли бы заняться чем нибудь более высоким, даже с вашей точки зрения...»

«В социализованном обществе я был просто номером 82.748.329... Был бы маленьким кусочком навоза, на котором вырастет когда то ваш химерический урожай... А две трети моей жизни не пропали зря — я наконец понял, что нужно делать в оставшуюся треть. Мне уже фокуса больше не покажут — мне уже объяснили как он делается...»

«Что же вы будете делать в оставшуюся треть?... Жить рапазитом, так сказать» — засмеялся Фишкин, коверкая слово «паразит».

«Наоборот. Очень много буду делать — буду думать! Может быть найду какой нибудь маленький

закон, улучшающий жизнь. Вы меня спрашивали, считаю ли я себя положительным типом или отрицательным? Я вот сейчас подумал: ни разу в жизни я не подходил к человеку со злым намерением — убить, ограбить, даже не дрался... Я хотел извлекать из людей пользу для себя, но я им тоже давал...»

* * *

«Вы знаете что такое по Марксу прибавочная стоимость?...»

«Вы Маркса канонизировали. Жалко, что не сохранили его мощей, как Ленина... Маркс парадоксалист. Последователь Тертуллиана — «абсурдно, поэтому несомненно»... Что такое диктатура пролетариата? Это первое место слабейшим и худшим. Пятерки наименее успевающим... Фонька Квас жил в Холмогорах безграмотной грязной свиньей, таким и остался до конца дней — он почетный пролетарий! А Мишка Ломонос ушел в Санкт-Петербург и стал, мерзавец, служить капиталистической науке... Понятно будущее за Фонькой Квасом! Он должен управлять миром, а не Михаил Ломоносов — credo quia absurdum est!.. Ведь классов, на которых вы строите весь марксизм, в действительности нет. «Король голый!...» Был когда то класс рабов, крепостных, но они давно освобождены. Даже в Абиссинии недавно освободили... Вы не заметили, что Маркс устарел...»

«Был привиллегированный класс дворян, но его тоже больше нет. Титулы маркизов, графов и герцогов чтутся кое-где и поныне, но они никаких привиллегий не дают. Разве что ставить короны на салфетках! Хотя кто и вам мешает—возьмите и поставьте!.. Впрочем у вас в СССР салфеток не полагается... Люди не равны, никогда не будут равны и в этом прелесть жизни...»

* * *

«Блестящее оправдание паразитического существования. Жить за счет работающих...»

«Важнее самой работы указать людям что надо работать... И главное — что не надо! Работать может каждый, а указывающих очень мало. Или указывают не то — как вы...»

«Вот как?... Так вы укажете?...»

«Может быть кое-что и укажу».

Фишкин взял конфету из бомбоньерки.

«У маркиза Гиза
И жена маркиза.
Жили они в Пизе
Без хлопоту о визе...

Ха-ха-ха!... Как дальше?.. Правда у меня поэтическое дарование? Это у меня с детства».

«Вы знаете что, товарищ Фишкин! Вы человек думающий и вам самому уже тошнехонько от вашей программы. Потому вы себя и стараетесь развлекать как будто паясничая, чтобы совсем не затосковать... По вашим законам я жить не буду. Я не хочу щепать спичку на четыре части, я не хочу стоять в очередях за куском хлеба или хвостом селедки. Я хочу пользоваться настоящей спичкой, такой какая есть у самого неквалифицированного английского рабочего. Я лучше буду добывать огонь трением в готтентотской деревне, чем создавать призраки будущего счастья в такой обстановочке, как у вас...»

«Кто это спички щепает?... Я не видал...»

«Очень жаль, что не видали... Это вот мой бывший профессор щепает в Москве, потому что ему за полгода удалось достать только одну коробочку... Я ведь до сих пор не знаю кто вы в государственном аппарате. Но судя по тому, что вы не боитесь общаться с такими одиозными людьми, как я, вы вероятно на большом посту?... Вам не приходится щепать спичек. Вероятно вы ездите в Москве на Рольс-Ройсе или Пакаре?... Я отнюдь не осуждаю вас за это—если бы вы часами терлись утром и вечером в трамваях, набитых поневоле-вонючими людьми, вы потеряли бы трудоспособность. Но где ваша идея равенства? Что оста-

ется от коммунизма?... Да и вообще, поймите! Счастье человечества совсем не такое, как вы его себе представляете даже в отдаленном будущем. Свести человеческое общество к муравейнику или к улью пчел, это по законам биологии движенье назад, а не вперед».

* * *

Фишкин опять побарабанил по крышке и сказал нараспев, как читают стихи современные поэты:

«Прекрасные маркизы
Маркизы-кизы-кизы.
Маркизы фрагонара
Фраго-фрагонара...

Неправда-ли похоже на Маяковского? Стихи Маяковского, музыка Чайковского...»

«Он нарочно ломается... А может быть и не нарочно? может быть мои слова и заронили сомнение?» — подумал Арсений.

«Ваши поэты поют про ударников и колхозы. Вы их заставили — иначе не даете пайка... Поют про ударника Ваську Уксусова... Он сидит восемнадцать часов в неостывшем еще котле и в ударном порядке отбивает накипь... Культуру создают Фрагонары, а не ударник Уксусов, и дурак он, что сидит в котле — так ему и нужно, туда ему и дорога!... Помрет от туберкулоза в тридцать четыре года... Но я, Арсений Аристархов, в раскаленный котел не полезу... Не поле-зу... и вам не советую. Счастье будущих поколений создается не так... Ваш конек — борьба с частной собственностью. Дон Кихот тоже думал, что он борется за высокую идею, когда аттаковал ветряные мельницы. Тут ваша стена. Ее не пробьете... Христос проповедывал отказ от собственности, а уже тысячелетия его именем охраняют собственность. Коммунизм—тоже религия обиженных и неспособных... Но у вас шансов гораздо меньше, чем у христианства — там за отказ от земных благ обещали будущую райскую жизнь, а

у вас и этого нет... Вы управляете жестокостью — вы сами в ней сваритесь»...

«Должны управлять маркизы?»

«Да, маркизы интеллекта. Вкусы всех нельзя поднять до уровня избранных. Власть массы неизбежно заставит их опуститься до ее уровня. Это гибель культуры... Ваши вожди недостаточно образованные люди — они узкие специалисты. Они хотят учить будущие поколения, как нужно жить, а сами никогда хорошо не жили...» И вообще счастья в кредит людям не нужно — хотя немножко, но наличными...»

«Договорились! Ну, мне пора, мое почтенье».

* * *

Фишкин встал.

«А вы встречаетесь попрежнему с Кащеевым?» — спросил он неожиданно.

«Почему вас интересует Кащеев?» — ответил Арсений вопросом.

«Не секрет... Он принадлежит к белогвардейской организации «Русь». Они устроили нечто вроде тех «пятерок», какие были при Александре Втором и поставили целью нас терроризировать... У них семерки! В каждой семерке только один знает имя другого в другой семерке и в каждой семерке только один служит нашим агентом... Ха-ха-ха!... Это игрушка некоторым уже обошлась довольно дорого... То-есть как сказать дорого — головы у них дешевые. Сами сидят за границей, а время от времени посылают к нам кого нибудь из маленьких. Сообщают потом о страшных террористических актах, а на деле за все время пустили двух клопов в наше экспортное масло, да и то по проверке оказалось, что клопы залезли сами...»

«Однако я вижу, что несмотря на каждого седьмого, осведомленность у вас плохая. Иначе вы бы знали, что я уже несколько лет не видал Кащеева...»

«Вы хитрый, как муха!»

Фишкин поднял вверх палец, точно указывая на муху, сидящую на потолке.

«Не видали, так увидите...» — добавил он.

* * *

Пока Фишкин надевал пальто, Арсений не удержался:

«Знаете что? Ваш юмор вас только и спасает... Это у вас предохранительный психо-клапан. Вы и ко мне теперь пришли, чтобы посмотреть в окно на более радостные горизонты. А то вам приходится разговаривать все со своими, а они все друг друга боятся — никто ничего не скажет... Им и маркиз подарить нельзя...»

Фишкин махнул рукой. Остановился уже в дверях:

«Я нарочно ни словом не вспомнил об ушедшей. Вероятно и вам тяжело лишний раз вспоминать? Она была редкий человек... Прощайте...»

И ушел.

* * *

Уже в постели, Арсений все еще передумывал разговор с Фишкиным.

Говорил с ним как будто экспромтом — раньше не было таких готовых фраз. Еще недавно были сомнения. Не такие безнадежные и противоречивые, как когда-то в Японии, но всетаки было неясно:

«А может быть я должен пойти с теми, кто строит счастье будущего человечества? Может быть свое личное нужно отодвинуть на задний план — в этом смысл жизни?...»

Теперь в этом разговоре с Фишкиным вдруг определилось ясно и твердо. Точно доказывая ему, доказал себе.

«У меня только одна жизнь и она мне принадлежит. Мне — никому другому... И счастье масс именно в том, чтобы были яркие большие индивидуальности, чтобы они направляли их... Если жизнь человечества

должна иметь смысл, то смысл в этих ярких сильных личностях, а не в том, чтобы все увеличивать серую массу, которая наконец разрушит все созданное немногими...»

Тут же рядом опять вставал вопрос:

«Но должен же я что то сделать? Не потому что обязан, а чтобы уважать себя... Чтобы быть одним из этих ярких.. Приятнее жить, если сделал. И сделаю... Сделаю! Надо иметь право считать себя выше... Надо это право заработать... То, что делают Фишкины — страшная ошибка. Гибель культуры!... Стихи о колхознике... Фонька Квас... Ошибку исправят, они уйдут навсегда — но сколько радости жизни отнято уже!.. Путь иной, совсем иной...»

XXII.

ДРУГАЯ ВОЙТИНСКАЯ.

Сегодня дома было одиноко. От Зои нет ничего уже пятый день.

Куда-нибудь надо было пойти. Он очень редко ходил в кино или в кафэ. Если шел в кафэ, то выбирал самое большое и оживленное, садился к стене или в угол, так чтобы быть среди толпы, но одному: тут особенно хорошо думалось. Говор, музыка, звон посуды сливались в один общий шум. Почти как шум моря.

Люди приходили и уходили. Каждый что-то говорил, что-то делал, смеялся или хмурился — и все это было чужое. А он тут среди них жил своей жизнью.

«Я только одна клеточка природы. Надо стремиться к слиянию с целым. Надо жить для целого. Цель — общее.. Что общее? Моя семья? Моя нация? Все человечество? Вся вселенная? Так-ли? Нет, не так...»

«...Если я здесь сейчас упаду в обморок, несколько человек подойдут посмотреть, что случилось. Даже могут поднять. Но пока я не лишился сознания, им до меня нет дела... Я могу сделать им что-нибудь очень хорошее, с моей точки зрения, а им не понравится... Самые большие благодеяния были даны людям силой — кто это сказал?.. Самых ярких людей обычно при жизни ненавидели. Потом их имена записали. Но лучше ли им от этого? Им было в одном действительно лучше: они горели в своем гениальном пламени и оно радостно освещало их жизненный путь... Это немногим дано, но если дано, тогда это настоящее счастье... Для этого вовсе не надо быть добрым и мягким — скорее наоборот... Человеку нужна теплота — и физическая, и духовная. Но теплое сердцу есть и у бабы, няньчащей восьмого ребенка. Нужно другое тепло — тепло разума. Теплое и милое необходимы, но не теплое от мягкотелости, лебезенья, ханжества, от боязни Бога, от надежды на возмездие. Нужно теплое, уже оправданное холодным разумом. Уже после обличения лжей... Нужно теплое изверившегося разума, побывавшего уже на глубинах...»

* * *

Увлекся этими мыслями. Точно спорил с кем-то. Точно сам себе возражал.

«Мир устроится лучше всего просто добром... Нет. Так называемые добрые люди всегда готовы подать свою дешевенькую доброту, как много раз подогретое блюдо — она продается дешево оптом и в розницу... Это не то, чем устроится мир... Когда разум возвращается с глубин, много теплоты уже ушло, но и той, которая осталась, вполне достаточно и она особенно ценна... Булыжник и бриллиант. Этого тепла иногда не видно сразу под коркой, оно не каплет через край на каждого, но от него идут жизнетворные лучи, лучи созидания, подъема... А что же я, дошел до улыбки мудрости? Вероятно, нет... Но я знаю

дорогу туда. На ней нет фонарей и нет провожатых — самому надо светить себе. В идущих по ней мальчишки швыряют камнями, но в них — холодных и недобрых — камни не попадают...»

* * *

Кельнер подошел предлагать пирожные.

«Нет, благодарю».

Заплатил ему за кофе. Дал на чай больше положенного, чтобы оставил в покое:

«Ему действительно невыгодно, что я занимаю столик так долго и так мало потребовал».

Кельнер ушел удовлетворенный и больше не беспокоил. Арсений остался сидеть.

«Какие пирожные любит Зоя?.. Мы с ней непременно пойдем как-нибудь сюда, ей будет интересно, самое большое кафэ Берлина... А если она не приедет?.. Приедет. Наверное приедет...»

Но опять стало одиноко и тоскливо. В подсознании жило сомнение — «а если она не приедет?». Хотелось, чтобы рядом был друг, которому можно все сказать и который все поймет.

«Может быть, не согласится, но поймет... Это должна быть женщина. Может ли быть женщина другом — тут ведь другое, тут сексуальность, а не дружба?.. Ничего, это не мешает — сначала сексуальность, а потом переходит в духовную близость. Нужно какое-то неизвестное еще науке совпадение вибраций. Вибраций чего? Мозга. Нет, не мозга, чего-то другого, какое-то созвучие душ. Антропософы и теософы зовут это флюидами. Их теории абсурдны, но что-то есть. Человек влияет на человека, есть какие-то токи, излучения... Приедет ли Зоя?»

* * *

Решил зайти в кино.

«Все равно какое — что нибудь комическое, детективное, только не любовная драма. Чужая любовь да-

же на экране подчеркивает отсутствие своей и становится еще более одиноко...»

Вышел на улицу.

Не знал, куда идти — влево или вправо? Пришла смешная мысль — идти в ту сторону, в какую пройдет больше людей в течение минуты. Стал считать идущих по тротуару. Влево прошло пятнадцать, вправо — девятнадцать. Пошел вправо. «Глупо», — подумал об этом. «Отчего глупо? — эти мелочи увеличивают интересность жизни. Нельзя жить одним рациональным мышлением и ободрать все до скелета...»

В следующем квартале оказался кинематограф. У входа висели две витринки с фотографиями. Остановился посмотреть их. В одной были снимки из картины, а в другой фотографии каких-то танцоров — несколько женщин и один мужчина. Мужчина с маленькими бакенбардами, вроде испанца, противное, пошлое лицо. Среди девиц две как будто хорошеньких, но уже не молодые. Лицо одной показалось вдруг знакомым...

«Неужели это она?!.. Не может быть — случайное сходство...»

* * *

Вошел в кино. Мальчик продавал программы. Купил, развернул — те же фотографии и несколько имен. Какая-то танцующая капелла выступала в антракте.

Глаз сразу остановился на этом имени — Войтинская!..

«Так это действительно она!.. Как постарела, изменилась и в какой ужасной компании...»

Стало неприятно и больно.

«Но сомнений нет, это она».

Взял билет. Почти не смотрел на картину, ждал антракта и выступления танцоров.

Сразу узнал ее среди других.

«Она!»

Рядом с ней все этот с бакенбардами. Самые танцы верх пошлости и дурного вкуса. Мужчина все время хватал за талию танцорок и переворачивал их

вверх ногами. Нарочно так, чтобы юбки падали на лицо и обнажали голые ноги.

Чаще всего переворачивал ее. Она всякий раз при этом деланно улыбалась.

«Как изменилась! До чего дошла... с таким отвратительным типом»...

В первый момент он хотел, было, послать ей записку, повидать ее, узнать адрес. Но остановился. Ушел, ничего не сделав.

«Как это она сама не позвонила, не узнала, что я в Берлине?..»

* * *

На завтра утром позвонили по телефону. Арсений подошел:

«Я хотела бы говорить с господином Аристарховым».

Говорил по немецки женский голос.

Арсений сразу узнал. Ответил по русски.

«Ах, это ты сам, моя дрянь полосатая... Как я рада!»

«Здравствуй, Манечка», — ответил он и тут же мелькнула мысль длинная, но мгновенная.

«Мы не виделись столько лет, ни разу не писали друг другу и она сразу берет такой тон... Это деланно, как и ее улыбка там. Не звучит тепло, а как-то настораживает...» И тут же, в течение этой секунды, промелькнула целая картина из рассказа знакомого — не недавнего, а несколько лет тому назад... Его бросила мать, когда ему было всего лет десять и он ничего не знал о ней двадцать два года. Он был уже управляющим в каком-то предприятии, когда явилась какая то дама. Он приказал курьеру узнать, по какому делу, и тот, вернувшись, доложил удивленно, что «это их собственная мамаша»... Дама вошла в кабинет, остановилась в нерешимости у дверей. Он привстал, сделал два шага ей навстречу и так, не приближаясь совсем, они остались стоять... После некоторой паузы, он первый заговорил: «Садитесь, пожалуйста»... Она подошла к

креслу, нерешительно протянула ему руку, он тоже нерешительно взял ее, пожал, еще более нерешительно поцеловал — и тут был решающий момент, когда, может быть, ей было естественнее всего заплакать или по крайней мере обнять его, поцеловать, а она обратилась к нему по имени отчеству, на «вы»:

«Как вы поживаете?» — тихо, нерешительно спросила она.

И дальше пошел разговор в том же тоне, как будто совсем чужие, только немного знакомые, когда-то встречавшиеся. Не знали, о чем говорить. Он сказал ей наконец:

«Вам нужны, может быть, деньги?»

«Да... пожалуйста...»

И так она и ушла, получивши эти деньги. Они даже не перешли на «ты», даже не поцеловались при расставании... И вот уже несколько лет он опять о ней ничего не знает...»

* *
*

Все это промелькнуло в один момент. И еще успел подумать, что так, понятно, не должно быть, что так холодно жить. Но и «моя дрянь полосатая» тоже звучит нехорошо и от этой искусственной теплоты шел холодок... Он точно почувствовал, как на него пахнуло этим холодком — от этого неуменья найти верную нотку после стольких лет...

Однако, продолжали говорить в том же тоне. Она приехала сюда со своей труппой только третьего дня. Ей кто-то говорил еще в Константинополе, что он в Берлине... «Опять этот проклятый Константинополь!» — мелькую у него.

Она звонила вчера, но никто не ответил. Очень хочет его видеть. Понятно, сейчас же, сегодня. Она приедет к нему... С пяти часов она занята.

«Да, да, понятно. Я буду очень рад тебя видеть... Приезжай, разумеется».

«Гораздо лучше встретиться бы в кафэ. Зачем ей сразу ехать ко мне?» — но он не мог этого сказать.

Когда отошел от телефона, было неприятное чувство. И вчерашнее впечатление в кино, и сегодняшний разговор делали ее совсем чужой. Он даже боялся ее.

«Она пристанет и не будешь знать, как от нее отделаться. И с ней этот паршивый тип... А может быть, я ошибаюсь? Может быть, она осталась той же прежней, и это только внешнее, наносное и при встрече все это спадет, как шелуха, и будет прежняя Манечка, прежняя Войтинская... Умная, на всех производящая хорошее впечатление».

* * *

Манечка приехала очень скоро, раньше даже, чем ожидал. На такси.

«Может быть, последние пять марок истратила?»

Сразу бросилась обнимать его. Пахну́ло сильными духами. И еще каким-то запахом дешевого грима — вероятно, пропахла одежда. Он точно нечаяннно отвернул лицо, чтобы не целовать ее в губы. Была отвратительна мысль, что этот с бачками ее целует.

«Целовал когда-нибудь, а теперь может быть бьет».

«Манечка» — к ней, располневшей, разбухшей, так не шло теперь это имя.

Она не была нарумянена, но лицо стало точно ватное. Была сильно напудрена.

«Вероятно пьет?»

«Я к тебе только до четырех — в пять нужно уже быть в театре».

Она называла кино театром.

«Мы ангажированы сюда на месяц. Понятно, будем с тобой видеться часто... если ты меня не позовешь к тебе переехать?» — она деланно улыбнулась. Он даже испугался этой мысли.

«А кто этот твой партнер?» — спросил он, не отвечая прямо, как будто ревнуя.

«Наш антрепернер, превосходный танцор. Был бы знаменитостью, если бы не пьянствовал».

«Ты с ним живешь?» — спросил прямо.

«Это неважно...»

Она опять деланно засмеялась...

* * *

Сели завтракать.

Она рассказывала, как расстреливали Кащеева, как она осталась одна без денег в Крыму. Как оттуда попала в Константинополь и там застряла... С этим антрепренером — она продолжала его так называть — они вместе уже два года...

«Что было раньше — все эти годы?» — хотелось спросить ему, но не спросил, чтобы не придавать разговору еще большей интимности. Боялся интимности. Было ясно, что она надеется возобновить прежнюю близость. Ему неприятно было даже думать об этом.

* * *

Она рассказывала что-то смешное. Рассказывала умело, но он почти не слушал. Он думал в это время о картине, которую видел как-то в кино, какие-то медицинские снимки. Спирохеты пожирают нервную ткань человека.

«Какой это ужас, особенно для тех, кто понимает происходящее в его организме!.. Если убить их чем-нибудь, то ведь убиваешь и нервную ткань. Во всяком случае она будет уже не та, отравленная...»

Но как он оттолкнет ее? Он не имеет на это права. Это будет грубо.

Вдруг решил:

«Как жаль!... а я должен непременно на днях уехать!»

«Уехать!? Куда?.. Как раз тогда, когда я приехала...»

«Я очень сожалею, Манечка, но это крайне необходимо для моих дел. Я никак не могу отложить... Впрочем, я еще вернусь, пока вы будете здесь». На-

рочно сказал «вы», а не «ты». Решил уже, что не вернется. Встретится с Зоей где-нибудь в другом месте. А если это будет невозможно, то, приехавши, не даст ей знать...

«Куда ты едешь?»

«В Париж...»

Сказал наобум, не думая, чтобы только что-нибудь ответить. И тут же подумал, что если ехать, то именно в Париж.

«Может быть, Зоя в Париж приедет скорее, чем в Берлин?..»

Вопреки обыкновению, не подливал ей вина. Как будто не замечал, что у нее пусто в бокале. Не хотел, чтобы она больше выпила и стала еще смелей и настойчивей. Мысль о близости с ней была страшна... Он уедет завтра же, только бы с ней больше не встречаться...

* * *

Как он ни изворачивался, Манечка уехала недовольная. Выяснилось еще одно — она нюхает кокаин.

Он раскрыл машинально ее сумочку, когда сидели рядом, и увидел бутылочку с белым порошком. Сразу догадался. Она призналась, когда спросил...

Условились встретиться завтра, к завтраку.

«Надо пригласить кого-нибудь еще, чтобы не оставаться с ней вдвоем...»

XXIII.

ОКОНИН.

Решил — завтра вечером уезжает в Париж. Оттуда на Ривьеру.

Ривьера нравилась ему именно летом, всегда и раньше. Меньше всего во время карнавала. Тогда было несносно. Живя в Ницце, он уезжал на дни карнавала.

«Толпа, сутолока, шум, беспорядок, пыль или дождь — и главное, пошлость... Люди, нанятые за нищенскую плату, ломают дурака для удовольствия других, а этим другим совсем не весело... Даже толпа мало этим интресуется...»

«...Прошлый раз шел дождь, когда въезжал карнавал. С сидевших на колесницах стекал грим, украшения размякли, все продрогли... В последние годы нанимают обнищавших русских. Хорошенькие девочки, выряженные в балетные костюмы, танцовали на мокрых скользских подмостках и вероятно все простудились...»

В Париж решил ехать и из-за Оконина, хотя и неясно сознавал это.

«Что меня теперь связывает с Окониным? Все так далёко... Почти порвано с ним уже столько лет...»

Знал, что Оконин разбился при падении аэроплана. Несколько недель лежал без сознания, а когда пришел в себя, то ему пришлось наново учиться писать и читать. Забыл языки и тоже учил их наново...

Ее высочество увезла его к себе в замок, где-то во Франции...

* * *

Была ли это интимность или милосердие — Арсений не знал. Необычайное для других именно и должно было случаться с Окониным. О нем можно было поверить всему.

Несколько лет тому назад неожиданно получил письмо из этого замка. Письмо написано было каракулями. Коротенькое, странное. Всего три строчки:

«Я виноват перед тобой, Арсений. Я сильно разбился и стал глупым. Может быть, когда-нибудь встретимся.»

Оконин».

После того прошло несколько лет. Больше писем не было, хотя Арсений ответил очень тепло. И кто-то говорил, что Оконин умер... А теперь, на днях, приехавший из Парижа, рассказывал, что на голфе под Парижем служит странный русский, по фамилии Оконин. Тот ли это самый Оконин, рассказывавший не знал, но Арсений почти не сомневался, что это именно он. Решил его непременно найти, будучи в Париже. И теперь желание увидеть Оконина подсказало поездку именно в Париж.

* * *

Завтрак с Манечкой прошел натянуто. Хотя он и уверял ее, что третий попал случайно, что нельзя было от него отделаться, что очень сожалеет, Манечка, видимо, не поверила. Надулась, обозлилась...

Арсению было неловко сказать, кто она теперь.

Она это почувствовала и нарочно сама рассказала и звала того в это кино...

Вечером уехал.

* * *

Никто из парижских знакомых Оконина не знал. Но встретил в кафэ знакомого англичанина-голфиста и тот знал, что на голфе, где он иногда играет, служит русский и даже припомнил фамилию, что-то вроде «Окнайн»...

Арсений сейчас же поехал.

«Да, тут служит русский, Оконин, такой высокий, худой... Милый, но странный», — сказал служащий в конторе. «Вы найдете его вот около того домика при входе».

Около домика стоял высокий, загорелый человек в длинном пальто и вязаном кашнэ, хотя было тепло.

«Чем могу служить?» — спросил он недоверчиво, когда Арсений обратился к нему по русски.

«Оконин, это ты?»

«Да, я Оконин... Арсений!? Вот не узнал... Я рад тебя видеть... Я теперь лакей богатых.»

«Какой лакей! Я слышал, что тебя здесь любят».

«Может быть, это правда. Я глупый, глупых любят... Подожди меня, сейчас мое дежурство кончается.»

* * *

Он пошел куда-то и скоро вернулся с двумя пакетами и чайником.

«Можно идти теперь».

«Куда?»

«Ко мне... Пойдем ко мне. Я угощу тебя чаем, больше у меня ничего нет. Вот еще варенье», — показал он на банку, торчавшую из кармана. В другом кармане была чашка и блюдечко.

«Дай, я тебе помогу.»

«Хорошо. Благодарю», — он отдал один пакет.

«Что это?»

«Это два пиджака. Мне опять подарили».

«Кто тебе подарил?»

«Лорд такой то» — и Оконин назвал одну из самых громких фамилий Англии.

«Мне много одежды дарят. Я думаю, уже пятнадцать пиджаков подарили.»

«Пятнадцать пиджаков! Зачем тебе столько? Что ты с ними делаешь?»

«Я друзьям отдаю».

* * *

Шли по шоссе. Куда — Арсений не знал. Но не отказался — ему хотелось видеть, как живет Оконин. Мимо проехал большой лимузин. Блестящий, только что с фабрики.

«Hallo, Оконин! Мы вас подвезем!»—крикнули из автомобиля по английски и в окно замахала женская рука. Оконин тоже помахал, показывая, что он не хочет ехать.

«Кто это?»

«Это мои друзья англичане.»

Встречный француз поздоровался.

«Тебя здесь знают и любят».

«Может быть... Глупых любят... Я глупый.»

«Ты кажется рисуешься, уверяя, что ты глупый? Откуда ты это взял? Наоборот — я считал тебя всегда одним из самых умных людей, каких встречал.»

«Я не рисуюсь — я действительно глупый... Ты увидишь».

* * *

Он жил в крохотном деревянном домике на огороде. Две комнатушки и маленькая кухонька с железной печкой. Мебель странная, как и сам Оконин. Некрашеные табуреты, один сломанный, а рядом два дорогих старинных кресла, крытых гобеленами. В углу стильная витринка Людовика Пятнадцатого. Две верхних полки заставлены книгами...

Жестяной чайник и облупившаяся кастрюля.

Оконин вынул из кармана банку.

«Варенье присылает мне добрая дама, хороший человек».

Он развернул пакеты с пиджаками. Один был светло-синий, другой коричневый. Совсем новые пиджаки.

«Эти я тоже подарю. Я не могу носить таких ярких, а засим мне и не надо, у меня этот еще очень хороший...»

Он показал на свой.

«Это «засим» у него осталось»—подумал Арсений. Оконина звали в университете «Зосимой» за пристрастие к слову «засим». Он еще постоянно говорил тогда — «совокупно». Вероятно он нарочно взял эти слова для оригинальности, а потом привык к ним.

«Ты, понятно, богатый?...»

«Нет» — ответил Арсений.

Оконин стал готовить чай. Арсений подошел к витринке. Рассматривал книги.

«Что ты смотришь?» — забеспокоился Оконин. «Не надо, не смотри».

«Почему не надо, ведь это же книги?!»

«Не надо, ты этого не поймешь... Впрочем, я не знаю. Может быть, и поймешь? Мы с тобой теперь чужие, столько лет прошло, я тебя совсем не знаю, какой ты стал.»

Арсений вспомнил того былого Оконина — опять тайна.

«Ломается он или это искренно? Чего теперь ломаться, в таком положени?.. Вероятно, это искренно в нем, если после всего пережитого сохранилось».

Тем более ему интересно стало узнать, какие это книги.

«Покажи, мне очень интересно, я постараюсь понять».

Оконин точно колебался. Он подумал с минуту, потом сказал:

«Я юродивый, юродивые видят то, что не видно другим... Сердце важнее разума.... Хорошо, я покажу. Ты, может быть, поймешь»...

* * *

Он снял с полки книгу в кожаном переплете, прижал ее к груди, как любимого ребенка, или как ребенок куклу:

«Угадай, какая это книга?»

«Как же я могу угадать? Ты требуешь невозможного».

Арсений протянул руку, чтобы взять, но Оконин еще крепче прижал ее к груди, точно сопротивлялся. Но всетаки отдал. Арсений развернул — латинское издание «Подражание Христу».

«Это Фома Кемпийский!»

«Так ты знаешь эту книгу?!.. Я думал, что ты не знаешь», — обрадовался Оконин. «Немногие знают,

хотя это первая книга после Библии. Она переведена на сорок восемь языков... У меня она есть на семи языках, но я только тогда постиг ее глубину, когда прочел ее в подлиннике.»

Он вышел в другую комнату, принес ту книгу, которая была с ним на голфе — это тоже оказалось «Подражание Христу».

«Как я рад, что ты знаешь эту книгу... Только ты ошибаешься — автор этой книги неизвестен. Она только приписывается Фоме Кемпийскому, но это, должно быть, ошибочно. Происхождение этой книги неизвестно. В ней заключается величайшая мудрость, доступная человеческому духу... У меня нет русского перевода, я все стараюсь достать этот перевод... Великая княгиня всюду искала для меня и тоже не нашла... Ты читал эту книгу?»

«Да, читал.»

«Какого же ты о ней мнения?»

«Я тебе пока не скажу своего мнения. Ты сам говоришь, что нас разделяет так много лет, и нужно сначала заполнить этот громадный прорыв... Тогда поговорим.»

«Ты, вероятно, ушел от религии?»

«Да».

«Это трагизм. Я наоборот, пришел к религии. Она спасает меня и дает мне силу примириться с моим положением. Я счастлив, несмотря ни на что... Я ненавидел богатых, а теперь я одинаково люблю всех... Я тут раньше полол траву на газонах за восемь франков в день, а засим пошел служить лакеем в богатую виллу к англичанину. Я подавал к столу суп в большой серебрянной вазе с их гербами. Один раз я принес эту вазу к столу и у меня явилось непреодолимое желание надеть ее вместе с горячим супом на голову моего барина. Тогда я убежал от них... А засим я примирился. Я люблю всех и меня никто не может оскорбить...»

* * *

Оконин бережно поставил книги обратно на полку и стал угощать чаем с вареньем.

«Я чаю не пью», — отказался Арсений.

«Почему?».

«Чай для меня слишком сильно-возбуждающее средство, лучше вино», — ответил он смеясь.

«А я пью только чай, ничего другого. Я целый день пью чай, засим ем хлеб. Больше ничего... Дух укрепляется, когда тело становится немощным... Я глупый. Может быть, я ошибаюсь?... Я с тихой радостью примирения смотрю на мир, я люблю всех людей... Я теперь лакей богатых и меня уже ничто не может оскорбить. Я иногда вижу теперь то, чего не видят другие и чего я сам не видал раньше... Арсений, слушайся своего сердца. Когда у тебя будут неразрешимые вопросы, спроси его, а не разум. Сердце знает много такого, что недоступно разуму...»

«Ты все говоришь о себе общими местами. Видимо, следуешь совету Фомы Кемпийского и не открываешь людям своей души. Ты стал еще более скрытным»...

«Да, я всегда считал откровенность профанацией духа и обезличеньем «я». Но теперь я это делаю по другим соображениям — я просто следую указаниям мудрой книги... Это великая книга, Арсений...»

«Да, милый Оконин, мы с тобой действительно разошлись... совсем в противоположные стороны. Но я постараюсь понять тебя».

«Во мне нечего понимать, я совсем простой и глупый», — ответил Оконин.

* * *

Расстались тепло. Оконин пошел провожать на станцию. По дороге со многими здоровался — его тут знали.

Условились, что Оконин сегодня вечером приедет в Париж. На Монпарнасс—это ближе ему. Арсений еле уговорил его.

«Зачем мне в Париж? Я никогда не бываю в Париже».

«Посидим вместе в кафэ или в ресторане».

«Я уже много лет не был ни в кафэ, ни в ресторане. Я отвык... Я своим видом буду портить настроение тебе и другим....»

Уже, было, уговорил его, но опять возник вопрос.

«А как же я вернусь обратно, если мы долго просидим? Поезда поздно не ходят...»

«Ты останешься у меня ночевать.»

«Нет, невозможно. К сожалению, совсем невозможно... Хорошо, я тебя послушаюсь — я потом вернусь пешком.»

«Как пешком!? Ведь это километров двенадцать или больше?!.. Я тебя отвезу в автомобиле».

«Нет, не надо в автомобиле. Я привык ходить пешком. Я на голфе хожу целый день...»

У Арсения осталось впечатление, что эта встреча встряхнула у Оконина забытое. Показалось, что под конец разговора Оконин как будто сам себя должен был убеждать в том, что говорил.

* * *

Арсений приехал в кафэ без четверти восемь. Занял столик в углу, подальше.

И в этом маленьком кафэ было полно, а рядом в больших трудно было протолкаться. Именно в это кафэ Арсений пошел нарочно. У кафэ была особая репутация: здесь собирались гомосексуалисты. Арсению хотелось видеть Оконина в этой обстановке. Вспомнил его петербургские оргии.

«Вероятно он не знает какое это кафэ? Для него это будет неожиданно — тем более интересно...»

За стойкой на высоких табуретках сидели молодые люди, болтая ногами. Некоторые нарумянены, подведены. Изредка перебрасывались видимо ненужными фразами. Кого-то или чего то как будто ожидали. Им было скучно...

Приходили другие, на ходу здоровались, обменивались улыбками. Пересаживались от одного столика к другому. Жались друг к другу... Только бы убить какнибудь время.

Уже было половина девятого, а Оконин не приходил. Арсению эта обстановка была неприятна, почти противна.

«Очевидно я резко выраженный мужской тип, несмотря на свою неособенно мужественную внешност?..» — подумал он.

* * *

Мимо кафэ по тротуару двигалась толпа. Одни шли в одну сторону, другие — в другую. Возвращались обратно... Заходили в кафэ, проходили между столиков, точно кого-то ища... В действительности никого не искали, а просто нужно было как-нибудь двигаться, чтобы провести тут время до поздней ночи и не садиться за столик — за столик нечем заплатить.

«Вот этот молодой человек с девицей в красном светре прошел мимо уже пятый раз.., Вон тех двух стариков, что подбирают окурки на тротуаре, тоже видел уже несколько раз... На одного гения приходится сто тысяч растоптанных жизней»...

Оконина все не было.

«Уже без четверти девять»...

* * *

Через улицу бенгальскими огнями горели рекламы. Красные трубки протянулись сверху вниз и во всю длину кафэ. В прямых красных полосах вились причудливые изгибы букв. Свет трубок был неподвижный и мертвый, но Арсению казалось, что в них что-то быстро-быстро мелькает... Он всегда не любил этих трубок, но теперь ему их свет показался зловещим — как будто он вливается в него и что-то в нем разлагает, свертывает...

«Наростает какое-то беспокойство, когда смотришь на них... А когда не смотришь, то хочется посмотреть, точно на тебя устремлен чей-то взгляд... Они выпивают нервную ткань... В мире нет авгуров, которые наблюдали бы за тем, что нужно и что ненужно. Изобретатель, вероятно, гордится тем, что выдумал такие трубки, а фабрикант наживает на них и им нет дела до того, что они съедают душу... Они, как спирохеты, пожирают нервную ткань... Спальня сатаны освещена этими трубками... Всё механизируют жизнь. Новые машины строют не потому, что они делают жизнь радостней, а потому, что это даст доход директорам какого-то акционерного общества...»

«У работающих с рентгеновскими лучами делается гангрена. От этих красных трубок может быть гангрена души... Единственная цель прогресса — увеличение радостей. Но об этом никто не думает. Чужая радость не дает дивидента...»

* * *

Рядом сидевший вынул зажигалку. Несколько раз щелкал, летели искорки, металлический щелк раздражал, но пламя не вспыхивало... Наконец вспыхнуло. Зажег папиросу и потушил зажигалку. Пахну́ло перегорелым бензином...

«Кому-то нужно было ее выдумать!.. Одни фабрикуют эти зажигалки, другие строют машины для выделки этих зажигалок. Улучшило ли это жизнь людей? Нет... В спичке есть кусочек какой-то теплоты. Она мягко чиркается, а не щелкает железом. Горит живым огоньком — в ней есть маленькая жизнь, теплота... уютность.. А тут холодная машина с металлическим лязгом и перегаром бензина... Мелочь, пустяк, но постепенно жизнь наполняется красными трубками и металлическим лязгом. Должны же, наконец, явиться люди, которые это поймут... И изменят»...

* * *

Было без пяти минут девять. Арсений рассердился:

«Подожду до девяти и уйду.. Не могу же я сидеть здесь всю ночь, ожидая его... Странный человек!..»

В девять часов решил посидеть еще пять минут — последних. Оконина не было.

Заплатил и вышел из кафэ.

Вдруг решил пойти куда нибудь в театр — домой одному не хотелось.

«В revue...»

Была определенная мысль увидеть оголенных молоденьких женщин. Возбуждающую женскую наготу.

«Вероятно эта мысль пришла, как протест против этих отвратительных мальчиков...»

Сел в такси и сказал ехать в revue..

Не знал, какое обозрение идет там, какие артисты, и был неприятно поражен, когда главной оказалась там эта мулатка. Он давно думал о ней с презрением. Кто-то ее поднял и раскричал, какую-то оголенную девчонку.

«О ней пишут в газетах, называют ее именем духи, у ней свой театр... Она написала свои мемуары — безграмотная девчонка!.. Остается только выбрать ее в академию и поручить ей формирование нового французского министерства...»

Хотел уже повернуть из подъезда и ехать в другой театр, увидавши на афише ее имя крупными буквами.

«Что может быть в этой шеколадной девчонке?! Разве то, что у нее, как у всех негритянок, не растут по телу волосы?!»

* * *

Но не хотелось опять куда то ехать. Взял билет. Думал посидеть полчаса-час и уйти.

Но просидел до конца...

И ушел из театра совсем в другом настроении. Несмотря на всю предвзятость, ему понравилась эта шеколадная девочка.

«Случайности нет. Если человек возвышается, то за

что то... Поразительная женщина! — наивное бесстыдство и грация, за которую прощаешь бесстыдство. В душу проникающий голос, мягкий, теплый, приятный, какой-то полудетский, хотя она наверное капризная и злая... Комок спрессованной энергии... Непотухающий огонек. Чертенок, а не женщина! На все руки — танцует, поет, играет, декламирует — и все хорошо... Понятно, ее выдрессировали, но надо иметь, что дрессировать...»

Не хотел себе в этом признаться, но уехал очарованный этой «шеколадной девчонкой».

* * *

Назавтра утром получилось письмо от Оконина. Теми же детскими каракульками.

> «Идиот! Ты прав. Вчера виделись и уже сегодня строчит длинейшее письмо. Умный приехал бы. Не сердись и прости. Не сердись, что я не мог сделать то, что ты хотел. Я никуда отсюда не выезжаю. Зимой меня пошлют работать на юг. Увидимся на Ривьере? В Италии? Или здесь в будущем году. Или в Берлине? Все будет как суждено. Возможно—никогда. Я верю в волю Его. И глубоко без конца благодарю Его за то, что Он мне даровал эту веру. С нею чувствуется и живется по иному. Моя книга живет у меня в душе двадцать один год. Погибнет? Станет лучше? Все будет, как Он повелит. Прислан ли ты мне Им, чтобы мы потрудились вместе? Все станет ясно, когда Он откроет нам. Во всем стараюсь следовать Его воле. Несравненно больше душевного мира и ясности, la paix sereine, чем оставаться рабом своих инстинктов. Мысль о непротивлении тоже можно изуродовать и довести ad absurdum. Но все вместе дивная, дивная гармония. Я понял, что тебе это далеко, но ты придешь к этому. Слушайся своего сердца, Арсений! Господь да хранит тебя! Я

сам возражу себе на все, что написал, и если сам не чувствуешь, то забудь. Мне показалось в тебе то, чего не было раньше, как и во мне самом. Это способность понимать молча. Воспринимать мысль, несмотря на ее слабую форму в неясных словах. Глупые говорят молча, ибо не умеют вслух. Много лет уже у меня лежал на совести тусклым камнем грубый разрыв с тобой. И вот, когда ты вдруг здесь, я молча просил тебя простить и ты без слов это сделал. Быть может, и не сознавал. Но простил искренно. Хорошо на белом свете! Слава Господу!

Преданный тебе Оконин.

Слушайся своего сердца, Арсений. Оно никогда не обманет. Оно в руках Его.

* * *

Арсений прочел письмо. Положил в карман. Просмотрел газеты, потом прочел еще раз.

«Какая странная перемена в человеке! От кого этого можно было ждать меньше всего — именно от Оконина....»

Несмотря на теплые и дружеские слова, письмо показалось сумбурным и неубедительным.

«Куда он пришел с этими новыми взглядами? Фома Кемпийский, Фома Кемпийский — ничего больше...»

Фому Кемпийского он когда-то читал, но помнил плохо.

«Что-то слюняво-божественное....»

Пошел в книжный магазин и купил маленький томик. Сел в кафэ и стал читать. Сначала внимательно, подчеркивая фразы. Но внимание быстро рассеялось.

«Где тут мудрость? Как можно улучшить жизнь свою и других, читая Фому Кемпийского?! Советует вообще поменьше разговаривать с людьми!... Только зачатки человеческой мысли. О знании, которое и делает жизнь интересной и радостной, он не имел по-

нятия. В каком-то бреду прожил всю жизнь, бедный человек... Неужели Оконин искренен в своих словах?.. Нет! Он сам себя обманывает. Под наружным смирением, может быть, клокочет вулкан... Или тот Оконин разбился, а это другой?..»

* * *

Взял спальное место на завтра. На Ривьеру.

Порылся в двух книжных магазинах, потом у букинистов на берегу Сены и пошел в Лувр. С определенной целью.

«Не бродить по всем залам—тогда ничего не остается... Только посмотреть внизу еще раз — долго, внимательно, критически — Венеру Милосскую. Прекрасна ли она, как женское тело?.. Одни считают ее шедевром, а другие находят, что она слишком грубая и толстая, матронистая. Совсем не женственная... Если бы теперь жила такая женщина, она не нравилась бы... Германская Кримгильда...»

Идя к Венере, поражался пылью и грязью вокруг. Что-то ремонтировали. Пол засыпали известкой и цементом, отбитой штукатуркой. На статуях, на окнах на бархатных выгоревших диванах лежал толстый слой пыли. Грязь отсюда разносили по паркетам картинных зал.

«Тут собраны шедевры искусства всего человечества — и такая невиданная грязь!...»

* * *

«...При всем священном трепете, с каким полагается смотреть на Венеру Милосскую, назвать ее красивой никак нельзя. Лицо неприятное. Она в полтора раза больше нормального роста, и глаз это не сразу понимает. Все кажется слишком грузным, массивным... Ее нужно бы поставить высоко и смотреть издали... Но у нее настоящие округлые женские формы, а не вешалка от Женни или Пакена. Что может быть отвратитель-

нее этих костлявых манекенш?!.. Голодающие индусски, а не женщины!.. А какая Зоя? У нее еще недостаточно округлые формы, но они у нее будут через несколько лет... А разве я расчитываю так долго с ней оставаться?... Венера Милосская, как женщина, чувства возбудить не может. Об ее интеллекте нам ничего неизвестно!.. Но рядом здесь много других статуй в нормальный человеческий рост и они идеально красивы — именно такой должна быть женщина. Округленность форм не мешает быть умной...»

* * *

Придя домой, сейчас же, не снимая пальто, написал письмо:

«Директору Лувра.

Господин Директор!

Я видел почти все главные музеи мира, но такой грязи и пыли, как в Лувре нигде не видал!

С искренним почтением

А. Аристархов».

Письмо сейчас же отправил. Но опуская его в ящик в холле отеля, подумал:

«А зачем я собственно это сделал? Какое мне дело?... То-есть как какое дело?! Очень даже большое дело. Шедевры, собранные в Лувре, принадлежат всему человечеству, а я его кусочек...»

* * *

Его комната выходила на бульвар. Как раз на углу площади Оперы, в самом центре Парижа.

Вливался шум современной цивилизации. Он заглушался зеркальными стеклами, тяжелыми портьерами и доходил смягченным слившимся гулом. Только тормаза круто остановленного автобуса прорезывали иногда

сплошное гудение резким скрипом. Или газетчик выкрикивал название газеты...

«Хороша ли, нужна ли эта цивилизация? Такая цивилизация?... Куда, зачем спешить? В могилу?!... Взять за тот же промежуток времени, называемый жизнью, больше радости? Но радость ли это для тех, кто спешит?.. Не знаю. Все равно за всех не решу. Но для себя уже понял... Бери жизнь такой, как она есть — лучшее из возможного... Сколько дней остается до приезда Зои?...»

* * *

Лет десять он не был в парижской Опере. Жил иногда тут рядом, но не ходил.

«Может быть прекраснейшее здание в мире? Замысел гениального строителя. Стоит в самом центре мира... Именно тут центр мира — пуп земли... На площади Оперы больше жизни, чем на Пикадилли Циркус или на углу Сорок Второй улицы и Пятого авеню. Много больше, чем на Потсдамерплац в Берлине. Центры других городов земли и в сравнение не идут... «Академия музыки и танцев». Гордость Парижа. Оркестр в сто сорок человек. Патина традиций... Фауст шел уже тысяча восемьсот тридцать два раза!... И все так же, как в первое представление... Сегодня как раз балет. Пойду еще раз, последний — всегда было разочарование...»

Пошел.

* * *

На сцене опять было разочарование. Почти, обида.

«Все бездарно, кроме самого здания. Отдельный талант гибнет среди общей бесталанности замысла...»

Но всетаки потом был рад, что пошел.

Сел в первом ряду партера, куда до сих пор запрещено садиться дамам. Как было в придворных театрах при Наполеоне III или еще раньше — при Людовиках — и смотрел не на сцену, а на семерых дугих в первом ряду...

Все во фраках, в белых перчатках и у всех шапо-кляки...

Входили с шапо-кляком на голове, с тросточкой. Снимали шапо-кляк привычным жестом, ловко плющили его, подсовывали подмышку и уверенно опускались в привычное кресло...

«Эти тут сидят десятки лет»...

Когда занавес опускался, шапо-кляки по команде вставали, магически выростали, сами садились на головы.... Хлопали пробки шелкового шампанского...

Шапо-кляки строились спиной к сцене и опершись на барьер, готовились рассматривать зрительную залу. Но занавес поднимался на апплодисменты, они поворачивались лицом к сцене, снимались, сплющивались и сдержанно апплодировали... Два-три хлопка...

Занавес опять опускался: они опять мягко хлопали, фокусно выростали, надевались, поворачивались...

Шапо-кляки хорошо знали, что занавес снова поднимется и снова нужно будет сниматься и складываться — но все равно, они складывались, хлопали, выростали, надевались, снимались... Так нужно!

«Стоило итти из-за этого» — подумал Арсений с улыбкой.

* * *

«Что-то милое, смешное и обидное в этих семи шапо-кляках... А может быть они и нужны? Нужны они или не нужны — они последние. Еще лет десять и ни одного не останется... Как не осталось фиакров со щелкающими бичами и бубенчиками. Как не осталось керосиновых фонарей на бульварах... Как не осталось турнюров, кринолинов, причесок в аршин... Как не осталось рыцарских турниров... Нужно положить шапо-кляк в музей. Сохранить.. Он даже по своему красив, но немножко обиден. Обидно за достоинство homo sapiens. Штатский почетный караул богатства и знатности. И предрассудков... Немного юмористический... Хлопайте, шапо-кляки — с вами всетаки веселей, а то заснул бы в этой академии... Хлопайте, милые шапо-

кляки, открывайте бутылки шелкового шампанского! Пока вы сидите в первом ряду, частная собственность будет охранена... Впрочем, она будет охранена и дальше, только иначе, в других формах и для достойных ее... Лучшим будет лучше... Люди не равны. В этом секрет культуры. В этом прелесть жизни...»

В следующем антракте подумал:

...«Насколько шапо-кляки лучше, чем те зловещие трубки! Шапо-кляки не едят нервной ткани. Почетная гвардия шапо-кляков проводит по жизни веселый штришок. Если не радует всерьез, то все же вызывает мимолетную улыбку... Авгуры оставят шапо-кляки, но уберут сатанинские трубки. С ними пришли грипп и неврастения... Может быть уберут и то, и другое, и насадят цветов... Много цветов! Каждый в руке будет носить всегда цветок...»

XXIV.

КНЯЗЬ ЮРИЙ.

Экспресс шел на юг. Мчался.

Окно купэ было приоткрыто. Не зажигал электричества. Вагон так качало, что нельзя было заснуть. Когда поезд особенно усиливал ход, рельсы издавали звенящий звук. Когда поезд уменьшал ход, было слышно стрекотанье кузнечиков...

Арсений прислушивался к этому стрекотанью и моментами не мог разобрать, где стрекотанье и где звон рельс, — сливалось в один шум.

«Стрекочут... Еще неделя-другая и конец. Засохнут в травке или во мху. Эти никогда уже больше стрекотать не будут. Будут стрекотать другие... Никому и ни для чего не было важно, что именно этот стрекотал.

Может быть, это нравилось его жене-самке — одной из жен, последней кузнечихе. Она так любила его стрекотанье и прыгала к нему из соседних кустов на этот стрекот. Через несколько дней она тоже ночью озябнет, и замрет — в травке останется ее крохотный трупик. А может быть, утром трупик съест дрозд?... А я еду мимо и думаю о них. Мы люди, а не кузнечики. Мы много важнее... А так ли? Он вносит своим стрекотом поэтическую нотку в природу, оживляет ее. А вся моя жизнь! Кому было нужно и кому важно, жил я или нет?...»

* * *

Поезд быстро тормозился. Подходили к большой станции. Задние вагоны наседали на передние, сдавливали буфера. Арсению казалось, что сдавливаются железные балки самого вагона и это как будто передается его телу и оно тоже немного сдавливается.

«Если бы была катастрофа, сдавилось бы совсем, окончательно...»

Поезд остановился. Меняли паровоз. Минуты три. Опять пошел.

Опять в окне застрекотали кузнечики...

«Да это совсем не кузнечики, это так звенят рельсы!.. Стрекотал кузнечик... Жил Арсений Аристархов. Совершенно одинаково важно в вечности. Стрекотал кузнечик...»

* * *

Приехавши сюда, он сейчас же шел осматривать, все ли так? Как будто свою усадьбу осматривал — все ли в порядке? Не попортили ли чего нибудь? Все ли здешние люди на местах — и гости, и прислуга?..

Было полсотни людей, которые стали уже неотъемлемой частью усадьбы. Есть ли все налицо?

...Кто-то уволен. Кто-то не приехал во время. Кто-то умер...

«Эти уже никогда не приедут... Наступит время когда и я, Арсений, больше сюда не вернусь... Жутко думать. Что же делать?... Сделать можно только одно — не терять ни дня жизни, ни одной минуты...»

* * *

Тут теперь распоряжались новые люди. Они также думали о наживе, как и прежние, но у тех, прежних, было больше чувства красоты и меры.

«Вот здесь, перед зданием казино, была когда-то скала. С нее журчал водопадик, а по скале ходили горные бараны. От них шел острый возбуждающий запах, напоминавший древнего Пана, фавнов и нимф... Тишину нарушал только стук копыт, звон бубенчиков и иногда музыка... Пахло цветами...»

«Скалу и водопадик снесли. Баранов не стало. Построили роскошные магазины, в которых никто не покупает. Не потому, что там продаются ненужные вещи: ненужные вещи покупаются охотнее всего! Но тут несуразно дорого, а прежних людей, которые не считали денег, больше нет. Их съели война и революция и они никогда уже больше не вернутся.... А кто знает?...»

* * *

«Было два сезона, когда опять как грибы в одну дождливую ночь они выростали на американской бирже и приезжали сюда и кое-что покупали... Но быстро опять исчезли. Высохли как грибы без дождя... Теперь уже давно магазины пустуют и непонятно, для чего они?.. А рядом построили еще большой новый корпус с магазинами, на месте бывших деревьев...»

«Вместо цветов пахнет перегорелым бензином. Моторы заглушают все остальные звуки...»

«Вот тут на углу была тесная табачная лавочка. Сколько лет она была тут!.. У нее была своя история, связанная с моими личными переживаниями. Она была близкая и уютная, хотя в ней негде было повернуться...

Ее тоже снесли, а вдали у моря выстроили большую, холодную, железобетонную казарму на том месте, где раньше был таинственный садик... Табачный магазин теперь там. С тяжелой бронзой и зеркальными стеклами. В нем пусто и холодно... Холодно не физически — холодно душе... Кругом стало даже жарче, потому что вырубили деревья и с ними ушла ароматная прохлада олеандров... Но холоднее стало душе, потому что сделали казарму. Душа любит привычные пустячки, привыкает к ним — ей с ними теплее и уютнее...»

«Немногие, оставшиеся из тех, кто бывал тут когда то, лучшие клиенты, ищут и теперь старые уголки, насиженные места. Настроения своей молодости и воспоминания о былом богатстве. Ничего не находят и печально машут рукой... Ничего прежнего не осталось...»

«Настало время нуворишей, веселая агония старого мира... Она пришла с сусальным золотом, с зеркалами во всю стену, с наглой простотой с джацц-бандом и наемными титулованными танцорами. Всюду затянули коврами, но забыли о живых цветах... Казалось бы, что здесь, где ждут голубо-кровых и утонченных, здесь самое место тонким запахам, морю цветов, орхидеям... Цветов нет ни на одном столе — о них забыли, и пахнет перегорелым бензином....»

* * *

«...Дальше, там, где раньше была успокаивающая прогулка, среди изысканно живописной природы, там тоже взорвали скалы, выкорчевали деревья, срыли старый домик и виноградник и построили луна-парк на воде. Он пуст — никому не нужен!... Кричат американским железобетонным криком новые здания. Вычурные, пестрые, блестящие — бред пьяной фантазии. Не пьяной фантазии гениального Пиранези или Эдгара По и даже не Бо Брюммеля, а пьяной фантазии моргна, среднего человека...»

«Цикады больше не поют в олеандровых кустах — их убили цемент и машина. Выкорчевали деревья и на

ярко зеленый радостный газон, где отдыхал глаз, поставили стеклянные гробы для иллюминаций!... На новые здания и перестройки затратили сто миллионов. Они никогда никому не понадобятся. Взрывали и строили только потому, что директора делились с подрядчиками. Чтобы достать деньги, закладывали, брали ссуды в банках, большие миллионы. Это все останется банкам за долги, банки потеряют свои деньги, но потеряют не директора, а какие-то мелкие вкладчики, вообще маленькие люди...»

...«И всетаки как здесь хорошо! Здесь логика выворачивается на изнанку, так что правая рука становится левой и сердце справа...»

* * *

«...Внизу на пляже, подальше, большие красно-рыжие здания».

«Два храма, три храма... Четыре...»

«Величественный портик у входа в америкэн-бар, совсем как вход в древний храм. Да это и есть храмы. Какие то новые — не египетские, не вавилонские... не ассирийские... Не Изиде, не Озирису или Мардуку — всего ближе может быть Ваалу, Мамону?.. Нет, это совсем другому богу, враждебному всем прежним богам. Он их антитеза. Он их всех уничтожает. Он смеется над ними... Он не дьявол, не злой дух, но он хитрее дьявола — он разрушает всех прежних богов! Все прежние были бессмертные боги, а он, бог смертный, бог радости жизни... Он бог только этой коротенькой, здешней жизни. Он смеется над всякой другой. У него на лице всегда улыбка, хотя ему иногда и страшно думать, что самому надо будет погружаться в черное, холодное небытие....»

* * *

Широкая каменная лестница ведет от бара вниз, к голубому купальному бассейну. Каменные кубы, шары, колонны, каменная мозаика Помпеи...

За бассейном бесконечный горизонт моря.

Утро.

Утро по здешнему счету — половина одиннадцатого.

На ступеньках бара сидит великий князь Юрий. Он в одних купальных трусиках, сел на каменную ступеньку и, печально опустив голову, подпер ее рукой. Он смотрит безучастно в морскую даль. Точно хочет увидеть там будущее.

У купального бассейна проходят дамы в модных пижамах — последний крик моды. Совсем голая спина. На эти пижамы показывают пальцами даже в привычном ко всему здешнем городе, мальчишки улюлюкают в догонку, но здесь у них все права гражданства, здесь они «фэшен».

Женщины старые и молодые. Красивые и безобразные.

С собачками и без собачек.

* * *

Некоторые будут купаться в бассейне, другие только гуляют. Все ярко раскрашены. Косметические фирмы изобрели новые краски, которые не смываются даже морской водой... Вот идет одна, совсем старая, но тут все становятся моложе! С двумя собачками, в голубой шелковой пижаме, в длинных расширяющихся книзу штанах, как у английских матросов. У нее такие высокие каблучки, что их нужно переставлять с большой осторожностью, иначе подвернется нога и можно упасть. Зато в таких башмачках меньше кажется нога и выше рост, и походка игривая. Ресницы намазаны черной мастикой, запудрены и опять намазаны. Так нужно — тогда волоски стоят, как шпильки, и глаза делаются глубокими и бархатистыми. Брови выдерганы начисто и вместо них наведены тушью мышиные хвостики.

Вот другая... Идет, идет, растегивает один крючок и все падает, и выходит обнаженная, Венера из мор-

ской пены. Синей даме с собачками на высоких каблучках этого, к сожалению, нельзя сделать — тело дрожит на косточках, дряблое с провалинами...

Все оголено, весь товар лицом. Зажигают чувство. Чтобы было такое тело, надо за ним ухаживать. Это как цветы. Надо есть в меру, заниматься спортом, в меру загореть на солнце, натершись кокосовым маслом. Надо что-то подрезать, что-то подвязать, что-то подмазать. Особенно много хлопот с волосами. Волоса растут, меняют цвет. Нужна постоянная забота и внимание. Все это берет .много времени и дорого стоит...

* * *

Они проходят мимо князя Юрия, но он их не видит. Он безучастно смотрит в даль и, может быть, думает о прошлом величии, может быть, ищет разгадку будущего, а может быть, вообще ни о чем не думает?...

Он только что выпил в баре три коктейля Мартини сэк. Этот коктейль ему специально готовят особенно сухой — больше джину и меньше вермуту.

Князь Юрий привлекает публику. Его присутствие поднимает аристократичность и избранность толпы. Он своего рода приманка. Он не обыкновенный «загонщик», рабаттэр, как во всех других клубах. Там просто платят комиссию за каждого введенного гостя с деньгами. Князь Юрий привлекает клиентов одним своим присутствием. Он может здесь жить в долг. Каждый день пишут в местных газетах о том, с кем он завтракал, с кем обедал, с кем пил «чай» и с кем ужинал, и всегда его имя упоминается первым. Это новейшая, утонченная реклама. Это тоже сделала революция...

* * *

Но всетаки и в клубе, и тут в баре пусто. Уходят те люди, которые раньше сидели в дорогих и шикарных барах.

«...Нет больше Оконина, который сидел бы тут. Нет больше Кащеева-сына — он непременно проводил бы тут полдня. Оконин читает Фому Кемпийского, а Кащеев-сын бродит по дешевеньким кафэ Монпарнасса. Для такого бара у него нет денег. И, чтобы войти сюда, нужны модный дорогой блазер и белые фланелевые брюки, нужно жить в дорогом отеле или дорого заплатить за вход.»

...«Мамон сидел бы тут — но он сразу состарился и у него тоже нет свободных денег. У него теперь маленькая банкирская контора в Берлине...

...«Старая графиня Зоммер тоже пришла бы сюда со своей грелкой. Она не пила бы коктейли, пила бы тийьоли или вервену, но всетаки увеличивала бы оживление. Но теперь она живет в «Русском Доме» около Парижа — и у нее все забрали большевики. Маркиз Ричи жив, но совсем без денег, сошел на нет. Он тут живет неподалеку, в маленьком отельчике. Он не может больше ходить в такой бар...»

...«Даже Гришка сидел бы здесь, но он тоже умер и второй такой уже никогда больше не родится...»

* * *

Арсений перебирает в памяти еще десяток людей, с которыми сталкивался в жизни, которым завидовал и подражал — никого не осталось.

«Часов в пять-шесть, в самый разгар — несколько человек придут. Какие-то новые неведомые люди. Эти еще пируют. Они живут на капитал, а не на проценты, как жили прежние. У них вообще и нет капитала: они что-то где-то сорвали в общей суматохе...»

Арсений садится за столик недалеко от входа, смотрит на великого князя Юрия.

«Ближайший родственник царя...»

Он хочет определить свое чувство к нему, чего в нем больше — враждебности или сожаления к этому человеку? Нет ни враждебности, ни сожаления, а есть

сознание, что это кончилось, нет больше рожденных полубогов...

Арсения тянет сюда. Ему нравятся эти бывшие великие и он незаметно проводит с ними часы.

«Они знали, эти уютные люди, греческую мудрость счастливой жизни. Они антитеза хамскому амераканизму... Знали, собственно, только немногие из них, а остальным такую жизнь устраивала судьба, право рождения. Но все жили приятно.»

* * *

Совсем как будто не к месту, не в соответствии с обстановкой, вспоминается вдруг целая картина детства. Как мать плакала, когда умер Александр III... Он пришел тогда домой, ничего не зная. Почему-то звонили в соборе похоронным звоном в большой колокол.

«Кого-нибудь хоронят. Но кого же это?...»

Никаких разговоров дома не было, а дома всегда знали не только, кто умер, а кто еще только собирается умирать.

Мать сидела в столовой, облокотившись на стол, и плакала.

«Что случилось?»

Встревожился, испугался, хотя давно привык к слезам.

«Государь скончался. Разве ты не знаешь?...»

Ему совсем не показалось странным, что надо плакать, потому что умер государь, и даже у самого навернулись слезы. Мать никогда не видала царя. Ничего он ей хорошего никогда не сделал. И его правительство, и прежние царские правительства всегда были враждебны их семье. Дедушка сидел в тюрьме за то, что не хотел оставить свою веру. Предки со стороны отца бежали из России из-за религиозных гонений. Когда при Николае I брата матери взяли в солдаты, он с горя заболел, стал пить и умер — не вынес тяжести тогдашнего военного режима..,

Все они были мещане и никакими привиллегиями не пользовались. Не раз он слышал рассказы о судах неправильных, как у них что-то несправедливо отсуживали люди со связями и чинами...

Казалось бы, неприязнь и даже злоба к царю должны были жить в душе матери. А вместо этого была рабская любовь. И не только к царю — мать готова была безропотно подчиниться любому сильному только потому, что он сильный и знатный. Она не только исполняла все приказы, она сама искала авторитетов. Была потребность чему-то поклоняться, кому-то молиться, кому-то служить...

Теперь у него было как раз обратное: всякий авторитет вызывал чувство протеста. Прежде всего, по первому импульсу, хотелось этот авторитет опровергнуть, сбросить его с пьедестала, разбить...

* * *

И еще припомнил:

Он берет в руки яблоко и думает:

«А можно ли было бы его подать царю? Царю выбирают лучшее из лучшего. Сохрани Бог с пятнышком или червяком — за такую дерзость уволили бы дворцовых поваров... Может быть, главного виноватого повесили бы?.. Лучше, что есть в садах всей громадной России должен скушать царь. Царь не ест, царь кушает. Он великий, всемогущий, он земной Бог. За него ежедневно молятся во всех церквах не только России, но и во всем мире. Где только нет церквей!...

«Подойти к нему не может простой смертный, такой, как я. Когда он едет по железной дороге, за две недели высылают полки и они стоят вдоль полотна и караулят. А когда показывается самый поезд, каждый солдат поворачивается спиной к полотну и идет по прямой линии — он не должен смотреть в лицо царю... Всякое кушанье пробует раньше главный придворный повар, потом камергеры, егермейстеры, церемониймейстеры и лучший кусок откладывают царю.. Царь

все может, всеми повелевает. И все его родственники не простые смертные, а полубоги.»

И еще больше увеличивались приниженность и сознание собственной ничтожности и где-то глубоко внутри протестовало, бурлило, но не смело вылиться наружу, только накоплялось. И теперь он не мог простить им своей тогдашней приниженности.

«Величие принадлежало им без всякого права. Они наслаждались им, толпа кричала ура и снимала шапки, а он, Арсений, был там в этой толпе, где его чуть не задавили...»

* * *

Князь Юрий все так же сидит, опустивши голову.

«Выпьет и размякнет, как все Романовы», — вспомнил слова знакомого царедворца.

«Здравствуйте, ваше высочество!» — кричит он князю Юрию. Тот поднимает голову, поворачивается, узнает, кивает, встает и подходит к столику. С ним здороваются мимо проходящие. Некоторые нарочно сюда подошли, чтобы с ним поздороваться, чтобы еще другие видели, что они знакомы с русским великим князем. Он еще великий князь здесь...

«Черт... голова болит. Вчера ужинали до половины четвертого», — говорит князь Юрий. — «Вообще както не по себе — может быть, артериосклероз начинается? Всему свое время...»

«Пока жива сексуальность, артериосклероза быть не может, ваше высочество», — смеется Арсений. Князю Юрию это нравится. Он тоже улыбается, хотя сдержанно.

* * *

Тут обедают в половине десятого и ужинают в час ночи. Не едят, а только ковыряются в тарелке: нельзя много есть, нельзя полнеть.

Арсений делает знак лакею и велит подать коктейли. Такие, как всегда пьет его высочество. Если пить коктейли, то действительно лучше, чтобы там был

чистый джин, а не всякая ядовитая мешанина. Коктейли годятся в любое время — крепко и необъемисто. Пьянит, но не полнит. Мозг можно постепенно атрофировать, но нельзя отрастить живот. На все есть свой устав и этот устав один из самых строгих. Он меняется, но остается строгим. Каноны воспитанности и этикета близки к канонам религии...

Раньше с закатом солнца был обязателен смокинг или фрак. Теперь здесь можно придти на обед в пижаме, в блазере с золотыми пуговицами или в светре. Но было бы незабываемым анекдотом надеть к смокингу коричневые ботинки или цветной галстук!

Здесь можно говорить любые глупости, но нельзя назвать лакея «мэсье».

Можно смеяться над чем угодно, но нельзя думать, что завтра будет скверная погода...

Если сегодня совсем плохая, то надо начать прямо с уверенности, что завтра будет хорошая.

Нельзя на мир смотреть пессимистически, а тем более на погоду.

Можно похвастаться, что никогда не читал «Гамлета», но нельзя не знать, кто с кем живет и кто с кем разошелся — понятно, из своего круга.

Можно быть самым диким консерватором с рабовладельческими взглядами или даже большевизаном, но нельзя не уметь завязывать галстук. Можно даже обыкновенным ножем есть рыбу и запивать ее красным вином, но тогда нужно дать понять, что это делается ради оригинальности...

Можно украсть три миллиона, но нельзя украсть серебрянную ложку или сто франков...

Здесь нужно улыбаться, хотя совсем не весело. Здесь не верят ни собственной улыбке, ни улыбке другого. Вообще не верят друг другу, но делают вид, что верят. Скучно, надоело, но нужно уверять, что очень весело...

* * *

Арсений заводит разговор о России, о большевиках.

«Когда все это кончится, ваше высочество?»

Князь Юрий ничего не отвечает, только качнул головой и проглотил остаток коктейля. За него отвечает сам Арсений.

«Мы, кажется, раньше помрем, чем они кончатся, ваше высочество?» — говорит он. Он нарочно часто употребляет титул «ваше высочество»...

Вспоминает инцидент с князем Юрием года два тому назад. Он пригласил его тогда с другими к себе в отель на обед. В отеле все, понятно, знали князя Юрия и тем не менее лакей говорил ему не «Votre Altesse» и даже не «Monseigneur», а просто «Monsieur»!... Арсений видел, как негодовал великий князь. Назавтра он спросил лакея, знает ли он великого князя Юрия.

«Понятно, мэсье, знаю — он вчера с вами обедал».

«Отчего же вы его звали «мэсье», а не «вотр альтесс»?

«А, мэсье, времена меняются»... — и лакей передернул плечом и улыбнулся.

* * *

Князь Юрий не на шутку сердится за слова Арсения.

«Вот такие примиренцы и пораженцы, как вы, и губят Россию», — говорит он сердито. «Сейчас России нет, есть Се-Се-Се-Ре с этой сволочью. Но им недолго осталось... Не может существовать великое государство без морали и без Бога. Се-Се-Се-Ре! Этакая мерзость — Се-Се-Се-Ре... А! Как вам это нравится?! Вместо великой святой Руси — Се-Се-Се-Ре...»

«Но как же это случится, ваше высочество?»

«Я не знаю как, но знаю, что случится и очень скоро. Великий народ не может погибнуть... Се-Се-Се-Ре! Сволочи... Вы знаете про икону Ольги?»

Арсений кивает головой — понятно знает.

«Она ее получает, наконец. Не дальше как на будущей неделе. Она уже выслана из Абиссинии. Сам менелик приказал отобрать ее у этого мерзавца... Я твердо верю, что это связано с судьбой России — это и есть начало их конца. Им не придется больше привязывать людей к разлагающимся трупам и пытать их в пробочных камерах. Сволочи...»

Князь Юрий сжимает кулак и грозит кому-то. Лакей приносит еще два коктейля.

С иконой дело в том, что сестра князя Юрия узнала каким-то образом о своей иконе, подаренной ей когда-то Николаем II. Икона с его собственноручной надписью оказалась в руках беглого матроса, очутившегося каким-то образом в Абиссинии. Матрос хотел продать эту икону богатому абиссинцу, благо он тоже православный. Но тут оказался какой-то русский, опознал эту икону, сообщил сестре князя Юрия, а та обратилась к самому менелику и икону у матроса отобрали... Вдруг у всех явилась уверенность, что, когда икона вернется к ее владелице, тогда придет окончательная гибель большевикам...

* * *

Сидел на террасе у казино.

Было надушено олеандрами. Играла музыка.

Переливалось радостное море.

«Убрали столько цветущих кустов! Глупые люди... Но всетаки хорошо здесь...»

Песок шелковисто шуршал под ногами проходящих. На карнизе любовно стонал голубь, не обращая внимания на музыку. Точно музыка была ему только аккомпаниментом.

Вчера на рассвете Арсению показалось, что рядом в комнате стонет женщина. Долго прислушивался.

«Да, стон...»

Рисовалась уже садическая оргия или кровавая драма... Встал, открыл дверь на балкон и тут понял, что это стонет голубь на карнизе, у кариатиды.

«Сексуальный экстаз... но без всякого садизма!».

Даже засмеялся игре своего воображения.

«Вот так видят привидения и слышат голоса с того света».

* * *

Теперь тоже скользнула улыбка. Голуби улетели вдвоем.

«Похотливые птицы... Но строго чтут домашний очаг. Пара всегда верна друг другу... Это хорошо для масс, но не годится для тех, кто должен будоражить человечество... Однолюбы плоски и шаблонны. Нужны ошибки, провалы, взлёты... Взлётов у меня было достаточно, но светоча человечества из меня не вышло! Ничего, еще не кончено. Теперь самые ценные годы. Умудренность... Я еще что-нибудь сделаю. Вот, может быть, моя книга об авгурах даст что-нибудь людям. Я буду работать над ней долго, упорно... Потом над второй... Третьей... Я хочу вложить туда мысли сорока лет... Но только имейте в виду, что я ничего не должен и ни перед кем не обязан. Моя жизнь принадлежит только мне — но я хочу сделать и сделаю... Почему? Сколько раз я задаю себе этот вопрос. Может быть потому, что во мне сильнее, чем в других, импульс жизни и такие, как я, инстинктивно охраняют ее?.. Я не могу заставить свои волосы не расти: я не могу не сделать что-то для продолжения жизни человечества... А если человечеству нужно жить, то оно должно жить как можно лучше... Свое личное право на эту лучшую жизнь я отвоевал и теперь импульс жизни толкает меня на охрану и улучшение общего. Я не могу сопротивляться. И не нужно сопротивляться. Подчинение этому импульсу приятно, в нем наслаждение — он и мое «я» совпадают...»

* * *

...«Но это случилось только теперь. Только теперь, когда я нашел свое место. Когда это не жертва, а на-

слаждение. Когда мои желания съужены до выполнимой нормы и норма выполнена... Но если бы мне захотели отвести место в низах, в лишениях — несмотря на всю ту работу над собой, какую я проделал — и приказали бы мне трудиться только для будущих поколений, а самому переносить покорно лишения, и около меня гуляли бы наследственные лорды... о, тогда может быть нет того преступления, перед которым я остановился бы в борьбе за мое право на жизнь!..»

«Может быть?.. Но ведь кажется дело то в том, что дошедший до такого духовного состояния, столько передумавший, тысячи раз себя осудивший и оправдавший и не может остаться в низах!? Никакие преступления ему и не понадобятся. Никаких он не совершит... Никаких совершить он не может... Может быть, тут тайна морали? Может быть, тут охрана импульса жизни?...»

* * *

Мимо проходили. Мужчины были такие, как везде, но женщины особенные. Подчеркнули в себе все лучшее и умело выставили на показ. Чья-то художественная мысль работала над их костюмами.

«Да, да, а как мне было трудно...»

Вспомнил жизнь в Нью-Иорке, когда деньги уменьшались со дня на день. До сих пор огненными знаками было выжженно в мозгу «U.S.», «U.C.S.»...

«Эти таинственные буквы ничего не говорят непосвященным. Но сколько связано с ними у меня! Тогда из-за них первый раз в жизни стали лезть волосы. Так, сразу, выпадали целыми прядями... Это названия акций на нью-иоркской бирже...»

Тогда, приехавши в Нью-Иорк, после неудачи с куриной фермой в Калифорнии, он попробовал играть на бирже. В несколько дней было заработано десять тысяч долларов и потом в два дня все потеряно! Еще добавил тысячу своих и еле-еле успел выскочить... Не

спал ночами. С остановившимся сердцем смотрел на ленту «тикера», когда вдруг началось падение... Сначала неведомо почему «U.S.» — «соединенная сталь» — стали падать, а «U.C.S.» — «соединенные сигары» в это же время поднимались. И каждую минуту подсчитывал, что больше — потеря или заработок? И не знал, что продать: — то, что падает, или то, что подымается?!.. А потом стали падать и «U.C.S.» и едва успел дать приказ о продаже того и другого...

Назавтра котировки были еще ниже — потерял бы вместо тысячи — семь... Но зато через пять дней цены были настолько выше, что если бы тогда не продал, то заработал бы тринадцать тысяч долларов!..

Тогда дал себе клятву никогда больше не подходить к нью-иоркской бирже.

«Ведь это не Петербург, где ходил за кулисы и знал все тайны магов биржи. Тут оказался в толпе — среди тех, которые всегда рано или поздно проигрывают...»

* * *

Ушел оттуда потрепанный. Точно кем-то оскорбленный, униженный, хотя и с небольшой потерей...

А Глаша в это время, чтобы чем-нибудь помочь, отказывалась от утреннего кофе, уверяя, что у нее болит после этого голова: чтобы съэкономить каждое утро доллар на брэкфесте!...

А потом еще в Лондоне, когда жили в шикарном отеле, Глаша тоже уверяла, что здесь очень плохой кофе и купила кофейник и сама варила тайком, прячась от прислуги, чтобы съэкономить на этом пять шиллингов!... Потом она призналась.

Он протестовал, даже издевался над ней за эту грошевую экономию, называл это мещанством, а в глубине был ей благодарен за эту трогательную заботу об их будущем... Ведь будущее рисовалось туманным, неведомым...

Всякая мысль о спекуляции, каком-либо легком заработке с риском была раз навсегда отброшена. Стал

искать работу. Но найти было невозможно. Один раз пошел даже в драном пиджаке утром на биржу труда и думал наняться на любые поденные работы, тайком, прячась от всех. Не столько даже для заработка восьми шиллингов, а чтобы найти удовлетворение в сознании, что наконец что-то заработал...

* * *

Потом в музеях... Сидел три месяца, роясь в папках с гравюрами, в справочниках, в руководствах. Изучал гравюры. В русском отделе нашел полную путаницу. Англичане, составляя каталог, вносили одного и того же художника в разные рубрики: то по фамилии, то по отчеству. Русское отчество никак не укладывалось в их головы... Он предложил хранителю музея привести в порядок их каталог. Просидел над этим еще больше месяца. Сделал все тщательно и надеялся, что ему за это что-нибудь заплатят. Но те даже и не подумали. Даже удивились, когда он намекнул... Просить о какой-либо дальнейшей работе тут было бесполезно.

Сколько еще разочарований в этом искании денег, какого нибудь дохода, заработка! А свои, привезенные, все таяли и таяли, не принося никакого дохода, потому что боялся их куда-либо поместить — все было ненадежно. И действительно было ненадежно, как потом выяснилось. Дома обесценились. акции упали, упала даже самая валюта...

XXV.

ИГРА.

Крупных игроков больше нет! Они вымирают, как голубые гуси или зубры... Совсем еще недавно водились на земной поверхности в изобилии, а сейчас почти уже нет. А как раз в расчете на них строились эти новые дворцы азарта. Храмы игры.

«Но ничего — на постройке кто-то заработал десяток миллионов и многим дана была работа... Какой абсурд, что нужно выдумывать людям работу!» — думал Арсений.

«На каждом шагу безвкусие здешних авгуров. Вот этот подземный тоннель в прежний игорный клуб был такой уютный и таинственный, с монастырскими сводами, кривой, узенькой винтовой лестницей... Казалось, что тут совершаются страшные убийства, что идешь на самофракийские мистерии или розенкрейцерские таинства... Тут кто-то убит и ограблен — вот эти пятнышки, может быть, остатки крови!?... Сколько людей прошло здесь с упавшим сердцем от потерянного состояния! Или с подъемом от мимолетного выигрыша... На повороте, так что ему был виден весь тоннель, сидел стражник и охранял бриллианты и деньги проходящих.»

* * *

«Тогда верили еще в счастье! Тогда считали демона игры широкой натурой, способным на красивый жест.»

«Вот возьму и дам этому состояние!...»

«Тогда было столько крупных игроков, что кто-нибудь действительно крупно выигрывал. Даже увозил отсюда на время деньги. Только на время!... Демон игры уже не выпускал его. Договор подписывали кровью. Ни один человек не сохранил состояния, выигранного в рулетку... Но всетаки демон игры иногда

забавлялся, шутил. Дразнил мимолетным богатством... А теперь?...»

«Демон полинял, выцвел. Может быть, тоже состарился, бедняга? Во всяком случае теперь он способен только на мелкие пакости... Вероятно, его обозлило, что убрали золото и играют какими-то замусоленными костяшками. Нет больше очарования золота!»...

* * *

Арсений ходил около столов, смотрел на анемичную, выродившуюся игру и самого уже почти не тянуло.

«Искусы игры пережиты, передуманы. Перевыстраданы... Все системы отброшены навсегда, как детский лепет. Системы стали абсурдными перед постигнутой наконец простой аксиомой: «предыдущий удар никак не влияет на последующий».

«Сколько лет мне для этого понадобилось! А так просто»...

Прочел тогда десятки специальных книг, дошел до формул высшей математики, чтобы понять, наконец, такое простое...

Вспомнил, как встретился на пароходе с одним из директоров казино и рассказал ему о своих исканиях. Тот молчал, улыбался, и наконец не выдержал. Сказал:

«Мы ничему так не радуемся, как новой системе».

И тихонько засмеялся и даже потер руки под столом одна о другую.

«Да, детский лепет... А сколько раз, десятков, сотен раз, сердце замирало в тревоге ожидания!... Заходилось и потом громко стучало в грудь и молоточками отдавалось в висках, и холодный пот выступал на лбу... Тогда еще лоб был без морщин...»

«Морщины теперь прочно наметились. Собираются в складки при напряжении мысли. И странно — эти складки выражают не боль или печаль, а обострение мысли и в этом обострении радость жизни, наслаждение... От этих складок мысли тоже усиленно бьется

сердце и кровь приливает к голове, но в сознании удовлетворенность от какого-то маленького достижения... Ничтожного, может быть крохотного, но вся цена жизни именно в них... И совсем не жалко прошлого, не жалко молодости, а хочется только как можно дольше растянуть настоящее и еще обострить мысль...»

* * *

Здесь было много доступных женщин. Самые интересные по виду и были доступные...

Две-три прожженных, ищущие тщетно жертв. Большинство — сами жертвы. Мечтали, может быть, разорять богатых мужчин, как бессмертная Нана, рожденная бессмертным писателем. Может быть, думали о карьере Отеро, Клео де Мерод или даже Коре Пэрль, срывавшей банк и потом выгнанной отсюда, когда все проиграла... Может, о блистающей сейчас в Париже мулатке...

Вместо этого продавались по мелочи, кормили своих «жиголо». Жгли свою молодость. Красивые и женственные, щедро оделенные природой, но не предназначенные судьбою для взлетов. Хотя бы мимолетных...

* * *

Арсений смотрел на них сочувственно. Теплые флюиды шли от него, несмотря на насупленные, поглощенные мыслью, взгляды.

Но его не влекло к ним. Скорее боялся их.

«Может быть потому, что в детстве у меня не было ласки и близкой души, я потом искал всегда не гришкиных женщин, не связи на один день, а близости долгой, какого то созвучия душ... Чтоб можно было придти к ней в минуту печали и заплакать, и она поняла бы и утешила, и не смеялась бы потом... Сколько у меня было таких трудных минут! Как хорошо, что это ушло! Виноват ли я сам, что было так много трудного? Почему было так трудно?... Я знаю теперь, почему. По-

тому что я никогда не хотел мириться с тем, что есть, а лез выше, все выше... Полжизни карабкался вверх. Сворачивал с гладкой проторенной дороги, по которой итти много легче... Но зато как хорошо теперь! Не с деньгами. Деньги между прочим. Деньги у многих... У меня гроши в сравнении вот с этим...»

* *
*

Посмотрел на проходившего мимо американского «короля». Знал его. Его все знали.

«Он теперь разорен биржевым крахом. Но у него разоренного еще в сто раз больше, чем у меня.»

«Не деньги» — думал удовлетворенно... «У него в сто раз больше, но я богаче его.. Мне интереснее жить. Я вижу его насквозь, а он меня не видит... Не может видеть... А обед мы едим тот же самый и одинаково можем смотреть на радостное море и вдыхать аромат олеандров.. Все равно он не может съесть десять обедов, не может надеть десять пиджаков и три смокинга! Деньги согревают душу только до известной нормы — дальше они жгут ее... У меня чемодан книг, а у него нет. Когда человек полюбит свой чемодан книг больше всего—это счастье! Понимаешь, король маринованной лососины и других консервов!? Нет, не понимаешь и никогда не поймешь. Так и помрешь, подсчитывая, сколько миллионов банок продано... Наложить чемодан книг можешь и ты, но это ровно ничего тебе не даст. Каждую книгу нужно выбрать, как любимую женщину, знать, какую ты должен выбрать, почему именно эту, а не другую, и от каждой взять маленькую радость... Как любимую женщину — знать почему... Книги-то я знаю каждую почему, а разве я знаю, почему Зоя? Зоя... Да, почему?!.. Все равно почему — ты мне нужна, милая Зоя, ты мне необходима. Ты будешь со мной... Сегодня она пишет, что выедет первого — через десять дней... Через девять, если не считать уже сегодня... Милая девочка — ты приедешь?».

* *
*

«В чьих ты руках была вчера?» — подумал о проходившей мимо молоденькой демимонденке. И опять мелькнула Зоя. Кольнуло что-то.

«А может быть, только случайность, что Зоя не с ними. Она тоже могла бы оказаться здесь. Я просто смотрю на нее другими глазами... Почему? Да, вот почему?...»

Одна высокая, стройная, в светло-зеленой пижаме, особенно металась около столов. Она вчера проиграла несколько тысяч, а сегодня нервно перебирала в руке, как четки, три или четыре пятифранковых костяшки.

Тут нельзя ставить меньше двадцати, даже в рулетку. А она верила только в баккара. Там минимум сто.

Искала мужчину, который даст денег. Таких не было. у одного спросила всетаки — он холодно ответил:

«Sorry... сожалею...»

И только. И не дал.

Металась от стола к столу. От игрока к игроку. Около всех, кто играл крупнее («гроши в сравнении с прошлым...») уже увивались другие. Жались к ним, ластились, заговаривали. Летели, как осы на варенье.

«Только это не осы, скорее мотылки, маленькие моли с крылышками, стирающимися от легкого прикосновения... Из-за Нана стрелялись, клали все ей к ногам, она швырялась любовниками — Нана больше нет... Нет больше безумных увлечений кокотками...»

Светло-зеленая пижама нервно щелкает костяшками. Костяшками и пальцами. Точно в испанском танце. Опять срывается и бежит еще к другому столу. Там банкомет в chemin de fer бьет четвертую карту... Садится позади, прижимается, что-то ласково и деланно-задорно говорит. Кладет наманикюренную руку ему на плечо. Рука красивая, от нее хорошо пахнет...

* * *

Но банкомет снимает банк, даже не отвечает ей — точно пустое место — и уходит.

Она садится на его стул. Банк доходит до нее — ей держать не на что. Предлагает соседу метать за него и добавляет своих десять франков.

Первая же карта бита...

Нервно вздрагивает рука и опять сидит и обкусывает губы. Нужно место новому игроку. Ее просят уступить. Ее знают. Тут всё и всех знают и видят.

Она с улыбкой уступает, но остается сидеть сзади.

Банкомет бьет одну, две, три карты... Она в восторге! В этом деланном восторге, дотрагивается до его плеча и легонько стучит пальцем по деревянной коробке с картами.

«На счастье»...

Он опять бьет. Уже тысячи три. Мелочь в сравнении с крупной игрой даже теперешней, но для нее ведь вопрос в ста франках.

«Это было мое место... Это я принесла вам счастье» — быстро шепчет она, когда он кладет костяшки в карман. Он презрительно, холодно улыбаясь, дает ей три костяшки по двадцать франков... Почему то именно три? — мог бы дать и две, и пять, и ни одной.. У него было пять по двадцати...

Она счастлива. Счастлива на эти секунды, на несколько минут. Она сама уже может теперь сделать ставку!

Кто знает — на 60 можно выиграть 6000. А на 6000—600.000...

* *
*

«Сколько соблазна в игре, знает только тот, кто сам играл. Кто проводил ночи в кошмаре после проигрыша. У кого сердце замирало в ожидании и вдруг пускалось в радостный ритм—открыта девятка!.. Чтобы побить одну карту, переживал в течение секунд несколько провалов в пропасть и радостных взлетов в высь...»

«Кого заливали, как волны, надежды и разочарования, быстро, в секунды, сменяясь...»

Арсений вспомнил, как он здесь однажды держал банк в баккара и наметал на тысячу франков около тридцати. В первый раз в жизни так много. Решил дать еще последнюю карту и тогда сняться. Оба табло оказались сильно заставленными, банк перекрыл подошедший новый понтёр — и на оба табло он дал по восьмерке!.. Все пропало, в один несчастный удар ушло накопленное пятью счастливыми... Сердце, казалось, остановилось, стол и люди куда-то поплыли...

Рука дрожала, когда он открывал свои карты — увы, почти безнадежные, когда там две восьмерки!.. — И случилось единственное возможное для спасения — у него тоже оказалась восьмерка!..

Он дальше не дал карт, снял банк. Первый раз в жизни была случайная удача, чего то добился не логикой, не работой, не расчетом, а чистым случаем...

Но и тогда не уехал с этими деньгами. От них осталось тысяч четыре-пять, на которые что-то купил, прожил и заплатил за билеты: уехал без денег, погнавшись за новым случаем...

* * *

Сколько раз он говорил себе выдуманную самим же предательскую фразу:

«Надо дать судьбе высказаться»...

Может быть, судьба как раз сейчас что-то и подготовила для него... «Говорят же, что каждому судьба подсовывает хотя один раз в жизни большое счастье, но редко кто умеет взять его, не видит...» И, давая судьбе высказаться, проигрывал последнюю бумажку!

«Может быть, она хитрит, играет со мной, вот как раз так и решила — все дать проиграть, а на последней ставке вдруг начнет везти и все вернется, и еще с громадным выигрышем? Судьба капризна...»

Сколько раз старался угадать этот каприз судьбы и проигрывал последнее, что было в кармане... Мало того, — еще возвращался в гостиницу, брал то, что

было нарочно не взято с собой, чтоб не проиграть, и с этим ехал обратно.

«А может быть, судьба так и замыслила, чтоб я не только проиграл то, что было в кармане, а чтоб я поехал обратно, взял что отложено и все проиграл до конца, — и вот тогда на последней ставке задержится и вот тут-то начнется везенье?...»

* * *

Проигрывал отложенное...

Был даже такой случай, когда, приехавши в гостиницу за оставленным, отложил вторично ровно столько, сколько надо было на уплату по счету и на билет в Петербург, а с остальным поехал играть. Проиграл, еще раз вернулся, взял то, что было отложено на уплату по счету и на билет и с этим снова поехал играть.

Проиграл и это, так что пришлось уже занять у швейцара на телеграмму в Петербург...

Эти испытания судьбы, угадыванья ее капризов давно уже были закончены. Почти забыты.

Но всетаки и в этот раз опять вдруг задрожал какой-то нервик, «может быть, адренолин попал не в ту клеточку» и только что ясное и твердое раз навсегда решение не играть столкнулось с мыслью:

«Аскетизм, запреты... Сухарь какой-то?!...»

Только что смеялся над наивностью девицы, метавшейся от стола к столу, и вдруг у самого задрожал опять заснувший было навсегда нервик азарта. Увидел, что стол с баккара «раздает». Крупье печально возглашал «payons partout» и платил оба табло. Шла неудачная для банкомета серия.

«Только и играть, когда идет такая серия. И если играть, то надо играть именно в баккара, потому что тут казино никаких процентов не отсчитывает».

Тут шансы у банкомета и понтёра равные. У банкомета по математическому подсчету есть процента четыре лишнего шанса в том, что он, прикупая, видит

уже карту противника и может остановиться иногда на четверке, или даже на тройке, или прикупить к шестерке. Но зато у понтёра право регулировать ставку: если он замечает, что талия благоприятна для банкомета, он может ставки понижать. И увеличивать, когда банкомету не везет. А банкомет в «ответном банке» обязан принимать всякие ставки...

«Да, именно, если играть, то играть только в баккара... И именно тогда, когда банкомет раздает...»

* * *

И еще мелькнуло:

«Поставлю на счастье Зои!»

И тут же одновременно:

«Как глупо! Причем тут Зоя?... Какое влияние может оказать Зоя на порядок карт в талии?.. Это вроде моих духо́в... До сих пор не могу стряхнуть с себя этого. Сегодня утром еще раз поймал себя... Взял один из двух флаконов, хотел надушить платок и остановился — те, другие духи, приносят больше удачи!... За последние дни я теми душился и все было как-то удачливее... интереснее.. До чего глупо! Начальная степень сумасшествия. Однако вот столько лет не могу окончательно отделаться от этих примет детства. Непростительное слабоволие. Не только слабоволие — глупость... А если стать себя заставлять нарочно душиться одними, когда хочешь взять другие, выходит опять то же самое: тогда преднамеренно берешь именно эти, потому что с другими что-то связано. Трагически глупо!...»

Все это передумал в несколько секунд. Передумал, осудил, отбросил и всетаки подошел к столу и поставил!

Поставил и проиграл... Как раз в этот момент серия повернулась в сторону банкомета и, начиная с этой карты, он стал бить...

* * *

Было неприятно.

Однако совсем не так, как бывало когда-то. Не только потому, что сумма невелика.

«Всяких денег жалко и теперь... Деньги нужно тратить — не копить, а тратить... Лучше всего, чтобы к моменту смерти был истрачен последний франк. Но надо, чтобы за деньги — с таким напряжением отвоеванные — были получены настоящие ценности. То, что доставляет радость... А тут ушли так глупо — акционерам этого игорного дома. Здесь все построено на человеческом легкомыслии и я тоже попал в эту кучу!...»

Проигрыш всетаки был неприятен. Но, как всегда теперь, сейчас же нашел хорошее и в этом.

«Надо зайти с другой стороны. С этой стороны на декорации мрачное ущелье, а с другой — радостный сад с фонтанами. На том же полотне... Я проиграл — и хорошо, что проиграл! Еще одно доказательство, что мне никогда ни в чем не везло, а успех, когда он был, приходил только от логики, от неизбежности... от себя самого. Там, где был расчет на случай, никогда ничего хорошего не случалось... Моя независимость, все отвоеванное — не случайно и случайно от меня уйти не может. Логично пришло, логично останется. Да, да... Мне не нужно бросать в море поликратовых перстней. У меня не уйдет! У меня останется, как остается луна около земли, земля с луной около солнца. Действует не случай, а нерушимый закон... Только тогда может уйти, если вся система развалится, и то у меня у последнего уйдет...»

Ушел из залы спокойный и даже обрадованный. Идя по тоннелю в отель, еще подумал:

«Царство божие внутри вас...»

XXVI.

ФЕЙЕРВЕРК.

Вечером на скале, где стоит дворец принца, жгли грандиозный фейерверк в честь собирателей марок. Сейчас съезд филателистов и выставка, на которой показывают марку, стоющую полтора миллиона франков.

«Могли оценить и в пятнадцать миллионов — все равно покупать никто не собирается», — думал Арсений.

«Фейерверк в честь собирателей марок!.. Не все ли равно по какому поводу фейерверк, раз это красиво?...»

А красиво было.

С высокого обрыва в море падали огненные водопады. Вдали переливался столб луны — природа дополняла человеческую затею...

Огненной стеной падал дождь серебрянных искр и цветные шары взлетали вверх, бомбардируя небо. Сотни, тысячи...

Потом ракеты чертили огненные хвосты и рассыпались золотыми снопами...

Горящий спрут разметался над скалой и сгорал под пушечную канонаду, извиваясь в конвульсиях...

Далёко сверху, может быть удивленно, смотрели звезды...

* * *

...«Сжигают за десять минут столько человеческого труда! Хорошо-ли? Да, хорошо... Такое употребление труда логично и прекрасно. Это восхищает людей — дает подъем. Эта бессмыслица вносит какой-то смысл в жизнь, хотя бы на десять минут... Красивое зрелище стоит, может быть, больше, чем самая сложная и остроумная машина. Машина съедает душу, а фейерверк ее радует... обогощает. Он увеличит в ней, хотя на крупицу, любовь к красоте. Этого нет у животных, это только

у homo sapiens. Это важно и ценно... Может быть, фейерверк скажет некоторым и другое?.. Сгорело и нет, остался дым и запах пороха и серы! Так все сгорает. Все горение, наша жизнь — горение, и мы сгораем. Так хоть гореть красивей и большим огнем!.. А как это гореть большим огнем? Как?!..»

Арсений вернулся в отель, надел смокинг и поехал вниз на пляж в игорный клуб.

Тут только собирались. Тут полно только к двенадцати.

* * *

Он был уверен, что ему лучше, чем им. У него не так пусто, как у них. Для него эта обстановка только театр. Только декорация для мысли.

«Я вероятно такой тут один, во всех этих мраморных залах. Для меня самое интересное в дне, найти новую острую мысль... Но что я сделал за свои пятьдесят лет? Деньги, карьеру? — и та разбита... Нет, не совсем так... Я думал, колебался, искал, менялся, а за это уже кое-что простится... Простится! Кто это будет прощать?.. У кого на это право?... И где вообще вина?.. Ничем и ни перед кем я не виноват — наоборот, может быть, кто-нибудь еще передо мной виноват, что вообще пустил меня жить и не дал мне лучшего. Другим давалось больше... Опять вспомнил четверостишие Омар Хаяма, которое так часто повторял:

«Ты наше сердце в грязный ком вложил.
Ты в рай змею коварную впустил.
И человеку — Ты же обвинитель?
Скорей прости! Чтоб он Тебя простил.»

* * *

Он жил не так, как другие — он ложился спать в одиннадцать, а другие в это время только начинали обедать. Сегодня он решил сделать исключение.

Сегодня внизу был обед сверх-гала, с балетом и знаменитой певицей. Съехались в собственных и на-

емных автомобилях из других мест Ривьеры, потом филателисты: было совсем полно и, глядя на эту шикарную толпу, в голову не приходил кризис, охвативший мир.

Арсений хотел сегодня посмотреть на игру этой английской лэди, которая ставит на стол только максимумы и, выигравши, не снимает, а ждет, пока накопится такая куча десятитысячных и пятидесятитысячных «пляк», что им уже нет больше места на столе. Ее это особенно занимает. Кусая тонкие губы, она самодовольно, как будто с полным безразличием, наблюдает, как крупье строют целые сооружения из ее больших костяшек. Чаще ее максимумы сгребаются лопаткой в кассу банка и она почти всегда уходит из клуба с проигрышем. Но бывают случаи и выигрыша и тогда на столе строются эти дома из ее денег. А кругом, вблизи и вдали, наблюдают любопытные, делая это так, чтобы не подчеркивать своего любопытства. Так, мимоходом, невзначай посматривают на эти постройки. Завидуют, или возмущаются, или хранят абсолютное безразличие — но всетаки наблюдают.

* * *

Знакомый директор игорного дома сказал, что сегодня она тоже будет играть. Они здесь все знают — у кого сколько в кармане и даже кто будет сегодня играть и кто не будет. Понятно, мелочью не интересуются. Но эта английская лэди пользуется полным вниманием и кредитом. Она этим рисуется. Нарочно не берет с собой денег. Подходит к столу и, держа в губах папиросу, сквозь губы цедит:

«Максимум на красную».

Шеф стола делает знак крупье и тот быстро кладет на красную шесть больших пляк. Она может повторить так несколько раз свой умышленно небрежный приказ. Все время с папиросой, все время сквозь зубы — и всякий раз будут послушно ставить на стол шесть больших красных продолговатых костяшек по десять тысяч.

Инспектор записывает себе в маленькую книжку и потом, когда часа в три ночи лэди выходит, ей подают счет и она выписывает чек. Иногда она не хочет выписывать сейчас, так устала — и тогда на утро к ней кого-нибудь посылают и она пишет чек за утренним кофе...

Она пользуется очень хорошей репутацией в дирекции казино и клуба — с нею никогда не бывает недоразумений, как бывало с некоторыми другими. Подают счет на 430.000, а тот спорит, что только 425.000... С этой лэди никогда нет недоразумений — она или точно помнит, или всецело полагается на шефов.

* * *

Директор не ошибся. Лэди играла.

Арсений стал сзади за ней вплотную. За столом баккара. Рядом вдруг оказался князь Юрий. Проигравши несколько крупных ставок, лэди попросила своего соседа-англичанина ставить за нее из ее кучи — как он хочет, все равно — а сама побежала к столу рулетки и стала играть там максимумами. Оставивши и тут распоряжение, чтобы ставили все время по тридцати тысяч на черную, она пошла к столу трант-э-карант и там стала ставить на красную, по шестьдесят тысяч...

Потом вернулась к столу баккара.

Арсений не слышал начала разговора. Но, подойдя обратно к ее креслу, он услышал, как князь Юрий что-то ей горячо доказывает.

Арсений долго стоял совсем вплотную к князю Юрию, но тот его не замечал. Он наклонился к прическе лэди и тихо, но убедительно что-то говорил ей. Та продолжала играть, не отвечая и как будто не слушая.

От лэди пахло модными дорогими духами того же дома, который шил и ее платья, но Арсения поразил запах от пиджака князя Юрия. «Какой-то знакомый?» — но не мог сразу припомнить. И вдруг вспомнил —

«капельдинерский запах... Так пахли капельдинеры в императорских театрах в старое доброе время. Да, да — именно такой запах... Как странно!..»

* *
*

Стал прислушиваться.

Князь Юрий убеждал лэди играть с ним пополам. Ей сегодня не везет, а ему почему-то кажется, что у него сегодня счастливый день. Она должна дать ему тридцать тысяч франков и выигрыш они поделят пополам. А эти тридцать тысяч он ей во всяком случае возвратит в ближайшие дни полностью, и в случае выигрыша, и в случае проигрыша. Она может только выиграть, если ему повезет, но никак не может потерять, потому что эти тридцать тысяч франков он ей возвращает во всяком случае.

«I owe you... Я должен вам эти тридцать тысяч франков...»

«I owe you».

Лэди продолжала играть, как будто не слушая, и даже один раз отмахнулась рукой от его разговора. Но было неясно, отмахивает ли она дым своей папиросы или отмахивается от него. Она ни разу не повернулась к нему и не произнесла ни одного слова. Но князь Юрий продолжал говорить ей все убедительней и наконец лэди, опять сделавши такой же неопределенный жест, взяла со стола три пляки по десять тысяч, левой рукой, и протянула их ему назад, не оборачиваясь. Почему именно левой рукой? Может быть потому, что в правой она держала в это время папиросу и ей было неудобно правой?..

* *
*

Князь быстро пошел к столу рулетки и подал инспектору десяти-тысячную пляку, а две других зажал в левой руке. Шеф отдал крупье, тот разменял на пя-

тисотенные и поставил на номера указанные князем Юрием.

Номера проиграли.

Еще раз поставил на те же номера и один из них выиграл.

Потом еще несколько раз — и от десяти тысяч ничего не осталось.

Арсений издали наблюдал: теперь уже не за лэди, а за князем Юрием. Он ждал, что князь Юрий даст разменять вторые десять тысяч. Но этого не случилось. Князь Юрий сунул в карман две оставшихся пляки, и пошел в другую залу, а оттуда в бар...

Выпивши там бокал шампанского, он подошел опять к столу лэди и развел руками, показывая издали, что к сожалению проиграл. Но потом подошел вплотную и еще раз подтвердил:

«I owe you — я вам должен тридцать тысяч...»

* *
*

На следующее утро князь Юрий в купальном костюме опять сидел на ступеньках бара.

Арсений невольно посмотрел на его голые ноги. Он вспомнил, как в детстве все жаловались на мозоли...

В их городок приезжал один раз какой-то великий князь и он, Арсений, тогда подумал — «вот у царя и у великих князей наверное нет мозолей». Вспомнил это и увидел, что у князя Юрия есть мозоли. И много!..

«Хорошо-ли, что я интересуюсь такими низменными вопросами? Несомненно хорошо, потому что это вызвало у меня улыбку, а улыбаться нужно как можно чаще — улыбка солнце жизни».

Встал и подошел к князю.

«Здравствуйте, ваше высочество».

Не знал, зачем это сделал, зачем ему опять князь Юрий. Ничего интересного он не скажет — разве что пойти вместе в бар пить коктейль. А коктейлей он не пьет, да еще утром.

«Сегодня на гала будете?»—спросил князь Юрий. Вероятно, потому спросил, что не знал, что сказать другое. Арсения всетаки удивляло, что за несколько встреч он не услышал от него ни одной фразы, которая была бы приметна или интересна. Хотя бы оригинальна своей глупостью...

* * *

Отошел.

Плавал в море.

Потом сидел на теплом песке и зарывал в него ноги. Нравилось здесь. Как раз столько тепла, сколько полагается человеку по назначению природы — недалеко от температуры крови.

Море здесь чаще смеется, чем сердится. Много солнца и глубоких теней. Голубая высь, рисунчатый рельеф, причудливые облака на прибрежных горах. Даже этот дым вдали, вырывающийся из тоннеля — и он красив.

«А эти олеандры с теплым пряным запахом!»

Особенно эти олеандры захватывали его. Пряный, немного ядовитый запах. Как бы наводящий грезы. Особенно сильно пахнут в полдень на ярком солнце. Совсем не так, как другие цветы — те ароматны по вечерам.

«В олеандровом запахе что-то восточное, эротическое... Они пахнут днем, но в них запах ночных оргий, спальни Аспазии, вавилонских гаремов Навуходоносора... Опочивален Клеопатры...»

Он подошел к кусту, просунул голову среди теплых цветов и глубоко вдыхал их аромат... И тут почему-то стало вдруг жалко уже ушедших навсегда годов. Жалко уже пережитых сексуальных оргий.

«Могло бы быть много больше... Осталось ли что либо впереди? Или уже кончено?.. Нет, нет...»

Мелькнул образ Зои...

* * *

На затянутых коврами лестницах отеля и там, внизу, на пляже — пахло духами. Не было прокислого запаха людской толпы.

«Здесь нечистые души, но чистые тела.. Сюда съезжаются живущие за счет труда других, прошлого и настоящего...»

И всетаки ему хотелось быть именно здесь. Еще недавно он относился к ним враждебно. Наружно он никогда этой враждебности не высказывал — сам жил почти такой же жизнью, как и они. Осуждал их только про себя...

Это раньше.

Теперь отношение к ним изменилось.

«Может быть, они необходимы, эти пустые, эксцентричные, но хорошо пахнущие люди?.. Может быть, они нужны в цирке жизни, как нужны в обыкновенном цирке или варьетэ веселые эксцентрики, выделывающие абсурдные штучки, самые глупые, какие можно только вообразить... Без них было бы скучно жить... А ведь жизнь только тогда и имеет цель, если она радостная. Радостность в разнообразии и в противоположностях. Скучная жизнъ — это почти уже смерть или во всяком случае приближение к смерти...»

«Им самим, этим хорошо пахнущим людям, не очень весело. Им все давно надоело. Им не на что опереться в собственной пустоте. Но они летают, как пестрые бабочки над лугом жизни. Гусеницы бабочек пожирают урожай, но тем не менее бабочки красивы! И на лугу должны быть бабочки — иначе пропадет вся поэзия луга...»

* * *

Вечером на гала должен был приехать наследный принц великой державы. Вместо восьмидесяти франков обед сегодня стоил сто двадцать и прейскурант вин повышен. Эти обеды особенно неприятны — сутолока, еда остыла, лакеи носятся, как угорелые, забывают подать, что нужно... Мэтр д'отели смотрят укоризненно, если на столике выручка меньше пятисот франков...

Арсений решил не идти, а обедать у себя в отеле.

Там, внизу, к обеду собираются к десяти. Если придти раньше, никого не будет и лакеи смотрят с иронией. Впрочем, настоящие баре давно выродились. Появляются изредка «настоящие» англичане и немцы, но у тех своеобразные вкусы, мало понимают в еде и вине. Совсем другие были в прошедшие времена, когда приезжали настоящие богатые русские, австрийцы, разные экзотические принцы. Французы в еде понимают и в вине тоже, но они норовят за свои пятьдесят франков выжать на сто, капризничают, требовательны, им никак не угодишь. И на чай дают в обрез...

* * *

Нарушая все правила, Арсений спустился обедать в половине восьмого, как только открываются обеденные залы. Ел в пустом ресторане. Уже когда он уходил, пришло еще человек пять. Поднявшись к себе наверх, разделся, надел купальный халат и сел на балконе читать. Был душный, влажный, теплый вечер. Море уже ложилось спать.

На террасе ресторана теперь появлялись обедающие.

Арсению показалось, что вошел князь Юрий! Нет, вероятно он ошибся — князь Юрий никогда здесь не бывает, он живет там внизу и обедает там же. Во всяком случае в те дни, когда там обед-гала. Будь сегодня здесь обед-гала, тогда бы его появление было естественно, но так — не может быть...

«Однако, это он...»

Взял бинокль.

«Да, князь Юрий!... С каким-то плюгавеньким незнакомым человечком. Что это значит?»

И вдруг все стало ясно.

* * *

Мимо проехало три автомобиля с флажками иностранной великой державы — это ехал на пляж, туда

вниз, наследный принц этой великой державы. И князь Юрий, зная, что тот приедет, скрылся сюда!... Его, не пригласили за стол принца, а сидеть где-то за другим значило бы себя окончательно похоронить в глазах всех здешних. Как же это? Он, князь Юрий, всегда бывал в центре, и в отчетах местных газет его имя всегда помещается первым, а тут вдруг он не за главным столом, не за столом наследного принца!..

«Трагикомическая история... Как это ни смешно, я не хотел бы быть на его месте. Для него это трагедия. В былые времена так случиться не могло — он, князь Юрий, был бы в числе первых приглашенных, и в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Он был бы самым почетным гостем за столом наследного принца, сидел бы, вероятно, по правую руку от него, следующим за самой почетной дамой... А теперь его даже не внесли в списки, он никому не нужен. По дипломатическим соображениям его даже неудобно пригласить. У великой державы ведь договор с большевиками. А князь Юрий член свергнутаго царского дома.»..

Арсений продолжал наблюдать в бинокль сверху выражение лица князя Юрия и ему казалось, он видит, что тот думает. Князь Юрий изредка, в пределах приличия, что-то отвечал своему маленькому компаньону, но думал, вероятно совсем о другом — об ушедшем величии, о безнадежности будущего... Уйдут ли большевики при его жизни?

* * *

Уже совсем стемнело и тут, на балконе, Арсения никто не мог видеть, а всё внизу для него было, как на сцене.

Князь Юрий небрежно, рассеянно ковырял вилкой в тарелке — видимо, не знал, что он ест. Отхлебнул глоток шампанского, поставил бокал на стол, потом вдруг налил до краев и выпил сразу, залпом. Потом

подпер голову рукой и смотрел куда-то в одну точку, забывши о своем компаньоне...

Прошло уже больше часу. Князь Юрий быстро посмотрел на часы и сказал что-то лакею — тот принес счет. Он небрежно бросил ему деньги, встал и пошел в бар. Обычно он никогда не ходил в бар сразу после обеда — это делается только позже, уже часов с двенадцати ночи, но тут нужно было как-нибудь убить время: наследный принц еще там, внизу, и туда нельзя возвращаться.

Арсений уже встал, чтобы идти внутрь. Становилось прохладно. Но вдруг полицейский в белой каске выпрямился и точно вырос. Снизу ехали автомобили...

«Это возвращается обратно наследный принц?.. Да, верно! Опять те же три автомобиля. Значит, наследный принц великой державы очень быстро пообедал и теперь едет в замок к местному принцу. Очевидно, так расчитано церемониалом. Наследный принц великой державы здесь теперь не официально, он просто отдыхает на Ривьере, но и неофициальная жизнь наследных принцев великих держав строго расписана.»

«Теперь князь Юрий может ехать обратно».

Он не ошибся.

Внизу раздался свисток — это швейцар у подъезда вызывал такси. На подъезд вышел князь Юрий опять с этим маленьким человечком, сели в такси и поехали обратно к себе на пляж.»

«Даже собственного автомобиля с императорским гербом нет больше у князя Юрия!»...

* * *

Арсению хотелось отдать себе отчет: — чувствует он сожаление или радуется?

Опять вспомнилось детство, как и утром — как он мальчишкой, гимназистом первого класса, дежурил на дамбе несколько часов, чтобы увидеть какого-то великого князя, зачем-то проездом попавшего в их город. Тогда этот проезжавший великий князь был полубо-

гом, существом высшего порядка, Арсений не мог ему даже завидовать, так он был ничтожен в сравнении с ним. Он просто переживал свою приниженность, ничтожность и потом этой приниженностью надолго была пропитана его жизнь. Он будет, может быть, миллионером, и даже наверно будет, но родиться второй раз нельзя — мещанином останешься на всю жизнь, а великий князь останется на всю жизнь великим князем.

И вот тепрь его положение лучше, чем положение князя Юрия, и он, Арсений, не может испытать такого унижения, какое только что пережил князь Юрий.

«Как хорошо!... Как хороша жизнь.»

* * *

Сегодня решил поехать в Ниццу. Никакой определенной цели не было. Так, просто. Такие роскошные дешевые автобусы.

«Автобусы съели тишину и поэзию, но они и прибавили много удовольствия... Только они должны стать бесшумными — техника что-то выдумает. Для автомобилей будут особые дороги, вдали от жилья, а пешеходам останутся спокойные тропинки. Машина может приносить радости, если ею умело пользоваться. Может облегчать жизнь. Теперь она отравляет жизнь, потому что некому ограничить ее. Это придет...»

Думал, сидя в автобусе и радуясь радостному морю, новому на каждом повороте дороги.

* * *

В Ницце вспомнил: —

«Я собирался пойти в музей»...

Пошел. Потом завтракал в дешевом ресторанчике. Народу было мало. Уже поздно — тут завтракают рано, тут нормальные люди.

...Вошел новый посетитель. Вставил в глаз монокль, осмотрелся, хотел сесть в дальний угол, но передумал и сел у той же стены, где был столик Арсения. Через

столик от него. Мэтр д'отель поздоровался, как со старым знакомым. Лакей тоже. Посетитель долго смотрел в карточку, ничего не выбрал, положил ее на стол и заказал наизусть яичницу и графинчик белого вина.

Наружность его была необычна. Длинные небрежно зачесанные на бок волосы, большой бэжевый галстук и такого же цвета широкая ленточка к моноклю. Он говорил с мэтр д'отелем и лакеем, как капризный ребенок.

Арсений подумал, что это, вероятно, какой-нибудь актер из варьетэ. Лакей, подавая ему, улыбался, не очень почтительно, но доброжелательно, с симпатией. Он долго и аккуратно ел яичницу и, когда лакей хотел уже убрать сковородку, остановил его и еще кусочком хлеба вытер масло. Потом спросил кусочек сыру. Спросил все самое дешевое...

Арсений уже кончил свою еду, но ему хотелось узнать, кто это такой. Он заказал кофе, закурил сигару и решил еще посидеть.

* * *

Посетитель в монокле тоже, наконец, все тщательно съел, посмотрел на Арсения, опять капризно подозвал мэтр д'отеля:

«Дайте мне вольтижэр».

Арсений знал, что это самые дешевые французские сигары. Мэтр д'отель переспросил, будто не понял что это такое. Посетитель пояснил. Мэтр д'отель, понятно, знал эти сигары, наверное сам их курил, но просто шутил, делая вид, что не понимает. Никогда никто из посетителей не спрашивает вольтижэров — вольтижэр стоит всего шестьдесят сантимов...

Арсений вынул из кармана портсигар, где оставалось две больших гаванны и протянул его соседу в монокле. Тот улыбнулся, но как будто не удивился.

«А что я должен вам за это сделать?» — опять капризничая, спросил он.

«Ничего», — ответил Арсений.

«Благодарю вас... Понятно, это много лучше, чем вольтижэр».

Лакей принес в это время коробку вольтижэров, но господин в монокле показал ему гаванну и похвастался.

«Нет, благодарю вас, уже не надо. Вот мне предложили превосходную гаванну и при этом даром», — он засмеялся милым, добродушным смехом.

* * *

С этой сигары начался разговор. Подвинулись ближе друг к другу. Арсений спросил, не артист ли он.

«Да, если хотите, артист... Я артист душою, но ничего артистического не творю. Вот сегодня вечером поеду к себе в замок и буду там всю ночь играть на фис-гармонии. Мои предки выходят из портретов и танцуют полонез...»

«В какой замок?»

«Это мой замок. Моя фамилия маркиз Бернон д'О. Замок XIII века... Вы не думайте, что я богатый, я очень бедный. Уже мой отец был совсем разоренный. Единственное, что у меня остается — этот замок, а мебель из него уже вся почти продана, только две комнаты осталось. Придется и их продать».

«Но ведь замок сам по себе стоит больших денег?»

«Нет, земля кругом уже вся распродана, а один замок никто не купит. Кроме того, на нем есть закладная, по которой не уплочены проценты... Но это друг нашей семьи и он не пускает пока замка в продажу».

«У вас там должен быть штат прислуги?»

«Никакой прислуги нет, только наш старый камердинер. Он живет там теперь, как сторож... Вы не можете представить себе, какое это громадное наслаждение играть ночью при свечах в пустой зале!... Луна бросает таинственные тени и часов в двенадцать уже начинают выходить из портретов мои предки. Проходят мимо меня, кланяются мне, а я играю Баха.. или Моцарта. Длинная амфилада комнат... Так печально,

что у меня нет средств осветить все залы. Стоит очень дорого во все люстры и канделябры вставить свечи».

«Это очень интересно... Замечательно!» — сказал Арсений.

* * *

Он еще не совсем верил, что тот говорит правду. Но в это время к ресторанчику подъехал рольс-ройс, оттуда шоффер помог выйти старому господину на костылях и молодой даме. Они вошли и, заметивши маркиза, направились к нему.

«Здравствуйте, маркиз! Вы еще не уехали в замок?»

«Сегодня еду. Я ждал, пока получу деньги, не на что было ехать», — опять по детски просто ответил он.

Сомнений не было, что он действительно маркиз и что он говорит правду.

«Знаете что», — сказал Арсений, — «может быть, это навязчиво, мы только что с вами познакомились, но пригласите меня как-нибудь к себе в замок, а я привезу с собой свечи для всех ваших люстр».

«С удовольствием», — ответил маркиз. — «Но только свечи стоют очень дорого... Чтобы осветить все залы, нужно больше, чем на тысячу франков».

«Мы осветим две залы».

«Две нельзя — красиво только тогда, если все... Хотя и без этого очень интересно. Я не знаю только увидите ли вы моих предков, потому что у меня это вероятно галлюцинации... Я их вижу, но вы может быть не увидите. Поедемте сегодня...»

Арсений чуть было не сказал «хорошо», но сейчас же передумал — вероятно, он всетаки сумасшедший. «Надо познакомить его еще с кем-нибудь и тогда поехать... Непременно поеду».

Взял его адрес. Расстались друзьями.

* * *

Едучи обратно, решил.

«Пошлю ему завтра посылку с вином и провизией,

Маркиз говорил, что он очень любит вкусно есть и любит хорошие вина, но ест и пьет всегда самое дешевое. Все свои маленькие деньги тратит на поддержание этого замка. Ему будет приятно получить такую посылку — это закрепит наше знакомство...»

«...Может быть, он и ненормальный, но ему живется, вероятно, интереснее, чем многим нормальным. Мир именно тем и интересен, что в нем попадаются такие странные люди. Если бы все были на один образец — какая была бы тоска... Живет человек, ничего не делает — с точки зрения социальных законов он паразит. А между тем ему тоже есть свое место в жизни и от таких, как он, жизнь становится ярче и многообразнее... Когда миром будут управлять авгуры, они сохранят таких. Дадут им какую-то ренту и те будут спокойно выполнять свои фантазии. Такие фантазии никому не вредят... В голове таких людей могут зарождаться необычайные идеи. Среди них могут появиться исключительные поэты или музыканты... Понятно, они нужны... Если исключить их из жизни, то от поэзии останется советский шкелет — колхоз-паровоз... паровоз-колхоз!.. Зеленый ужас...»

* * *

Вернулся из Ниццы довольный.

«Последнее время стало у меня полней. Жизнь стала опять интересней... Больше мыслей и встреч с людьми... Почему? Что изменилось?.. Только я сам. Я сделал это... Поехал, нашел. Будоражил себя. Стал писать. Заставил себя жить интересней. Отказался навсегда от миллионов... И Зоя ко мне приедет, потому что я заразил ее моими излучениями... Да, приедет... У меня еще остались колебания и сомнения. Но совсем не те, что раньше. Это мелочи. Нельзя застыть в совсем готовых формах — это уже умирание... У меня есть главное — я знаю, что счастье внутри себя самого. Царство божие внутри вас — это самое умное, что есть в священных книгах... Нужны и ошибки и увлечения. Нельзя стать духовным кастратом. Лишь бы бы-

ло главное — élan vital, жизненный импульс... У меня нет уже громкого смеха молодости, скоро проходящих взрывов, но есть постояннная радость жизни и сердце бьется уверенно... Несмотря на то, что я иногда отравляю его. Оно постучит ночью сильнее, успокоится и опять приходит в норму ровных отчетливых ударов... Оно уже привыкло к моим пьяным экстазам. Оно знает, что должно иногда поработать как следует, но затем получит заслуженный отдых... Оно знает. Мы уже понимаем друг друга. Мы — мозг и сердце. Мы друг в друга верим... Ему приходится напрягаться, когда нахлынет волна алкоголя или никотина, но оно знает, что эти ядовитые приливы заражают организм новой волей к жизни, и оно с готовностью выполняет свою трудную работу... Прежде его еще больше отравляли приливы волнений и беспокойств — постоянных, каждодневных: теперь их меньше, много меньше и ему легче...»

XXVII.

МУДРЫЙ САД.

Вернулся в Берлин «на гребне волны». Так сам об этом думал.

«С гребня вниз» — естественно являлась мысль. И тут же противоречие:

«Вниз, когда-нибудь, не скоро... а может быть, никогда? Так и останусь теперь до конца дней на гребне... Что наши сроки в сравнении с вечностью?!.. Хочу быть на гребне и буду — буду до конца...»

Даже ногой топнул.

* * *

Может быть отвык от полной тишины, но в первую же ночь два раза просыпался. Первый раз около часу, когда пел петух. Днем это самый прозаичный петух — Петька, но в его пении ночью что-то мистическое.

«Откуда у петуха это желанье петь среди ночи, беспокоить себя и своих дам?..»

Почти совсем проснулся. Казалось среди ночной тишины, что внизу кто-то ходит.

«Когда тишина совсем полная и нет ни малейших звуков, это тоже напрягает нервы. Днем казалось бы просто — встать, сойти вниз и посмотреть, кто там ходит. Если действительно ходит? Взять с собой револьвер на всякий случай... Но сейчас жутко вставать. А вдруг там, в темноте, прежде чем зажжешь свет, кто-нибудь бросится!..»

Еще было и другое — днем абсурдное, детски наивное.

«Может быть, там ходит не человек, а что-то другое?.. Сознание не совсем проснулось, работают те части мозга, которые видят сны... Вот сесть бы там внизу в уголок за буфетом с вечера, пока еще не спят, и сидеть так, не двигаясь, затаивши дыхание... Слушать неслышные шорохи, видеть как «это» все началось, откуда пришло — тогда совсем не было бы страшно, даже интересно... А теперь пойти жутко и испугаешь «его»...»

Заснул с этими мыслями — полусном.

* * *

Второй раз проснулся на рассвете, когда на деревьях у окна спальни просыпаются птицы и начинают утренний гимн солнцу.

«Нет, это не гимн солнцу — это гимн сексуальности! Гимн богу сексуальности... Радуются жизни, торопятся — жизнь у них такая недолгая... Природе нужна смена живых организмов. Природа расточительна и жестока... Мы только еще учимся бороться с ее капри-

зами. До сих пор она швырялась нами, как хотела... Птицы самые милые живые существа. Надо им подражать... Птицы и цветы...»

С этим опять заснул.

* * *

Теперь сны стали интересными кусочками жизни. Они не были больше японскими кошмарами или снами детства. В детстве сны занимали тоже много места, но тогда они были мрачными предзнаменованиями. Мать, бывало, говорила:

«Опять видела во сне покойную маменьку... Быть беде или болезни. Как только вижу ее, всегда не к добру — я уж знаю».

И он тоже это знал и у него эта боязнь осталась на долгие годы. Всюду видел плохие предзнаменования.

«Надвигается что-то...»

«Сон — это я сам. Не извне, а во мне самом... Интересно узнавать новые уголки в самом себе...»

Тревожный сон был следствием дневных переживаний, только что бывших или уже далеких. Найти откуда, еще раз передумать, отбросить — и все уйдет... Иногда сон предупреждал о перебоях в работе организма.

«Надо принять меры. Подсознание раньше чувствует...»

Иногда продолжалась дневная работа мысли. Днем не знал, как решить, колебался, а вдруг утром вставал с определенным отчетливым решеньем...

«...Самое трудное — решать. Гораздо легче подчиняться решениям более сильных... Но сильная индивидуальность тем и отличается от слабой, что она решает сама, ей *некому* подчиняться...»

Ложился спать и приятна была мысль:

«А вот что нибудь интересное увижу во сне...»

* * *

Как раз на грани сознания и сна, когда мысль мутится и вот-вот через две-три секунды заснешь, он как то подумал:

«Вот так и смерть придет, как это засыпание... Вдруг остановится сердце, мысль потухнет, и больше не проснешься. Может быть, это не так страшно?.. Надо только приучить себя к этому переходу. Не бояться... Тогда это просто и безболезненно. Если бы привыкнуть к этой мысли, устраняется самое неприятное — страх смерти...»

Засыпая воображал, что больше никогда не проснется.

«Это жутко, но ведь все равно никто не поможет — ни люди, ни боги, никакая премудрость. Помирать придется. Неизбежно, неустранимо... Единственное, что можно сделать — приучить себя к этой мысли... Плачь и стенай с утра до вечера, молись, бейся головой об стенку, постигни всякую премудрость — все равно ничего не изменишь, смерть придет! Так научись умереть спокойно... Совсем спокойно все равно не умрешь — страшно будет, но хоть уменьшить... Не для того это нужно, чтобы окружающие, которые останутся после тебя, сказали как ты достойно умирал, а для себя самого нужно...»

* * *

Утром за кофе хлебнул большой глоток и остановился. Чашка большая, но не заметил и выпил уже полчашки. Решил уже давно, что будет пить по утрам только одну чашку — всетаки сердце чувствует, хотя оно пока и в порядке.

«Жить хочется долго, надо его беречь».

Просматривал газеты, чем-то заинтересовался, потому так и выпил, не заметив.

«А утренний кофе большое удовольствие — надо его ценить. Надо пить горячий, но медленно и, главное, подумать при этом — «как хорошо!..» «Вот кофе — какое большое удовольствие...» Хорошее надо за-

мечать. И как можно меньше замечать плохое. Если плохо, то плохо, — замечай или не замечай — ничего не изменится... Нет, изменится», — спорил сам с собой.

«И хорошее, и плохое относительно... Вот этот миллионер из сегодняшней газеты потерял восемь миллионов из десяти и выбросился в окно с сорокового этажа, а другой мечтает о десяти тысячах, как о счастьи... Да, да — надо научиться радоваться маленьким радостям... Я уже кое-чему научился... Человеку положено столько-то минут жизни и нужно каждую минуту делать приятнее. Для этого совсем не необходимы миллионы — ценнее радости духа... Не потому, что это высоко или низко, и не потому, что это нужно для остального человечества, а потому, что это дает наибольшее наслаждение...»

* * *

Как будто доказал себе что-то.

Посмотрел на сад. Яркая, свежая зелень газона заполнила все окно.

«Она свежая и радостная, потому что я за ней ухаживал. Радость газона не для всех — многие не замечают ее. Не знают, как это важно... Сами виноваты! Виноваты ли? Надо быть соответственно настроенными... Настраивать себя нужно долго, годами, полжизни... Дрозды поют гимны любви и радости. Если зима будет суровая, их ждет голодная смерть. Прошлой зимой несколько лежали здесь замерзшие. Пока они легкомысленно радуются жизни... Легкомыслие — составная часть мудрости...»

За полотном железной дороги шарманка завела поломанный мотив «Авэ Мария» и сразу перешла на заезженный фокс-тротт.

Арсений улыбнулся.

«Шарманка смешна... Однако не так уж смешна и ничего исключительно радостного и нового в природе не случилось. А у меня на душе хорошо! Я улыбаюсь... Хорошо от того, что пришло примирение... И еще ве-

роятно от того, что приедет Зоя. Что будет исполнен каприз... Каприз ли? Если бы Зоя не приехала, если бы мы больше не встретились — на всю жизнь осталась бы неудовлетворенность... неразрешенное чувство... Оно давило бы целые годы, прогнало бы много улыбок... Но она приедет...»

* * *

«Немного ноет сзади под левой лопаткой, но это мало волнует. Во-первых, может быть, это не сердце, а только подагрическая или ревматическая боль межреберных или околосердечных мышц, а во-вторых, наука наконец поняла, что лучше всего лечить сердечные болезни приятными эмоциями. Их нужно собирать, как грибы, за ними нужно охотиться... Как ни ничтожно приятное переживание, какое бы маленькое оно ни было — оно ценнее многого того, что люди считают важным....»

На столике стояли две розы. Сам их срезал вчера, только приехавши. Первое, что сделал.

Рядом лежала новая книга по палеонтологии, полученная из Англии.

«Я ее вчера перелистал — кажется, очень интересно?.. Природа враждебна, если ее не понять и не полюбить. Она мстит болезнями города. Ушедшие от природы болеют физически и духовно. Небоскреб из железных ферм и железобетона, окутанный тысячами верст трубо-проводов и проволок, высасывает душу, как паук муху...»

Закурил сигару.

«Сигара — непреложная ценность... Жалко только, что она заглушает на время другие тонкие запахи.. Но сильных духов она не портит — получаются удивительные смеси...»

* * *

Вышел в сад.

Раньше он себя настраивал, чтобы такой ничтож-

ный факт мог влиять. Уверял себя, что это важно. А теперь и действительно это влияло на настроение. Думал об этом маке все утро и была какая-то связь между маком и Зоей... Расцвел наконец на горке большой оранжевый мак!

Мак был посажен еще в прошлом году, но не цвел.

Его заглушил соседний папоротник. Не хватило солнца для рождения этого роскошного радостного цветка. Свернутые из зеленых тряпочек головки долго наливались, но рост остановился и так и не лопнули... В этом году мак поспешил ранней весной перерости папоротник, быстро поднялся выше его, перехитрил... К тому же еще Арсений обрезал у папоротника два больших пера, чтобы помочь маку.

«Ты этого заслуживаешь» — сказал он ему тогда.

И теперь четыре больших мохнатых головки, долго набухавшие, должны были лопнуть уже несколько дней тому назад. Но задержали холодные ночи...

Вчера в саду раньше всего побежал к ним и удивился, что до сих пор не расцвели. Как-то связалось с Зоей — «расцветет мак, приедет Зоя...»

Остановил, было, себя на этой глупой мысли, но сейчас же подумал:

«Если эта мысль доставляет радость, значит она умна...»

* * *

Сегодня, как только вышел, яркое оранжевое пятно бросилось в глаза на зелени горки — «мак расцвел!.. Зоя приедет...»

За ночь, сразу, без бутона, прямо из зеленых тряпочек раскрылся большой торжествующий мак. Точно фокусник вынул его из шляпы. Мохнатая покрышка исчезла, отвалилась — ее не было даже на земле. Вероятно, унесло ветром.

«Интересно было бы видеть, когда он раскрывался...»

Долго смотрел на мак, внутрь цветка. Свежий, влажный от утренней росы пестик и почти черные ты-

чинки, бархатистые, только что рожденные, уже совершали таинство любви и нового зарождения.

«Мимолетное таинство... Этот торжествующий цветок из маленького зернышка — тайна природы. Всякая жизнь — тайна...»

* * *

Пчела мелодично звеня низкой нотой, села внутрь мака. Зарылась во влажные и липкие бархатные тычинки, быстро перебрала их и недовольная улетела.

«Тебе это не нравится?... Не годится для меда?!» — громко сказал Арсений — «тут опиум, а ты против всяких одуряющих... Напрасно!»

Он засмеялся.

«Напрасно, пчела! Одурение иногда приятно и даже необходимо... Ты знаешь, я вот на днях прочел о монахе Периньяне, который научил людей делать шампанское. Ведь ему нужно бы поставить такой же памятник, как и Ньютону... Потому ваш мед такой и приторный и сейчас же надоедает — ханжи вы, пчелы!... Не умеете наслаждаться жизнью. Слишком много работаете и не знаете для чего. Мы, люди, вам подражать не намерены. Ни вам, ни муравьям...»

Отошел от горки, прошелся по саду. Смотрел, что и как изменилось за его отсутствие.

Опять вернулся к маку.

«Как ты ни прекрасен, мак, не цветы, конечно, последняя цель природы. Скорее мы, люди. У нас есть творческая мысль, а у тебя нет... Ты через два дня кончишь свой праздник, твой царственный наряд завянет... Умрешь... Тебя природа готовила миллионы лет для того только, чтобы ты в два дня совершил свое таинство оплодотворения и исчез — это твоя конечная цель. А мы не хотим отдавать себя только воспроизведению себе подобных... «Тоже недолго будешь тут!» — скажешь ты. Да, недолго — это трагедия всего живого. Нам положен тоже только один момент в вечности, но хоть этот момент мы можем

жить по своему, для себя. Понимаешь, мак, — для себя! А не для выполнения издевательского замысла природы — все создавать, создавать, создавать и безжалостно разрушать созданное. Отдавать себя новому организму, который в свою очередь опять должен отдать себя следующему. Нет, мак, я хочу жить для себя... Понимаешь, мак!?...»

* * *

Подлетел еще маленький мохнатый шмель и стариковски, добродушно жужжа, опустился на мак.

«Мохнатый, как пудель» — мелькнуло у Арсения и сразу вспомнился Натан, и та черная собака, что была ночью на моле в Японии, и тот черный пудель с красным мальчиком...

Шмелю тоже не понравилось — он порылся и улетел. Улетая, чуть не ударился Арсению в лицо. Арсений машинально сбил его рукой на камень горки.

«Если бы ты был осой, я бы тебя задушил — ненавижу ос! А вы, шмели, такие симпатичные мохнатые дяди. Вероятно вы действительно что-то вроде пуделей среди насекомых? Такие же, вероятно, влюбчивые?...»

Шмель пришел в себя, сидя на камне. Стал приглаживать передними лапками растрепавшиеся от удара волоски на голове и брюшке. Комично — точно причесывался.

«Ну лети!» — сказал ему Арсений.

Шмель улетел.

Арсений отошел, сел на цементную скамейку. Улыбался. Подумал:

«Если бы люди слышали, подумали бы что я ненормален, разговариваю с маком и шмелями, и радуюсь таким пустякам... Вы нормальны, потому что вас огромное большинство, но самое страшное быть нормальным....»

* * *

Вернулся в дом.

Вдруг созрело твердое, окончательное решение — писать книгу! Думал об этом в последние месяцы. Но до сих пор не было еще такого твердого и определенного решения.

«Самая гибельная идея, что люди равны... Миром должны управлять авгуры... Но если я рискну написать это, на меня обрушатся горы... А я всетаки напишу!... Я уверен».

Пошел в кабинет, взял листик бумаги и написал:

> ...«Современный кризис от того, что люди ушли от земли. Ушли в искусственную жизнь городов.
>
> Город притягивает обещанием удовольствий. В них ложь и обман. Настоящая радость не в них, а в том, что человек находит в себе самом.
>
> Пришедшие в город видят блестящие витрины и лучшую жизнь других. Они тоже хотят так жить. Но на это надо иметь право. Право духовного превосходства. Люди не равны. В том и красота жизни, что люди не равны. Право на потребности тоже не одинаково. Оно должно быть заслужено. Никогда все не будут пользоваться всем — это утопия...»

Написал еще несколько фраз. Но зачеркнул. Хотелось, чтобы каждая была несомненна. Чтобы не было ни одной лишней.

* * *

На столе лежала почта — еще не читал ее. Просмотрел быстро, как всегда, местные газеты. Потом развернул русскую, парижскую. Уже хотел положить газеты обратно — ничего интересного — когда бросилась в глаза маленькая заметка на третьей странице:

...«Русский пришел в торговые бани, занял номер, взял ванну, выбрился и потом этой же бритвой зарезался. Его нашли в ванне крови. Рядом на полу валялись обрывки какой то книги в кожаном переплете.

Книга была изодрана в мелкие клочья, даже кожаный переплет разорван...»

Какая книга — не упоминалось. Фамилия русского — Околин...

Арсений сразу понял — «не Околин, а Оконин, и книга — Фома Кемпийский...»

Он долго сидел, смотря в окно, но ничего не видя. Газета упала на пол.

«Так кончилась твоя жизнь, милый Оконин... Фома Кемпийский не спас тебя...»

И еще дороже показалась каждая минута, оставшаяся в его, Арсения, жизни.

Вечером опять писал книгу.

* * *

Позвонил телефон.

Адвокат сообщил неприятную новость — процесс проигран! Общество, у которого Арсений купил тогда участки, искало теперь доплату на основании нового германского закона.

«Купленное несколько лет тому назад, давно забытое, приходится теперь оплачивать вновь... Германское правительство довело свою марку до нуля. По закону отменило все свои долги, а для меня устанавливает все новые законы, по которым я должен возмещать убытки, полученные от падения марки!...»

Он возмущался этими законами, но теперь отнесся спокойно к неприятному известию. Сейчас же нашел утешение.

«Еще две инстанции... еще посмотрим... А даже если и проиграю, не так страшно... В конце концов это справедливо — ведь я же и заработал на инфляции?...»

Чтобы покончить с чем нибудь неприятным он теперь уходил в сад.

«Повозиться там с цветами — и все уходит...»

Стал выпалывать грядку. Попалось несколько червяков. Смотрел, как комично набросились куры на чер-

вяка. Сначала боялись, шарахнулись в сторону, а потом стали отнимать одна у другой. Разорвали его пополам, одну половину выхватил цыпленок, самый маленький и с писком стал убегать от других. Потерял по дороге, подхватил другой цыпленок и у этого тоже отняли...

* * *

...Сорвал бархатку и стал вдыхать ее едкий жизнерадостный запах. Чувствовал, как приходит спокойствие.

«Чего стоит проигранный суд в сравнении со всей тайной жизни?! Спокойное наслаждение самым процессом жизни — только это и важно... Я в молодости думал, что она зря проходит, что не успеваю все брать от молодых годов. Уже старюсь... Старость казалась ужасной. А оказывается, мне сейчас гораздо лучше, чем было в молодости... Что изменилось к лучшему? Ничего!... Я и тогда, и теперь был сыт и одет, и тогда, как теперь, светило солнце, цвели цветы и пели птицы. Но тогда я меньше ценил все это... Я сам своей постоянной неудовлетворенностью портил себе жизнь. Изменилось не окружающее, а мое восприятие его... Я не хотел бы вернуться в те годы... нет!... Но я хотел бы продлить теперешние... Сколько лет я искал смысла жизни и наконец теперь, когда я понял, что смысла нет — мне стало лучше. Именно потому, что жизнь трагедия, что все равно гибель, конец, прекращение, — нужно дорожить каждой минутой, делать все возможнее, чтобы она была приятнее... Ведь многое возможно! Вот сад, цветы, искусство, книги, любимая женщина... сигара, вино и, главное, самое главное, приятие трагедии жизни...»

XXVIII.

ТАИНСТВО СЕКСУАЛЬНОСТИ.

Наконец, была получена от Зои телеграмма: «Сегодня выезжаю».

Но и этому Арсений еще не поверил. Телеграмма была из Ниша.

«Может быть, еще и не выедет... Уже два раза так обещала и не выехала...»

Только когда получилась вторая, уже с дороги, уже за границей Сербии, наконец поверил.

Старался быть спокойным. Доказывал себе, что это совсем не так важно, приедет Зоя или нет, и все равно волновался. Сейчас же побежал на ближайший вокзал городской железной дороги, чтобы купить полный путеводитель с заграничными расписаниями. Там такого не оказалось. Поехал на главный вокзал и там купил. Долго сидел над ним, перелистывал, высчитывал на бумажке часы поездов.

«Когда она будет в Берлине? Три пересадки... Должна приехать после завтра утром, в 7.30, Ангальтский вокзал... Но в одном месте на пересадке разница между приходом и отходом всего двадцать две минуты. Ее поезд может опоздать и тогда она на этот не попадет... Следующий идет только через восемь часов и тогда на следующей пересадке ей придется ждать два с лишним часа. Тогда она может приехать только в 5.50 вечера...»

«Вероятно, она же догадается еще раз телеграфировать?... Это не так важно. В крайнем случае позвонит с вокзала уже здесь и я за ней приеду», — старался себя уверить.

Но опять рылся в путеводителе и высчитывал, нет ли еще какой возможной комбинации. Сел, было, писать. Написал страницы две, половину вычеркнул и дальше не шло. Мысль о Зое все время мешала. Прерывала все другие. И хотелось, чтобы она прерывала...

* * *

Успокоился только на следующий день вечером, когда получилась телеграмма уже из Мюнхена. То есть, вернее, не успокоился, а стал волноваться еще больше:

«Как мы встретимся?... Как она теперь выглядит?... А если она не захочет ехать ко мне домой, скажет, что это неловко, и поедет в гостиницу?»...

На всякий случай обдумал и эту возможность — решил, в какую гостиницу тогда. «Но я, понятно, постараюсь ее уговорить поехать прямо ко мне»...

* * *

Велел прислуге приготовить Зоину комнату. «Зоина комната» — так ее называл уже теперь.

Прислуга все сделала, как следует, но ему не понравилось. По своему переставил мебель. Перевесил занавеску. Перестелил постель, потому что прислуга не подложила сукно под простыню...

«Какие поставить цветы? Что нибудь белое или розовое... Лучше всего розы...»

Потом передумал — белые лилии. Поехал и купил два пучка лилий. Не сразу нашел их — в трех магазинах не было. Но решил непременно найти белые лилии и, наконец, нашел.

Один букетик поставил в ее спальне, другой — в кабинете у камина. Разложил на туалетном столике старый туалетный английский прибор. Это был его любимый, давнишний — он пользовался им сам всегда. Но теперь решил отдать Зое. В этом была точно какая то таинственная связь, близость, интимность... Тщательно его сам вычистил и вымыл. Потом всетаки показалось, что щетка еще недостаточно чистая. Стал мыть ее еще раз.

«А то вдруг ей покажется, что я дал какую-то старую щетку?... Ничего она не подумает — она совсем не привыкла к таким тонкостям... А если она обратит внимание, то должна понять, какой это дорогой старинный прибор»...

Поставил на письменный столик две китайских статуэтки — Хотея, бога счастья, и мудреца, логана. Сам вымыл чернильницу. Положил бумагу, перья, карандаши. Два флакона духов, две коробки пудры — одну чуть-чуть розоватую, другую — «рашель», желтоватую.

«Какая ей больше понравится?»

Вечером, в постели, уже засыпая подсчитывал, сколько еще часов осталось до приезда Зои.

«Сейчас 11.20... только что пробил будильник четверть. До двенадцати остается час сорок и там еще семь тридцать — всего девять десять... Через девять часов я ее увижу...»

С этим заснул. Крепко. Спокойно.

* * *

Будильник поставил на шесть, но проснулся без четверти шесть. Первой мыслью еще в полусне было:

«Сегодня увижу Зою... Через три часа».

Вскочил с постели бодрый и радостный. Сидя в холодной ванне, обдумывал, что приготовить на завтрак и что на обед...

Иногда по утрам ему хотелось брать теплую ванну, иногда — холодную. Когда настроение было бодрое, приподнятое, был прилив энергии, чувствовал себя совершенно здоровым — тогда всегда хотелось холодную.

«Как вообще пройдет первый день?.. Вероятно, она любит сладости? Да, она тогда, кажется, говорила... Все молодые девушки любят сладости... Какое вино? Понятно, к обеду шампанское.»

Уже десять минут восьмого он был на вокзале.

Подошел скорый поезд.

«Но это не ее... Не опаздывает ли ее поезд?»

Пошел посмотреть на доску, где пишутся опоздания — «идет во время, никакой отметки нет»...

Прошел до самого конца платформы. Вернулся обратно. Нарочно не смотрел на часы, пока шел, чтобы скорее прошло время.

«Когда посмотрю, будет уже оставаться совсем немного.»

Посмотрел на часы.
«Всего три минуты...»
Поезд подошел...

* * *

Из вагона второго класса выпрыгнула Зоя. В том же самом костюме, в котором он ее видел тогда в Нише. Сразу увидел ее — уже смотрел на тот именно вагон, когда она показалась в дверях. Почти бегом направился к ней. Поцеловал ей руку. Еще раз. Зоя радостно улыбалась. Ему показалось, что она задержала его руку в своей.

«Как хорошо, что вы наконец приехали!»

«Разве хорошо?» — лукаво улыбнулась она.

«Очень хорошо!» — не нашелся он сказать что-либо более содержательное. Тут же об этом подумал.

«Я совсем обалдел, старый дурак... Но как ее спросить, согласна ли она остановиться прямо у меня? Может быть, лучше совсем не спрашивать? Сесть в автомобиль и ехать... Нет, лучше спросить. Неделикатностью и настойчивостью я могу ее сразу отпугнуть от себя. Ничтожные мелочи влияют иногда больше чем серьезное»...

«Вам приготовлена, Зоя, комната у меня в доме».

«У вас?» — просто спросила она и как будто не удивилась.

«Может быть, она думает, что у меня семья?... Я ведь ей почти ничего о себе не рассказывал.»

«Я живу совсем один... Я, кажется, рассказывал вам? У меня очень удобно — я думаю, что вам понравится... У меня сад и много цветов...»

Зоя ничего не ответила. Молчаливо соглашалась. Ему показалось даже странным, что она так просто и легко на все смотрит. Было даже как будто неприятно..

«О съемках я ей тоже сейчас скажу.»

* * *

У Зои был всего один чемодан.

Сели в автомобиль. Он что-то говорил. Еще раз поцеловал ей руку.

«Теперь надо о съемках...»

«Я хочу вам сразу сказать, Зоя... Я был уверен, что вы поймете, как надо. Что кино-съемки, о которых я вам писал, были больше предлогом уехать из дому... Чтобы вы могли объяснить маме свой отъезд. Но я вас собственно не обманул, я уже говорил с моим приятелем-режиссером одной большой компании и вас устроят на съемках, но только пока, понятно, не на отдельную роль...»

Зоя сразу вывела его из неловкого положения. Просто ответила:

«Я и не расчитывала на отдельную роль... Я так рада, что попала в Берлин! Я всегда мечтала увидеть Париж и Берлин. В Париж мне еще больше хочется, чем в Берлин».

Он хотел ей сказать — «мы поедем с тобой и в Париж, куда хочешь, милая Зоя... Как я рад, что ты приехала...» — но удержался, ничего не сказал.

Рассказывал, что проезжают. Какие здания, улицы, сады... Уже четверть часа ехали по городу. Зоя с любопытством смотрела на окружающее. Иногда улыбаясь, поворачивалась к нему. Потом опять смотрела в окно.

«Все едем и едем! Какой громадный город... Ведь самый большой какой я видела — Константинополь, но это было так давно.»

Ему было неприятно самое слово «Константинополь». Зоя еще добавила:

«Об этом времени мне так жутко вспоминать»...

После кофе он сказал ей:

«Вы устали, Зоя, с дороги. Идите теперь в ванну и потом ложитесь спать... Почему вы не взяли спального вагона? Вы вылезли ведь не из спального?...»

«У меня не хватило денег на спальное место» — просто ответила она. «Ничего, я не очень устала... До полдороги была свободная скамейка, я немножко спала... А потом пришли новые пассажиры и все хотели меня угощать пивом и сосиськами, такие комичные, хи-хи-хи...»

Зоя уже видела свою комнату, «Зоину комнату»— ей понравилось.

Пошла в ванну. Потом разбирала чемодан. Потом, видимо, легла спать.

* * *

Арсений остался внизу, но понял, что она спит — наверху было совсем тихо. Он прислушивался к звукам там у нее и старался угадать, что она делает. Потом тихонько поднялся наверх. Дверь ее комнаты была притворена, но оставалась маленькая щелочка.

«Сделала она это нарочно или просто не обратила внимания?... Все равно, так или иначе, я к ней, понятно, сейчас не войду...»

Спустился вниз. Достал вино к завтраку. Поставил на стол цветы из сада. Лилии остались в кабинете.

Показалось, что пахнет кухней, хотя окна были открыты. Вспомнил, что у него осталось еще несколько курительных монашек, купленных когда то в Японии. Нашел, зажег одну — комнаты наполнились пряным запахом. Раньше он это всегда делал, если казалось, что в доме неприятно пахнет.

«Это так важно — первое впечатление, когда человек входит в дом... Первое, что обращает внимание — это запах... У каждого жилья свой запах... Потом это

так врезается в память и остается надолго... Запах создает настроение. По запаху можно судить о людях, которые тут живут...»

* * *

Уже прошло часа три, но Зоя все спала. Наконец, наверху послышался шорох:

«Она встает... А может быть, глупо, что я не вошел к ней? Может быть, она даже удивлена?... Может быть, думает, что я такой холодный, безразличный человек, все у меня по расчету, с задержками и самоконтролем — и ей это неприятно?... Нет, так нужно. Теперь день, она устала с дороги. Своей назойливостью и наскоком я сразу ее отпугну. Я поступил правильно... Ничего этого она не думает! Она просто тихо, спокойно спала, уставши в дороге... Она молодая, здоровая — и крепко спала... У нее, вероятно, осталось жуткое воспоминание о тех мужчинах, в Константинополе?... Только нежностью, осторожно и любовно можно подойти к ней, не отпугнувши ее чувства. Может быть, она ничего и не решала, едучи ко мне — просто поехала, будет что будет?... Ей было до невыносимости тоскливо дома и ничего не видно было впереди. От меня зависит поселить в ней влечение или сразу спугнуть.»

...«А ведь были случаи, когда женщины уходили навсегда из-за этой моей смешной нерешительности! Женщины легко подчиняются твердой воле, они ищут ее... Ведь она же приехала ко мне в дом? Упущенный момент часто невозвратим. Вообще сколько я себе в жизни напортил этими вечными колебаниями... Другие живут проще, без этих сомнений, и им лучше.»

* * *

К завтраку Зоя вышла свежая, оживленная точно и не уставала. Теперь она казалась еще интереснее, чем

тогда в Нише. Она немножко пополнела на деревенском режиме.

«Именно то, чего ей недоставало... Какую пудру она взяла? Желтую... Я и хотел, чтобы она взяла желтую, а не розовую» — подумал, пока Зоя подходила к столу. Он уже отодвинул ее стул и стоял сзади, чтобы помочь ей сесть, как дворцовый лакей.

«А ведь вы меня обманули, Зоя, болезнью мамы?.. Вам просто не хотелось ехать.»

«Я не обманула, мне хотелось... но я не решалась. Мама действительно была больна, но не так серьезно. Я колебалась... Но потом так стало тоскливо в деревне и мы поссорились с мамой еще к тому же и я вам тогда телеграфировала, что еду...»

* * *

За завтраком все было удачно. Зое нравилось.

«Я хотел бы вам сразу показать Берлин. Хотите вечером куда-нибудь поехать? Вы не очень устали?..»

«Нет, я уже совсем отдохнула. Я так хорошо сейчас выспалась. Хочется даже потянуться, как кошечке после спанья» — и она сделала жест плечами, как бы потягиваясь.

«Какая она грациозная», — подумал он.

«Я всегда крепко сплю даже на новом месте» — добавила Зоя.

«Это потому, Зоя, что вам девятнадцать лет. Как я вам завидую, что вы так молоды.»

«Молодость хороша, когда ею можно пользоваться», — совсем неожиданно сказала она. — «Вы себе представить не можете, какая тосчища была у нас в институте с нашей взбалмошной начальницей... и потом в деревне у мамы пожалуй еще хуже.»

«Там в деревне были интересные люди... молодежь?»

«Вы хотите спросить — мужчины?» — улыбнулась Зоя. — «Да, был один, бывший офицер...» — она зап-

нулась, но добавила — «он мне даже делал предложение.»

«Ну и что-же?» — спросил Арсений и почувствовал знакомый комок.

«Я ему, понятно, отказала.»

«Почему понятно?»

«Он мне не нравится... Парикмахерски красив, но глуп... Перед моим отъездом мы поехали с ним на лодке и он вдруг схватил меня и хотел поцеловать... Я его сильно толкнула, лодка покачнулась и мы оба упали в воду... Хорошо что у берега, около камышей...»

«Потому вы так долго и не приезжали, Зоя... из-за этого романа?»

«Никакого романа не было, даже ничего похожего. Он просто влюбился в меня, хотя я не давала для этого никакого повода. Если бы я не поссорилась с мамой, я может быть еще колебалась бы, ехать или не ехать... в Берлин... Но совсем не из-за него.»

* * *

Арсений заметил, что она как будто замялась перед словом Берлин.

«Она вероятно хотела сказать «к вам» и вместо этого сказала «в Берлин»?... Она вообще довольно мало говорит случайного. Удивительный контроль над своими словами. А может быть, это мне только кажется?...»

«Так мы вечером куда-нибудь поедем?»

«С удовольствием — куда хотите.. Мне так интересно видеть Берлин. А куда мы поедем?».

Арсений думал об этом уже раньше. Еще третьего дня, когда получил первую телеграмму.

«Ехать в театр и потом куда-нибудь ужинать — будет слишком поздно... Вернуться домой без ужина — нельзя... Нужно, чтобы все время было хорошее настроение. Нужно, чтобы Зоя была довольна. Мы поедем в варьетэ. Там программа кончается точно без четверти одиннадцать и можно ужинать во время про-

граммы... Хороший ресторан. Это Зое понравится. Там начало в половине восьмого, но можно поехать в город раньше и посидеть еще где-нибудь в кафэ... Хотя бы в том, где я сидел тогда и думал, что мы когда-нибудь приедем сюда с Зоей... Вот теперь это случилось!»...

* * *

Так и сделали.

Зое все было ново и интересно на сцене. Ее так все забавляло, что она вероятно не замечала, что ест и пьет. Он несколько раз напоминал ей:

«Простынет же!.. И пейте вино».

Она быстро что-то съедала, пила глоток вина и опять впивалась в сцену.

В антракте ей была интересна публика.

«Как хорошо все одеты!» — удивлялась она.

О нескольких высказала меткие замечания и Арсений подумал:

«Какая она наблюдательная... и у нее превосходное зрение».

На обратном пути и автомобиле он опять поцеловал ей руку. Там в варьетэ купили букетик фиалок и Зоя пришпилила его на груди. Он съехал. Арсений стал поправлять его и почувствовал ее упругую девичью грудь. Ему хотелось прижать руку крепче, но не сделал этого — ни доли лишнего движения. Может быть, только на секунду задержал руку дольше, чем следовало... Хотел поцеловать ее в лицо, но тоже остановился. Точно нарочно запрещал себе: в этом запрете была особая прелесть.

«Я могу это сделать, но не хочу.... То есть я очень хочу, но я не сделаю. И пусть она даже удивляется — это так остро, так интересно... Может быть, она потому и решилась ко мне приехать, что я тогда в вагоне был так сдержан? Может быть, она нарочно рассказала об этом офицере?... Это придет.»

* * *

Уезжая из дому, он распорядился чтобы затопили в кабинете камин.

«Не для тепла понятно, а чтобы был живой огонь... Это не только придает уют, создает настроение, но огонь всегда, с древнейших времен сопутствовал всяким таинствам»...

На стол около камина поставил серебрянное ведерко. Сказал, чтобы в него наложили льду. Рядом два бокала. На терелочку положил бисквиты, совсем маленькие, как ставят в хороших барах. Одни соленые, другие — с честэром...

Прислуге сказал, что она может уйти или ложиться спать.

«Ожидать не надо, ужина не будет»...

Когда входили в дом, его охватило радостное чувство, что он не один, что с ним Зоя. Еще в передней, помогая ей снимать пальто, спросил:

«Вы уже хотите спать, Зоя?»

«Нет, совсем не хочу... Я так возбуждена всем виденным... Вы меня совсем напоили.»

Обычно он говорил с людьми безымянными фразами, редко вставлял имя и отчество. А тут заметил, что он почти в каждой фразе повторяет «Зоя», «Зоя».. Ему нравилось это созвучие, ее имя. Все нравилось в ней.

«Что вы, Зоя! Вы выпили всего два бокала.»

«Я шучу... Я не пьяна, но для меня все так ново».

* * *

«Как у вас уютно!» — сказала она, когда вошли в кабинет. Электричество горело только в соседней комнате — эта освещалась камином. Он взял ее обе руки, поцеловал одну, потом другую и продолжал их так держать в своих, все еще стоя. Неяркие, колеблющиеся огоньки камина играли на их лицах и на белых лилиях.

«Какие дивные лилии!» — опять первая начала

говорить Зоя. — «Когда я была маленькой, я воображала, что принцессы ходят всегда с белыми лилиями.»

«Вы и есть моя принцесса» — вырвалось у него. «Потому я их и приготовил.»

Он тут же отдал себе отчет, что эта фраза у него искренняя, не заранее придуманная. Она ему действительно кажется принцессой из какой-то сказки...

Зоя стояла у кресла. Она сделала движение чтобы сесть, но чуть чуть заметным давлением на ее руки, он отодвинул ее и усадил на диван. Все еще не выпуская ее рук, сел рядом. Здесь был совсем полумрак. Огоньки играли теперь рядом — на кресле и на лилиях...

Зоя потянулась к лилиям, чтобы понюхать их. Арсений тихонько, в первый раз поцеловал ее сбоку в волосы, где были маленькие золотистые завитки. Она повернула голову и точно нечаянно их губы встретились...

* * *

Он еще раз прильнул к ее возбужденным уже губам и ощутил теплую живую эмаль зубов, точно мягкую от гладкости...

«Как когда-то с Глашей»... — мелькнуло в мозгу.

На момент дотронулся до ее языка и это эластичное теплое прикосновение радостно обожгло... Может быть, на сотую долю секунды вспомнил свою давнишнюю, как будто забытую мысль:

«Если в первом сорванном поцелуе коснешься языка, то значит желанен!.. ты желанен... Иначе только губы поневоле ответят на поцелуй... Зою влечет ко мне... Или это уже искушенность в культе любви?... Нет... нет! Это помимо ее воли... Не может быть?..»

Мысль углубилась, все в те же доли секунды.

«Гадость какая! Мне нравится Зоя искренно, чисто... А я и в порыве анализирую... сомневаюсь... Какой я паршивец! Так долго жданное чувство опошляю.

Копаюсь, роюсь... Не человек, а счетная линейка!... Да, нет же! Я не виноват, это помимо воли... и ничего в этом нет гадкого и пошлого... Может быть, в этих мыслях и есть главная острота и радость переживаний?... Не знаю... Меня чисто влечет к ней... Сгинь ты, бес вечных сомнений!...»

* * *

Он налил бокал и подал ей.

Бутылка была положена раньше под диван — он не хотел, чтобы видела прислуга. Лед в ведерке почти растаял, но было еще несколько маленьких кусочков. Он бросил один в ее бокал, вино брызнуло немного ей на колени. Он схватил салфетку и опустился на пол, чтобы вытереть платье...

Платье было совсем тонкое, шелковое, единственное, которое она привезла с собой. Под руками он ощутил ее упругие — такие красивые, казалось ему — ноги. Он вытирал дольше, чем нужно. Зоя смеялась и говорила:

«Довольно!... Довольно, уже сухо»...

Он бросил салфетку и приник лицом к ее ногам. Обнял их, порывисто целовал через платье. На одном колене платье приподнялось и открылась полоска обнаженного тела выше чулка. Он впился губами в это обнаженное место...

Зоя хотела обдернуть платье, но его голова как бы невольно оказалась под ним... Она хотела отодвинуть его голову свободной рукой, но ему казалось, что рука прижимает ее еще крепче к ногам... Зоя расплеснула бокал, поставила его на стол рядом с лилиями и хотела взять салфетку с другой стороны дивана. Но наклонившись за ней, покачнулась и упала на плюшевую подушку. Он продолжал целовать ее ноги...

XXIX.

ОПЯТЬ КАЩЕЕВ.

Арсений сидел в саду. Открылось окно.

«Зоя уже встает. Она едет сегодня на съемки...»

Пошел на веранду, поставил кофе на плитку.

«Довольно ей сниматься — мне не нравится эта компания. Кино-студии—это современные лупанарии!.. Съемки нужны были только как предлог пребывания здесь. Надо это кончить...»

Зоя подошла, взяла его голову руками и поцеловала сначала в губы, потом в лоб.

«С добрым утром, барабанщик!»

Сегодня это «барабанщик» показалось смешным. «Смешно, но так мило...»

«Почему ты, дрянная девчонка, зовешь меня барабанщиком?» — спросил он ласково и подумал: — «Зоя знает, что «дрянная девчонка» это ласкательное. Ей это нравится...»

«У меня в детстве была такая деревянная фигурка — барабанщик».

«Разве я на него похож?»

«Я любила эту игрушку», — сказала она. — «Мне кажется, что это пришло мне в голову потому, что у него тоже были ярко-красные губы и, когда я тебя в первый раз увидала тогда в институте, мне вспомнилась эта фигурка...»

«Замечательно, Зоя, что ты так анализируешь свои мысли. Ты у меня умница.»

Он подошел к ее стулу и поцеловал ее в волосы. От них, как всегда, пахло этими, такими близкими уже, Зоиными духами.

«Я тебе говорил уже, что у меня сегодня будет Кащеев?... Он приехал из Праги. Сейчас опять звонил...»

«С мопсиком?» — спросила Зоя.

«Не знаю... Он не сказал, а я не спрашивал.»

«Устрой, чтобы она приехала, когда я буду дома. Мне хочется ее увидеть...»

Слово «дома» кольнуло Арсения.

«Хорошо... мне тоже интересно.»

* *
*

Зоя просмотрела газеты и встала, чтобы итти одеваться.

«Знаешь, Зоя, что? Ты заяви там, что больше не можешь сниматься.... Мне не хочется, чтобы ты бывала в этой компании.»

«Почему?» — спросила она и, не ожидая ответа, добавила: «Может быть, ты прав?... Мне самой сразу было очень интересно, а теперь, когда я больше увидела, мне не особенно нравится...»

«Тебе что-нибудь сделали неприятное?»

«Нет, ничего... Но я разочарована тем, что вижу... Но как же я тогда буду здесь дальше?» — спросила она. Арсения опять кольнуло что-то — не другой кто-то, а изнутри. Он не знал, что ответить.

* *
*

Арсений знал, что Кащеев приедет в двенадцать. Но, сидя с книгой в саду, забыл. Звонок напомнил.

Он впрочем все приготовил. До сих пор осталась эта привычка, так прочно она была сработана. В те времена, когда делалась карьера, он всегда тщательно приготовлял обстановку для каждого...

Клал на стол именно ту книгу, на которую должен обратить внимание пришедший. Должно было казаться, что это так, случайно...

Ставил свежие цветы на стол и именно те, о которых он хотел что-то сказать, остроумное или новое. Или начать с них разговор, связавши их с чем-то...

Иногда нарочно делал обстановку небрежной и по поводу этой небрежности была готова фраза, которую он скажет как будто экспромтом...

Идя к людям, думал, с чего начнет разговор, о чем вообще будет говорить, чтобы это было интересно и произвело должное впечатление...

Другие думали, что это случайно, не догадывались, что это плод долгой, упорной работы... «Вся жизнь прошла настороже»...

Теперь это вошло в привычку, может быть уже не такую нужную, но всетаки приятную для себя и для окружающих.

Раньше он любил собирать вещи, но после всего пережитого ушел от них. Стал их даже бояться.

«К вещам нельзя привыкать. Разве к немногим, самым пустяшным. Иначе их потеря целая драма... Еще не столько потеря, сколько постоянная боязнь потерять — а вдруг украдут, разобьют, разломают!... То немногое, что осталось, должно иметь свой смысл. Важно, как это стоит, где лежит, что с чем....»

Отложивши иногда книгу, он переставлял на столе пепельницу, спички, нож для разрезанья бумаги, карандаш, цветы, обрывок бумажки.

«Как они должны бы лежать, если бы с них надо было рисовать сейчас nature morte?... Как красивее падают тени? Какой беспорядок приятнее для глаза? Всегда есть один, самый лучший....»

* *
*

Сначала он себя останавливал на этих импульсах — «Бесполезная трата времени!». Но потом стал считать это важным, а главное, приятным. Проходя по комнате, вдруг замечал, что книга легла не так на стол, что кресло слишком плотно придвинулось к другому. Что не совсем откинутая занавеска делает комнату мрачной.. Что в комнате какой-то неприятный запах... «Запах — так важно. У каждого дома есть свой запах».

Он изменял, что нужно. «Именно н у ж н о — никакого сомнения, что это нужно!»

То он не замечал совсем окружающего, уйдя в мысли, и уезжал в город, надевши один желтый, а другой черный ботинок, то вдруг было нужно изменить какую-то мелочь и после того, как изменишь, настроение становится радостней...

«Да, да, именно так... Люди не отдают себе отчета, отчего зависит их настроение. Привыкают даже к большим неприятностям, но мелочи их постоянно беспокоят. Если бы они эти мелочи изменили, им сразу стало бы лучше...»

*
* *

Кащеев пришел с вокзала пешком.

Недалеко.

«Раньше бывало никогда пешком не ходил. Ездил в своем кадилляке...»

В таком же мешковатом пальто, как когда-то, в годы довольства и известности. Но пальто было совсем потертое. И еще больше потертый он сам. Лицо обрюзгло. Весь обрюзг.

Арсений подумал, глядя на него:

«А я состарился меньше.»

«Читатете палеонтологию?» — Кащеев сразу обратил внимание на книгу. Она все еще в числе других лежала на столе. Сверху.

«Теперь время борьбы, активизма... Вопросы сегодняшнего дня».

«Палеонтология весьма полезна и для «сегодня» — ответил Арсений.

Решил продолжить разговор о палеонтологии, а не переходить на обыденные вопросы: «Как вы живете?..» «Как поживает ваша супруга?.. Давно ли в Берлине?..»

«Чтобы судить о сегодняшнем, полезно смотреть издали. На земле были долгие периоды затишья — миллионы лет. Тиранозавр правил землей почти сто миллионов лет... Потом наступали периоды бурь и дислокаций. Земля ломалась и перестраивалась. Организмы, жившие миллионы лет, гибли, Переживали только

немногие... И вот что интересно! — переживали всегда привыкшие к наиболее простой жизни и не связанные с окружающей обстановкой. Так сказать, космополиты... Раньше всех погибали организмы сильно специализированные.... Я всю жизнь упрекал себя в том, что ни на чем не специализировался до конца. Был всегда типичным русским диллетантом.... Если верить палеонтологии, то с этим диллетантизмом легче всего выжить...»

«Остались тем же фантазером. В вас всегда было что-то экзотическое», — закуривая папиросу, сказал Кащеев.

«А старого длинного мундштука из иглы дикобраза у него больше нет... Как он меня сейчас будет называть — по имени отчеству или Аристархов?» — подумал Арсений. — «По английски это звучит хорошо, когда зовут прямо по фамилии, но по русски это сверху вниз... Я его тоже буду звать «Кащеев», если он меня назовет «Аристархов»... Тогда мне приходилось мириться с этой манерой, но теперь ты ко мне приехал, а не я к тебе... и очевидно будешь просить денег на какую-нибудь газету?... Они все думают, что у меня гораздо больше, чем есть...»

* * *

«Я вам приготовил ваше вино».

Арсений встал и из-за дивана, из привычного теперь уже места, достал бутылку мумма.

«Кащеев в былые времена начинал пить шампанское с утра — вместо кофе. Не откажется и теперь. Будет очень доволен таким вниманием...»

Кащеев, действительно, был польщен. Кроме внимания, шампанское было для него всегда желанным. Теперь он его пил редко. Если кто и угощал, то угощали водкой или пивом. Он почти одним глотком выпил большой бокал, улыбнулся и сказал:

«Немножко теплое, но хорошо чествуете... Даже марку мою помните».

«Я сам ее люблю... Я оценил ваш авторитет в этом вопросе», — улыбнулся Арсений и предложил Кащееву сигару. Закурил сам. Кащеев никогда сигар не курил, но предложить было необходимо.

Арсений вспомнил, как в былое время в Петербурге один из великих князей пригласил его к себе, был любезен, но вынул для себя большую дорогую сигару из ящика письменного стола, а ему, Арсению, не предложил... И как это осталось едким осадком на всю жизнь и как он никогда уже не мог относиться с симпатией и теплым чувством к этому великому князю...

«Палеонтология тоже хорошо, но еще важнее активная работа», — сказал Кащеев, сам наливая себе второй бокал.

Прислуга принесла лед.

Любимое вино Кащеев пил с таким наслаждением, что оно передавалось даже Арсению. Он был рад, что угостил его. Он откажет Кащееву в его просьбе, но это вино сгладит неприятное впечатление и у того не останется неприязненного чувства....

Было еще и другое:

«Вот ты приехал теперь ко мне с просьбой, мы переменились с тобой в жизни местами и я теперь уже сверху вниз, а не снизу вверх, как когда-то, делаю тебе приятное.»

* * *

«Одно время ходили слухи» — продолжал Кащеев — «что вы примиренчески относитесь к тому, как разрушают Россию. Но, кажется, теперь и вы поняли, что наша многострадальная родина не на пути к социалистическому раю, а переживает страшные годы тирании...»

«Откуда вы это знаете про меня?» — перебил Арсений.

«В эмиграции все известно... К тому же у нас очень хорошая разведка», — подмигнул Кащеев, выпивая опять одним глотком оставшееся в бокале.

«Я к вам по серьезному делу. Во всяком случае я прошу вас, если из нашего разговора ничего не выйдет, оставить его между нами... Вы, вероятно, знаете, что существует большая патриотическая организация «Русь»?

«Да, я слышал.»

«Она поставила себе целью скорейшее свержение советской власти. Какими угодно способами. Я подчеркиваю «какими угодно», потому что против этих господ никаких стеснений и ограничений быть не должно. Не только ядовитые газы и бактерии допустимы против них, допустимо все самое ядовитое и смертоносное. Нужна самая ядовитая мысль... Тут действительно цель оправдывает средство. Самые крайние достижения маккиавелизма и иезуитизма недостаточны... Против их звериной жестокости и сатанинского террора нужно бороться еще большей жестокостью и террором. Вы знаете, что сейчас у них положение катастрофическое. Каждый маленький винтик, вынутый из их государственный машины, может послужить началом общей катастрофы... Наша организация не ограничивается только вздохами и пожеланиями — мы действуем. Мы работаем и внутри России и за границей. Здесь, за границей, понятно основное в том, чтобы влиять на общественное мнение и иностранные правительства. Здесь до сих пор не уразумели, какую опасность представляет большевизм всему культурному миру Мы им разъясняем и кое-где результаты уже видны... Например, если бы решительно перестали давать им кредиты, советское правительство обанкротилось бы в несколько месяцев...»

«Так ли?» — прервал Арсений. «Кредиты сравнительно ничтожны, но если бы прекратить их вовсе, большевикам пришлось бы поневоле остановить пятилетку. Они меньше обирали бы население для форсированного экспорта и это, вы понимаете, как раз и укрепило бы их...»

Кащеев не нашелся сразу, что ответить. Ткнул в

пепельницу папиросой, совсем размял ее, вынул быстро новую и, ломая спичку, сказал:

«Взгляд экзотический, как всегда у вас... Не будем спорить...»

* * *

Кащеев как будто колебался, говорить ли дальше.

Опять налил себе бокал вина, одной затяжкой сжег пол-папиросы, проглотил дым, выпустил его изо рта и носа, по старой привычке нервно поколупал в носу и продолжал:

«О деталях организации я вам расскажу потом... Пока скажу только, что нету того вида террора, саботажа и вредительства, какие не входили бы в нашу программу. Мы действуем и не кричим о результатах нашей работы. Но они есть и результаты громадны... Сейчас нами разработан еще один новый план и вот по этому делу я к вам приехал. На него нужны деньги. Хотите, можете работать активно или только помогите деньгами... Надеюсь, ведь вы тоже заинтересованы в скорейшем уходе этих мучителей русского народа? Дороги же вам тоже родная земля и сто шестьдесят миллионов, живущих в полуголодном рабстве. И в ваших личных интересах — с их уходом вы вернете ваше имущество, а у вас, кажется, уже были миллионы... насколько мне известно.»

Кащеев следил внимательно за выражением лица Арсения. Какое это производит на него впечатление? Арсений понимал это и лицо его ничего не выражало.

* * *

Кащеев продолжал:

«Сейчас, как вы знаете, червонец заграницей почти ничего не стоит, но там, внутри страны, он имеет некоторую цену. Там червонцем можно покупать людей и вещи... Если бы у нас было неограниченное число червонцев, то наши возможности расширились бы неограниченно...»

Он опять колебался.

«У нас разработан план, во всех деталях. Выполнение плана может дать в наши руки громадные суммы в червонцах. Денег на это нужно не так много — тысяч двадцать-тридцать марок. Некоторая сумма у нас уже есть... Вы понимаете, что если бы в таком важнейшем вопросе вы оказали помощь, она была бы связана с вашим именем пока тайно, потом явно и вам понятно, как это вознаграждается при государственных переворотах...»

Кащеев остановился. Арсений тоже молчал, ища форму ответа.

«Я приблизительно понимаю, о чем идет речь. Я еще над этим подумаю и тогда дам вам определенный ответ... Но я должен сказать, что политическая карьера, даже если бы это был пост министра, меня совершенно не интересует.»

«Это может быть концессия», — улыбнулся Кащеев.

«Я сказал бы, что концессии мне еще менее интересны. Ни даже миллионы... Меня больше интересует палеонтология», — тоже улыбнулся и Арсений.

* * *

Кащеев не понимал, шутит ли он или говорит серьезно. Арсений продолжал:

«Вас это удивляет?... Вы не верите, что я говорю правду, а между тем я совершенно искренен. Я далеко ушел от прошлого... То, что для меня было целью жизни, теперь почти не интересует. У меня есть необходимый минимум, и дальше оставшиеся годы жизни я хотел бы прожить в несколько иных сферах мышления и в иных интересах.»

Видя, что Кащеев хмурится, понимает это как отказ, Арсений добавил:

«Но это, понятно, не предрешает моего ответа. Как я вам уже сказал, я только должен подумать...»

«Когда вы познакомитесь с возможностями нашей организации, и увидите, какие глубокие корни она пу-

стила, я бы просто сказал, когда вы убедитесь, насколько она могущественна, вы несомненно поверите в конечный успех... К сожалению, я не могу вам говорить сейчас всего...»

В этот момент кто-то позвонил по телефону. Арсений был рад, что так случилось. Разговор оборвался как раз на хорошем остром моменте.

* * *

Идя от телефона опять на веранду, где сидел Кащеев, Арсений решил перевести разговор на другое.

«Дело не может быть серьозным, раз там Кащеев... Для таких дел нужны люди иного порядка.»

«А где ваша супруга?» — спросил он.

«Какая?... Вы разумеете Жижиль... мы уже разошлись» — ответил Кащеев.

«У нас сегодня событие, — расцвел, наконец, Марешаль Ниль» — не выражая никакого удивления сказал Арсений.

Кащеев не понял, в чем дело.

«Это такая роза.»

Казался странным этот переход от политики вдруг на какие то розы. Арсений сделал это нарочно. Ему нравилось, что Кащеев удивляется. Не только с ним, ему вообще теперь было приятно, когда его находили странным.

«Самые скучные и самые несчастные люди те, которые стараются быть нормальными... Надо будоражить окружающих. Вообще проторенные дорожки проложены не там, где надо...»

Опять об этом подумал и продолжал:

«Специалист по розам уверял меня в прошлом году, что Марешаль Ниль, самая ароматная и самая нежная роза. Если оставить на ночь один цветок, будет наполнена ароматом вся комната... Но будто бы эти розы настолько нежны, что не выносят открытых грядок. Мне захотелось непременно вырастить в грядке.. Осенью и весной я ее каждый вечер прикрывал, чтобы

не хватило утренником. Днем закрывал стеклом, чтобы дать больше тепла. В прошлом году был только один бутон. Я каждое утро, еще в халате, ходил смотреть его. Но он так и не расцвел... Появился только в сентябре и не хватило тепла, чтобы ему распуститься. В этом году бутоны образовались гораздо раньше и сегодня первый расцвел!... К сожалению, оказался не так красив и не так ароматичен, как я ожидал... Капризничать имеет право только тот, кто за это что-нибудь дает...»

* * *

«Вы стали специалистом по розам?» — иронически спросил Кащеев.

«Ничего», — подумал Арсений, — «слушай то, что я говорю... Ничего, послушаешь раз другой о розах, может быть, и сам ими заинтересуешься.»

«Оказывается» — продолжал он — «что самая лучшая роза — Пий XII. Я сначала протестовал, почему такую удивительную розу назвали иеменем папы, а теперь одобряю... Большой период жизни я был враждебен религии, но теперь изменил свое мнение. Лучшие немногие умы способны построить мораль на иных основах. Но массы — нет... Им религия необходима. Без религии они обратятся в зверей и перережут друг друга... Стань я завтра диктатором, я призвал бы руководителей религий и сказал бы им: «Мне религия не нужна, но я уважаю чужую веру. Будем работать в согласии. Наши цели общи: сделать жизнь людей радостней. Я во всем готов помогать вам...»

«Экзотичны по прежнему» — сказал Кащеев и налил себе остатки из бутылки.

* * *

Чтобы не оставить у Кащеева неприятного впечатления, Арсений принес еще бутылку. Почти всю выпил Кащеев. Уехал в хорошем настроении. Услови-

лись, что к вопросу о политической организации вернутся. Что Арсений подумает...

Оставшись один, опять думал о Зое. Пошел в сад.

«Около грядок так хорошо думается...»

«К чему сводилась моя жизнь? Больше всего энергии затрачено было на деланье денег.... Дрожащими руками вскрывал письма, где решались вопросы о деньгах. Сотни раз нервно хватался за карман, где лежали деньги — а вдруг потерял или украли!? Ни разу за всю жизнь не потерял и ни разу не украли: всегда все внимание отдавал им. Мог забыть надеть галстук, но о деньгах помнил всегда... Дешевле стоило потерять... Есть проклятый и, может быть, благостный закон: если не волноваться, спать спокойно — не будет денег, не придут они, проклятые! Деньги требуют сделок с самим собой, иначе они не приходят. Их надо выстрадать... Деньги растут на иссушенной душе... Как хорошо, что все это в прошлом. Я больше не хочу быть ни Морганом, ни Рокфеллером... Через все это надо было пройти, чтобы оценить эту грядку... Мудрую грядку!.. С грядкой нужно научиться разговаривать. Просто рыться в ней может каждый, но это не все...»

* * *

«...Почему так долго нет Зои?.. Спокойствие и счастье надо завоевать. Довольство жизнью зарабатывается упорной, долгой борьбой. Само это не приходит. И другие не научат. По наследству можно передать деньги, но не счастье... Самая глубокая философия не у Платона или Гегеля, а у грядки... Надо развить свой мозг так, чтобы он мог думать и о законе энтропии — это уже само по себе наслаждение. Грядка не отрицает этого, но она, мудрая, знает, что никаких загадок мы не разрешим... А вот она, грядка, распускающаяся на ней роза, то примирение, которое она несет в себе — это дает настоящую радость... Маленькое семячко Анютиных глазок также непостижимо, как и электроны, но оно много важнее для нас. Существова-

ние его не нужно доказывать сложными приборами или формулами с квадратным корнем из минуса единицы — оно тут, рядом с нами... В нем тоже бесконечное в конечном. «Не разрешай неразрешимое», — говорит грядка. «Прими его и радуйся жизни, как можешь...»

XXX.

«ЗОЯ УЕЗЖАЕТ...»

Приезжал старый знакомый — Мамон.

Еле можно было узнать в нем прежнего Мамона, короля биржи. Совсем белый, съёжился, стал ниже ростом. От прежней самоуверенности ничего не осталось.

Приезжал посоветоваться о деле. До сих пор за Арсением сохранилась деловая репутация. С его мнением считались. Еще и потому, что сам он больше делами не интересовался — не могло быть личных соображений в его совете. Знали, что он не перехватит дела. Ему можно доверить.

К «делам» Арсений относился теперь даже презрительно. «Американизм» когда-то казался ему идеалом, а теперь он видел в нем врага человечества. Тогда, в молодости, он поехал в первый раз в Америку просто чтобы посмотреть на американское величие. Он покупал фотографии небоскребов и наклеивал их в альбом, как фотографии красивых женщин. Теперь он считал эти небоскребы тюрьмами душ — он знал, что они съедают душу человека. Страшной казалась ему контора вся из стали, со стальными столами и стульями,

шкафами, даже письменными приборами, со всеми последними достижениями американской техники.

* * *

Проходя по саду Мамон остановился у зацветающих георгин, покачал головой и сказал:

«Мне становится грустно, когда зацветают георгины. Еще одно лето прошло...»

«Вы не настоящий банкир», — пошутил Арсений. — «Настоящий цветов не замечает и таких бездельных фраз не говорит».

Зоя вышла в сад. Хорошенькая, в голубом. С улыбкой протянула гостю руку. Тот видел ее в первый раз — удивился.

Зоя уезжала в город за покупками.

«Моя племянница, гостит у меня», — сказал Арсений. — «Она уезжает на днях кончать институт».

Мамон погрозил пальцем. Вероятно, не поверил.

«Какая красивая девушка!»

Потом, когда сидели в доме, опять сказал:

«Очень милая девушка, ваша племянница».

Арсению было приятно, что он еще раз повторяет это: Мамон на своем веку видал много женщин и знает в них толк. Но комок подступил к горлу.

«Она уезжает...»

Сейчас об этом не думал, но комок знал сам.

Мамон предложил подвезти ее в город в своем автомобиле. Зоя охотно согласилась и они уехали.

«Интересно, что они будут говорить дорогой?» — Арсений посмотрел вслед уезжающему автомобилю. Зоя помахала в окно рукой в белой перчатке. Это он убедил ее носить всегда белые перчатки.

* * *

Один, опять ходя по саду думал о словах Мамона, о георгинах.

«При других обстоятельствах из него вышел бы,

может быть, поэт», — подумал он. — «Американцы считают потерянным временем всякий разговор, кроме делового. Думать нужно только о деньгах. У них мысль и не работает в другом направлении. Несчастные люди!.. Век специализации... С их точки зрения даже Мамон не настоящий делец — разбивает свои мысли... Это потому, что он русский, подумали бы они. Мамон не русский, но лет сорок прожил в России, заразился... Русских всегда упрекали, что они нецельные натуры — от русского всего можно ожидать. Об англичанине или французе знают, как он поступит в данном случае, а о русском ничего нельзя сказать наверное... Идет, идет нормальным ходом и вдруг что-нибудь выкинет. Думает о делах и вдруг георгины!.. Не понимают, что они несчастные люди. Греческий идеал остался еще разве во Франции... Самая счастливая страна из теперешних... Зоя уезжает через два дня. Кончать свой институт. Зачем ей институт?.. Будет грустно без нее первое время... Она отвыкнет от меня за зиму. Кто знает, что может еще случиться за это время? Никогда больше не вернется?.. Но как же иначе? Иначе я должен жениться на ней... Она не ставила этого условия, ни разу даже не сказала об этом. Никаких условий не ставила... Но как же иначе? Она будет скомпрометирована, если останется у меня дольше. Пока гостила, снималась в кино, дочь старых знакомых — а дальше как?.. Жениться!?.. Нет, я не могу.. Не могу. Ее прошлое будет всегда отравлять даже лучшие минуты. Даже теперь, когда это только временная связь, когда я не ответственен за нее, когда она может стать для меня чужой в любое время, и то постоянно мучит это. Я буду где-нибудь с ней и встречу того человека, который ласкал ее там, в Константинополе, и он будет с гаденькой улыбкой смотреть на нее... «Вы знаете, вот эта красивая дама, жена Аристархова, была в Константинополе в притончике...» Нет, нет! Не могу...»

* * *

Цвели левкои. Тоже осенние цветы.

«Уже начинают отцветать. Стебли стали длинные, голенастые. Внизу уже маленькие стручки будущих семян. Один стебелек повис с грядки, другой затоптали более сильные, молодые...»

«Я слишком густо посадил — тянутся все вверх, к солнцу, не расчитывая крепости собственных стеблей и потом опадают. Лучше меньше, но крепче. Так и с людьми... Но запах все тот же — освежающий, говорящий о любви.»

Он осторожно поднял полегшие стебли и привязал мягкой мочалкой к палочкам.

«Цветам нравится мочалка, они не любят фабричного шнурка... Сколько бархаток еще! Нельзя ставить их в хрустальный бокал — вода желтеет от их стеблей. Какой у них задорный молодой запах и какие они прочные, крепкие! Может быть, потому немцы и зовут их «штудентен блюме» — это лучше, чем наше название «бархатки»...

* * *

Мысль опять вернулась к Зое. Она от нее и не уходила.

«Как мы будем с ней переписываться? Через Шмуля... Они познакомятся и он будет иногда встречаться с ней, передавать мои письма.. и отправлять ее».

Вчера вечером, когда ложились спать, Зоя сказала: «Вот предпоследняя ночь у тебя в доме».

Сказала как будто просто, так себе, но кажется посмотрела на него вопросительным долгим взглядом. Он ничего не ответил. А ночью ему показалось, будто она плачет. Он встал и пошел к ней — ее спальня рядом. Зоя спала. Или притворилась, что спит. Он стал ее целовать и щека была как будто влажная. Выражения лица он в темноте не видел.

«Ты плакала, Зоя?»

«Плакала? Нет... почему?»

И всетаки он ей не поверил.

«Он гордая... милая Зоя.. Мне ведь хорошо с ней. Она, кажется, привязалась ко мне, может быть, любит меня? Может быть?.. А может быть и нет — игра, расчет. Из-за денег. Уедет и забудет... Почему я всегда думаю худшее? Может быть, я старый идиот, отдаю ее кому-нибудь навсегда?... Но даже в минуты близости вечно встает этот другой человек... Мне хочется тогда ударить ее и вместе с тем это еще больше возбуждает страсть к ней.. Она говорит, что ничего и не было. Все говорят... Как глупо все и абсурдно.. Нет, не могу. Пусть уедет. Решено... Будь что будет».

* * *

Острую ревность к прошлому женщины Арсений переживал не раз. Не только не раз, а всякий раз, когда у женщины было прошлое. Когда и не было — подозревал... Он давно уже сознавал, что у него это чувство особенно обострено. Другие смотрят легче, совсем легко. Он соглашался, что не имеет никакого права на это, что это нелогично, нерационально, наконец... И тем не менее чувство оставалось. И он давно уже знал, откуда оно идет и как оно развилось в нем. Но никогда никому не сказал бы, даже самым близким людям и в самые откровенные минуты. Ни мужчине, ни женщине...

«Это как раз одна из тех интимнейших комнаток человеческого «я», в которую вход никогда и никому не разрешается. У каждого человека есть такие комнатки. В них теперь начинают забираться при помощи гипноза и психоанализа. Можно только удивляться, как это люди позволяют другим входить туда... Нет, меня не загипнотизируете, а свой психоанализ я сделаю сам».

* * *

Пошел к розам.

«Вот эта — какая нежная!.. «Только утро любви хорошо, хороши только первые розы»... Не верно!

Не первые розы хороши. Хороши и осенние бутоны, одинаково говорят о любви. И почему именно утро любви?.. Осенняя любовь тоже прекрасна... Человек счастливее розы. Он долго цветет, уже совсем распустившийся. Насколько моя осень лучше моей весны. Ложны восхищения детством и юностью: только побывавший уже на глубинах мысли пьет жизнь полной чашей. Умудренный разум освещает путь. Научает ценить радостные мелочи — раньше проходил мимо, не замечая. Неосторожно мял цветы...»

Оборвал на розах желтые листики, обрезал уже завявшие цветы. Хотел скинуть двух муравьев, но оставил.

«Следите за тлей», илоты...» — сказал им.

Подложил немного навозу к кусту сирени. Сильно полил его.

Ты что то заскучал, опустил печально листья?.. Через несколько дней поправишься... Навоз обратится в молодые листики и цветы. Мы сами то цветы, то навоз. Обидный круговорот!.. Зато мысль стоит где-то особняком, недосягаемо высоко над остальной природой. Мысль можно сделать бессмертной, если ее записать».

Подумал о своей книге.

«Я напишу еще другие и, может быть, они останутся человечеству надолго... Они дадут радость мне самому»...

* * *

Срезал две полураспустившиеся розы, чтобы поставить в бокал.

«Не надо собирать букета — отдельные цветки теряют свою индивидуальность. Две розы... но не слишком распустившихся, а так, как женщина в двадцать пять лет... И еще два совсем бутона. И довольно! Чтобы не жались».

Пошел в дом поставить розы в бокал. Решил сесть работать — писать. Уже вошел на веранду, но показалось, что мало зелени у роз.

«Стоит ли еще раз пойти за листиками? Утром я встал с мыслью, что надо дорожить временем — можно ли тратить кусочки короткой жизни на то, чтобы пойти за листиками? Да, можно... С листиками будет красивее и лишняя крупинка красоты — самое важное. Именно на это можно тратить время».

Вернулся в сад.

* * *

Когда опять входил в дом, позвонили по телефону. Разговор был самый обыденный. Человек неинтересный. Но было бодрое, радостное настроение, точно поговорил с близким и милым.

«Это от сада, от цветов... от общения с природой. А может быть от того, что Зоя еще здесь?..»

Сел писать. Книга была уже за серединой. Последний месяц работал каждый день. Продолжая то, что написано было вчера, почти без помарок записал давно уже сложившиеся мысли.

> ...«У каждого только одна жизнь и одна цель у жизни — наслаждение, радость бытия. Цель прогресса — завоевание наслаждений. И тела, но главное — духа. Прекрасное тело красивейшей женщины тоже стимул для наслаждений духа. Даже в примитивной мысли об обладании женщиной и в воспоминаниях об этом больше радости, чем в самом физическом обладании. Радости духа более длительны.
>
> Создавая радости для себя, попутно дают их другим. Эгоизм и альтруизм только оттенки того же самого. Эгоизм высокого интеллекта приносит остальным больше радости, чем весь альтруизм посредственных масс.
>
> Всегда были и будут авгуры и стадный человек. Вожди человечества и массы. В контрастах и разнообразии вся прелесть жизни. Люди различны и то, что легко одному, не по силам другому.

Авгуров временно не стало и человечество в замешательстве. Те, которые могли быть ими, ушли в узкую специализацию. Их мышление достаточно высоко, но они не видят цельного. Единственное назначение науки сделать человечество счастливее, а она стала искать цель в самой себе.

Но интеллект человека совершенствуется: это временное замешательство. Вновь придут авгуры. Глядя сверху, откуда видны далекие горизонты, они разберутся в хаосе толп и сведут концы с концами. Они отведут машине ее место и часть фабрик обратят в оранжереи. Они найдут нормы собственности — разные для разных — и помирят национальности, религии и классы. Они выяснят людям, что разные национальные черты делают жизнь на земле веселее, но не мешают дружбе, что цель всех религий одна, что замкнутых классов вообще больше нет.

Им самим ненужны ни религия, ни мистика, ни связанные с ними принципы, но они оставят их для малых сих.

Они выведут людей из лабиринтов каменных коробок и вернут городам тишину. Радостный смех не будет заглушаться треском и скрежетом моторов. Качество, а не количество станет целью и ненужный рост человеческих масс остановится.

Сами они прошли все искусы и приняли трагедию жизни и их ничто уже не смутит. Улыбкой мудрости ответят они на неразрешимые вопросы: они знают, что конечной цели и смысла нет, но жизнь тем не менее прекрасна!

Новые победы над гигантскими силами природы будут под их контролем. Они, может быть, не будут править сами, но направят умы правящих...»

На стекле окна бархатной нотой зазвенел седой шмель. Он бился в стекло и сердился, что его заперли, не пускают в сад. Сердился или жаловался.

Арсений встал и взял его осторожно в салфетку.

«Чего ты сердишься, глупый старик? Ты же сам виноват... Влетел и теперь не знаешь, как вылететь. Кого-то обвиняешь, а никто и не думал тебя обижать... Ну вот! — лети...»

Шмель улетел счастливый...

Хотел писать дальше, обмакнул перо, остановился, подумал и громко сказал сам себе:

«Зоя вернется...»

* * *

Вечером, когда Зоя укладывалась, думал опять о книге. Вперемежку с мыслями о Зое.

«Прежняя ли я дрянь или лучше?.. Лучше!.. Предположим, что эта моя книга об авгурах напечатана. Она же ведь будет напечатана... Напечатана и встречает всеобщее неодобрение. Даже возмущение так называемых широких слоев... Приходит кто-то и обещает мне, Арсению Аристархову:

«Напиши не так! Напиши книгу в защиту уравнения людей. Доказывай, что всех надо стричь под гребенку, что в однотонном социалистическом обществе таланты и яркие индивидуальности будут создаваться легче и свободнее, несмотря на одинаковость обстановки... Искусство будет тоньше и изысканней, потому что коллективное творчество неизмеримо выше индивидуального... Даже в конце напиши, что индивидуального творчества вообще нет...

Напиши, что частная собственность абсурдна и все должны жить в коммунальных казармах...

Напиши так и я тебе гарантирую десять миллионов марок и сто тысяч тиража... Может быть, миллион тиража?.. Ведь ты же всегда мечтал о десяти миллионах!?.. А так, как ты написал, — ничего не получишь, кроме неприятностей. Согласен?»

«Нет! Не согласен...»

«Правда ли? Так ли?.. А может быть, поколеблюсь и соглашусь?.. Нет, не соглашусь! Ни малейших колебаний не будет... Значит, я стал лучше».

* * *

Вдруг впервые пришла мысль, что он совсем не такой плохой, как считал себя.

«В самом деле... Я гнался за карьерой, расценивал людей по их нужности. Лез к людям с расчетом на какие-то комбинации, пользу... Да, верно! Но я никогда не подходил к человеку с целью причинить ему горе. Со злым намерением. Я выдумывал комбинации, на которых могла быть выгода ему и мне. Я заставлял людей работать на себя с напряжением, но они тоже от этого имели выгоду... Если бы я не сумел подстегнуть их энергию, они ничего бы не сделали — ни для меня, ни для себя... Я урывал у других часть их выгоды. Может быть, несправедливо больше для себя, чем оставлял им. Да!.. Но где тут справедливость? Что такое справедливость?.. Если бы я их не надоумил, не подстегнул, не заставил — они ничего не сделали бы из за своей инертности, а так что-то получали... Им становилось лучше от встречи со мною, а не хуже... А биржа? Биржа — узаконенная грабиловка. Я не мог ее уничтожить... Заработал я или нет — ничего не изменилось бы. Заработал бы кто-нибудь другой вместо меня... Нужно было, может быть, изменить общий порядок, но своей пассивностью и воздержанием я помочь не мог... Я тратил захваченное не хуже других. Может быть, лучше?.. Я учился. Я собирал знания. Я думал... Думал! — это самое важное. Сорок лет думал... Если бы все были такие, как я, мы нашли бы компромиссы и устроили бы лучшую жизнь для всех... Если бы все были такие, как я, они не грызли бы горло друг другу...»

* * *

И тут же сейчас пришло другое. Как очень часто, спорил сам с собой:

«Пока я считал себя плохим, до тех пор я был хорошим... Самое худшее — это самодовольство... А так ли? Нужны ли застенчивость перед самим собою и самоуничижение? Не мешает ли это накоплению импульсов, твердой воли и энергии?.. Авгурами будут не те, у кого только много знаний и мыслей, а у кого есть воля к действию. Если всю жизнь продержать кукиш в кармане — ни себе, ни другим от этого пользы не будет. Талантлив не тот, в ком громадный непроявленный талант. Талантливость в проявлении таланта... Талант начинается там, где он становится виден окружающим, где он влияет на окружающих... Иначе это не талант...»

XXXI.

КОНЕЦ БЕСА.

Вечером Зоя уезжает.

Почти все уложено. Остался открытым только красный кожаный нессесер со всякой мелочью. Все остальные вещи покупала сама Зоя, а нессесер купил Арсений. Нессесер ей очень нравится — она всякий раз улыбается, подходя к нему, и вынимает уже в десятый раз то щетку, то зеркало, то гребешок или баночку с пудрой. В нем разлился флакон ее духов и запахом наполнилась вся комната. И весь дом. Уже второй день.

Зоя уже приехала с этими духами. Они прочно связались с ее образом.

«Если где-нибудь когда-нибудь я услышал бы этот запах, мысль тотчас же будет о Зое... Теперь

это самый близкий мне запах, хотя я уже не так сильно чувствую его, как в первые дни... Еще на неделю он останется в ее комнате. Может быть, на месяц?.. Но самой Зои не будет...»

* * *

Вчера опять звонил Мамон как будто по делу, но в действительности он хотел поговорить о Зое.

«Она ему видимо очень понравилась...»

«Какая прекрасная девушка!» — сказал он в разговоре по телефону. «Какая умненькая!.. В каком часу она уезжает после завтра?»

«В девять тридцать».

Арсению было приятно, что Зоя оставляет такое впечатление, но тут же было ревнивое чувство.

«Какое ему дело? Что он хочет провожать ее приехать, что-ли?.. Странно, если на вокзале будем только я и он... Причем он здесь?»

* * *

Помогал ей запереть чемодан. Зоя сошла вниз за книгой на дорогу. Он стал смотреть, не осталось ли что нибудь в шкафу, не забыла ли?

«Понятно забыла — пальто! Ведь она поедет в этом костюме?»

За кровать завалился еще ее лифчик. Он поднял его. Прижал к лицу.

«Запах тела Зои... Возбуждающий, близкий, нераздельный от сексуальности... немного смешанный с ее духами... Я не отдам ей лифчика. Он будет мне напоминать ее. Это больше, чем фотография...»

Но не хотел, чтобы Зоя это знала. Она уже подымалась по лестнице. Сунул лифчик в карман.

Уложили забытое пальто. Замкнул чемодан.

«А может быть, это закрывается крышка гроба нашей любви?» — подумал и сейчас же прогнал эту мысль.

«Ты приедешь на Рождество, Зоя?»

«На Рождество? Едва-ли... Весной, вероятно... если ты меня до тех пор не забудешь...»

«И если ты меня не забудешь».

«Ты же хочешь, чтоб я уехала?»

Он не нашелся, что ответить. Опять знакомый комок напомнил о себе.

* * *

За обедом он достал бутылку шампанского. Налил бокалы:

«За то, чтобы мы опять были вместе».

Чокнулся с ней, но тут же подумал, что тост пошлый и неудачный — такой мог бы предложить и телеграфист или парикмахер.

Зоя ничего не ответила. Он еще прибавил:

«Надолго» — и тут же снова подумал — «какие глупости я говорю!.. Я подразумеваю надолго вместе, а выходит так, точно мы расстаемся надолго».

Стало стыдно, что он сегодня такой глупый. Встал и поцеловал ее сзади в голову. От волос, как всегда, пахло этими духами. Положил ей руки на плечи, она дотронулась до них своими, потом быстро повернулась и поцеловала его в губы.

Он постоял за ее стулом. Но она уже отняла руки.

«Гений и помешательство. Мудрость и легкомыслие...»

Совсем не к месту мелькнуло в голове.

«В гениальности есть непременно черточки сумасшествия. В мудрости должно быть легкомыслие. Может быть, легкомыслие и есть настоящая мудрость?.. Я все хотел стать легкомысленным, а вот сейчас... Впрочем, может быть, именно больше легкомыслия в том, что я расстаюсь с ней?.. Не то, не то... Ведь решено же».

* * *

Он отошел от Зои, вылил оставшееся из бутылки и выпил.

Принес еще бутылку.

Зоя взяла из бокала розу, вертела ее в руке. Потом стала общипывать лепестки и складывать горкой около бокала. Будто считала их.

Не знала что говорить.

И он тоже.

«Надо же наконец об этом?» — решил он.

«Сколько тебе дать денег с собой, Зоя? Я приготовил...»

«Денег?» — точно удивилась она. — «У меня довольно на дорогу... Мне не надо».

Он не ожидал такого ответа. Поразился этим ответом. Он все думал последние дни, сколько ей дать. Лучше меньше или больше? Во-первых вопрос самих денег, а потом... если дать много, она будет слишком самостоятельна, уедет куда-нибудь... Может быть, бросит институт под влиянием какого-нибудь каприза? Поссорится с баронессой?.. Станет лучше одеваться и бывать там, где бывают богатые, встретит кого-нибудь с большими деньгами... И вдруг такой неожиданный ответ.

«Ты же должна свезти маме. Она спросит, сколько ты заработала на съемках... Возьми непременно что-нибудь, мало ли что... Ты же должна что-нибудь привезти с собой».

«Нет, мне не надо. Я скажу маме, что купила на деньги платья и разное другое. У меня теперь два лишних чемодана», — решительно ответила она. Даже отмахнулась рукой.

Может быть, впервые в жизни ему стало стыдно за свою подозрительность в деньгах. Никогда раньше в этом себя не упрекал. Деньги всегда стояли особняком — тут всегда нужны были сомнения.

«Я дрянь... Мещанин духа», — мелькнуло в сознании.

* * *

В этот момент из-за края стола высунулась маленькая черная головка с блестящими красными глаз-

ками, резко выделяясь на белой скатерти. Она противно пискнула:

«Игра... Она умная... Она знает, чем тебя взять...»

Арсению ясно это показалось, ясно послышалось... Он быстро наклонился и с силой ударил по столу. Что-то опять пискнуло, лопнуло, рука встретила стол... Задрожала посуда.

«Что ты, Арсений!?» — удивилась Зоя, даже вздрогнула.

Не отвечая ей, он быстро налил бокалы до краев.

«Пей и ты... Пей! Пей... Пей, милая девочка...»

Он стал целовать ей руки, горячо, порывисто, все посматривая на тот край стола. Там ничего не было.

«До сих пор я дрянь, мещанин...» — сказал он в полголоса. И добавил громко и решительно:

«Это был он, дьявол моих сомнений...»

Зоя все еще не понимала, в чем дело.

За окном три раза прогудел автомобиль. Его заказали к восьми часам.

«Пусть снесут сверху чемоданы», — сказала Зоя и протянула руку к звонку, все еще удивленно смотря на него. Удивленно и встревоженно.

«Не звони, Зоя... Не надо прислуги... я сам снесу».

«Что с тобой, Арсений?... Ты слишком много пьешь, ты заболеешь».

«Нет, нет, Зоя... Я не буду больше пить... Все хорошо... Очень хорошо!..»

* *
*

Встали из-за стола. Пошли наверх — Зоя впереди, он — сзади. Уже на ходу он допил свой бокал. Поставил его на буфет у двери.

Зоя села у зеркала, поправила волосы и надела шляпку. Он взял пальто, чтобы подать ей, но положил его обратно. Поднял, было, чемодан, чтобы нести вниз, но поставил на пол и сел на него.

Уже все было ясно, все решено. Уже все сомнения ушли...

Но еще в последний раз, последнюю минуту мучил себя. Себя и Зою... Точно чтобы продолжить ожидание радости, уже завоеванной, уже верной...

«Зоя, милая, сядь сюда... Так, говорят, надо перед поездкой. У нас так дома делали...»

«В институте тоже. Начальница заставляла всех садиться перед отъездом», — ответила Зоя, но не засмеялась, как то деревянно сказала. Села рядом с ним на чемодан.

Он посмотрел на нее пристально, в упор, в самые глаза, сполз с чемодана на пол, положил голову ей на колени, крепко обхватил их руками...

Не поднимая головы с колен, сказал тихо, но решительно:

«Ты никуда не уедешь. Никуда!.. Никогда! Ты моя, Зоя, я тебя никому не отдам...»

«Ты опьянел совсем, Арсений?.. Ты не помнишь, что говоришь».

«Я все помню... Да, я пьян, но теперь надолго, на всю жизнь».

* *
*

Она вдруг поняла, что это серьезно. Сначала засмеялась, потом сразу истерически заплакала. Обхватила его руками.

«Как ты измучил меня!.. Как измучил...»

«Да, да, Зоя, прости... Прости меня. И себя тоже измучил. Не меньше... Всю жизнь себя мучил. Но я наконец убил его».

«Кого убил!? Кого его?..»

Она опять в тревоге отняла от него руки и удивленно посмотрела.

«Не бойся, Зоя. Я все помню... Я убил дьяволенка! Он высунулся из-под стола... Я не брежу. Никогда еще в жизни у меня не было такой ясности мысли, как сейчас... Он внушал мне сомненье и в

тебе, проклятый... Ты моя, Зоя — я никому тебя не отдам. Ни-ко-му! Мы поедем теперь к баронессе вместе, если хочешь, как муж и жена... Их много путалось около меня, этих дьяволят. Всю жизнь... Я многих прикончил раньше, взял их измором. Уже в этом доме... Лежат там, вероятно, дохлые, в подвале где-нибудь, или в саду... И этого, самого паршиваго, наконец прихлопнул. Нет его больше! Я знаю, что нет... Он меня дольше всех мучил. Бес сомнений. В плохом, он меня проклятый, не заставлял сомневаться — он мне внушал сомненье только в хорошем! Но теперь кончено... Ты знаешь, Зоя, мы непременно поедем в замок к тому маркизу — помнишь, я тебе рассказывал...

Он крепко прижал ее руку к губам. Там, где бьется пульс. Прислушался.

«Тик... тик... тик... сколько-то ударов положено каждому на жизнь...»

* * *

«Какой был дьяволенок?» — серьезно спросила Зоя, тихонько. Она уже поверила в дьяволенка.

«Черная круглая головка и выпуклые глазки — две красных точки... мигают, дрожат, как трубки в рекламах...» — он показал рукой.

«Я ударил и она лопнула, как пузырь, и пискнула... Конец проклятому!»

«С рожками?»

«Нет, без рожек...»

Он все держал ее руку, а она взяла другую и прижала к губам. Не отпускала.

«Мне давно казалось, что тебя что-то мучит», — тихонько сказала Зоя. — «Я хотела помочь тебе, но не знала, как...»

«Милая девочка, мне так хорошо с тобой!..»

Она еще плотней прижалась и чуть слышно сказала:

«И мне тоже».

«Мне так хорошо, как никогда в жизни еще не было», — опять сказал он.

«Милый...»

Они еще долго сидели на чемодане, прижавшись друг к другу. Пальто и перчатки съехали на пол. Шляпка сбилась на сторону...

Что-то говорили в полголоса, шопотом, перескакивая с одного на другое. Как заговорщики. Как дети. Тихо смеялись...

Автомобиль уехал...

Поезд ушел...

Конец.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Предисловие к третьему тому 5
I. Птица печали 7
II. После катастрофы 22
III. Иены — рубли — иены 28
IV. Бриллианты 40
V. Третий глаз 46
VI. Еще одна весна 60
VII. На океане 65
VIII. На Сандвичевых островах 70
IX-X. Нью-иорк — Лондон — Париж 76
XI. Фишкин 79
XII. Тайна жизни 95
XIII. Один пузырек 110
XIV. Голос предков 119
XV. Ирина 130
XVI. Опять деньги 138
XVII. Последние страхи 147
XVIII. «Шмуль» 157
XIX. Зоя 165
XX. В поезде 175
XXI. Пропасть расширилась 192
XXII. Другая Войтинская 202
XXIII. Оконии 211
XXIV. Князь Юрий 228
XXV. Игра 246
XXVI. Фейерверк 256
XXVII. Мудрый сад 272
XXVIII. Таинство сексуальности 284
XXIX. Опять Кащеев 297
XXX. «Зоя уезжает» 309
XXXI. Конец беса 319

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«ЗДЕСЬ»

Психологические этюды. Под псевдонимом — Н. Н. Тавридин. Харьков 1909. (Конфисковано).

«О ПРОЧЕМ»

Петербург. 1914. (Распродано).

«В СТРАНЕ ЛЮБВИ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ»

Петербург. 1914. (Распродано).

«ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НЕ БЫЛА ТАК ПЕЧАЛЬНА...

Петроград. 1917. (Распродано).

«БОГОМОЛЫ В КОРОБОЧКЕ»

Берлин. 1921. (Распродано).

«СТРАННЫЕ РАЗСКАЗЫ»

Берлин. 1922.

«ГОРОД-СФИНКС»

Берлин. 1922.

«РАДОСТЬ БЫТИЯ»

Берлин. 1923.

«ДЕТСТВО АРИСТАРХОВА»

Берлин. 1924.

«БОГ И ДЕНЬГИ»

Берлин. 1926. (Распродано).

«МОНТЕ-КАРЛО»

Берлин. 1927.

«ЛЮДИ В ПАУТИНЕ»

Берлин. 1930.

БАРБАДОСЫ И КАРАКАСЫ

Берлин. 1932.

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ

Берлин. 1933.

ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Берлин. 1933.

Printed in Germany

W. Krymoff. Teufelchen unterm Tisch